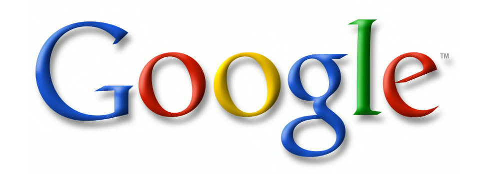


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

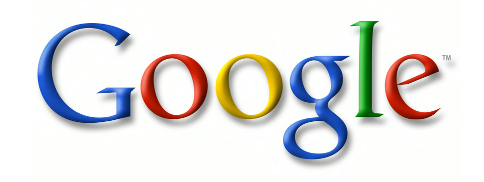
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использоваиия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

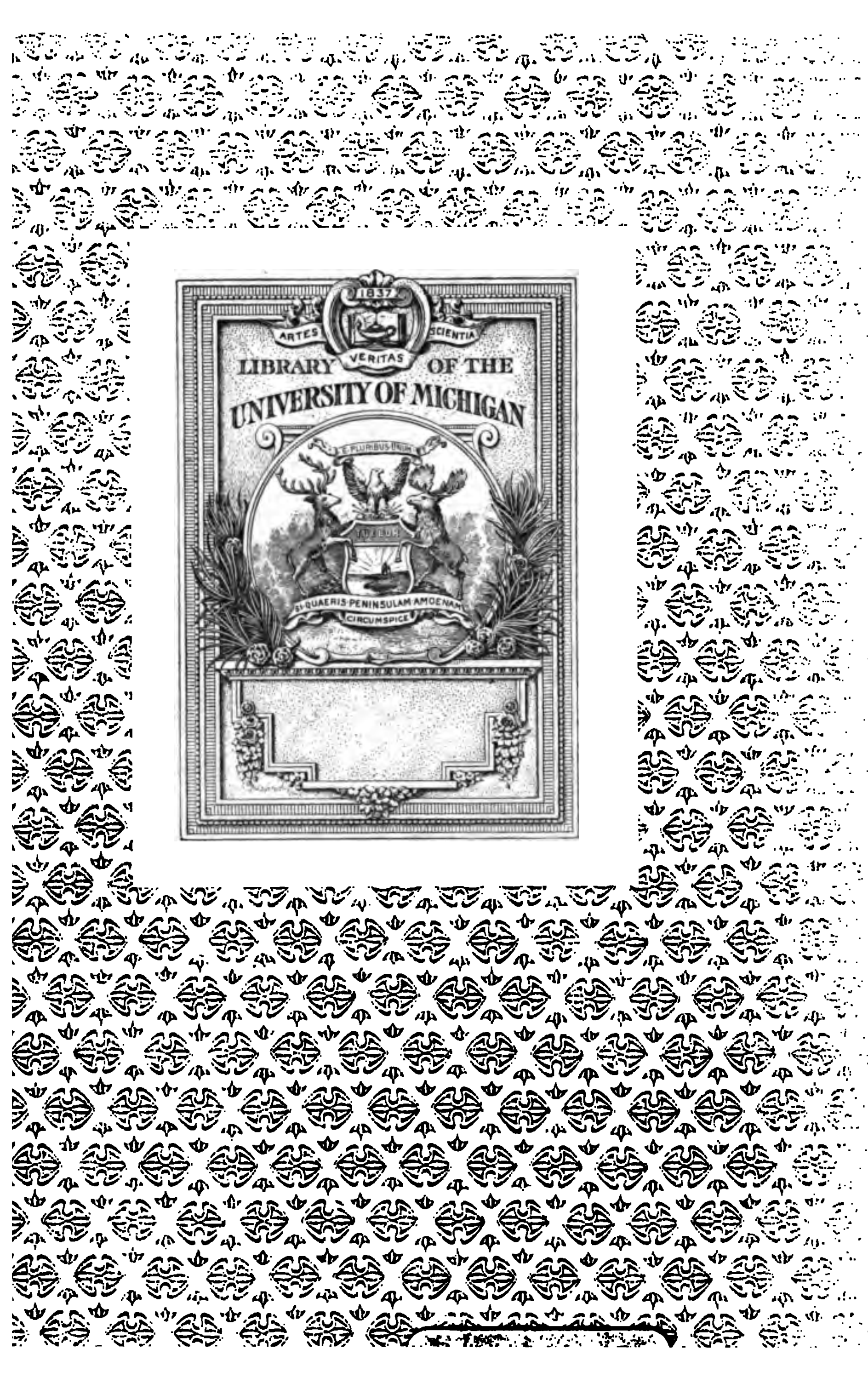
Мы также иросим Вас о следующем.

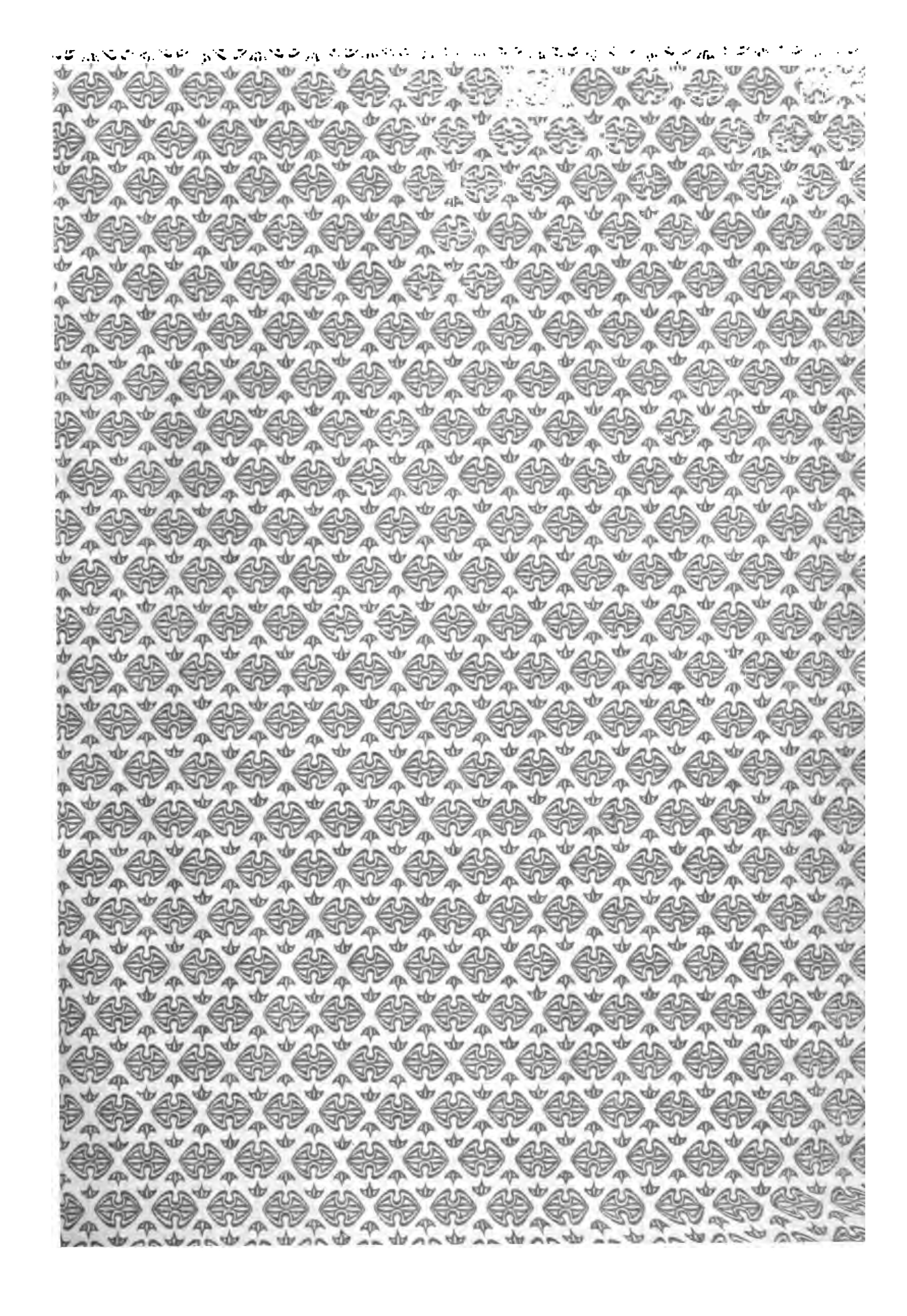
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 471905 DUPL


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



N 575
Q 3

Собраніе сочиненій

А. И. НЕЗЕЛЕНОВА.

Изданіе Н. Г. Мартынова.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ПРОФЕССОРА

А. И. Незеленова.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

А. С. ПУШКИНЪ

въ его поэзіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1903.



А. С. Пушкинъ.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб

Александръ Сергѣевичъ

ПУШКИНЪ

ВЪ ЕГО ПОЭЗІИ

Первый и второй періоды жизни и дѣятельности.

(1799—1826)

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ

Сочиненія профессора А. Н. Незеленова одобрены ученымъ Комитетомъ Министр. Народнаго Просвѣщенія и помѣщены въ каталогахъ, изданныхъ Министерствомъ для Среднихъ Учебныхъ Заведеній на стр. 84 за № 1261, 62, для Безплатныхъ народныхъ читаленъ на стр. 85.

С.-Петербургъ.

Изданіе Книгопродавца *Н. Г. Мартынова.*

1903.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб., Екатеринин. кан. 94.

Оглавленіе.

231678

Предисловіе къ первому изданію.

Проникнуть во внутреннюю жизнь какой-бы то ни было человѣческой души, прослѣдить развитіе ея силъ и проявленіе во внѣшней дѣятельности ея сокровенныхъ стремлелій—задача высокой важности и глубокаго интереса. Тѣмъ важнѣе подмѣтить разцвѣтъ и ростъ души богато-одаренной, геніальной, души человѣка, выразившаго въ себѣ свойства и жизнь своего народа.

Пушкинъ былъ такимъ человѣкомъ.

Поэтъ—„эхо", по его собственному опредѣленію, онъ въ своей творческой дѣятельности отозвался на всѣ явленія русскаго міра; онъ былъ, по выраженію современнаго намъ писателя,—

геній, все любившій,
Все въ самомъ себѣ вмѣстившій.

Другой поэтъ нашего времени ставитъ его еще выше, привѣтствуя въ немъ.

предтечу
Тѣхъ чудесъ, что, можетъ быть,
Намъ въ разцвѣтѣ нашемъ полномъ
Суждено еще явить.

Гоголь сказалъ про Пушкина, что это было „чрезвычайное явленіе русскаго духа". „Прибавлю отъ себя: и пророческое", выразился Достоевскій въ своей рѣчи на торжествѣ открытія ему памятника.

Интересъ анализа внутренней жизни и творческой дѣятельности Пушкина усиливается еще однимъ обстоятельствомъ: отсутствіемъ установившагося, опредѣленнаго взгляда на его поэзію и на его личность. Смѣнялись направленія нашей критики—мѣнялись и наши отношенія къ нему. Безотчетный восторгъ отъ его дивныхъ стиховъ уступалъ мѣсто скептическому взгляду на внутреннюю ихъ цѣнность, признаніе за нимъ широты воззрѣній боролось съ

отрицаніемъ всякихъ серьезныхъ убѣжденій въ его творчествѣ.

Мысль объ устроеніи ему памятника возникла въ 1860 г., въ неблагопріятное для поэта время, когда по выраженію И. С. Тургенева, „міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ“, „его классическое чувство мѣры и гармоніи—холоднымъ анахронизмомъ“.—Въ теченіи 20 лѣтъ, съ тѣхъ поръ прошедшихъ, произошла перемѣна. Мы были свидѣтелями того восторга, который охватилъ всѣхъ, безъ различія направленій и убѣжденій, на торжествѣ открытія памятника великому поэту. Это торжество—важное событіе внутренней исторіи русскаго общества: на минуту соединившее воедино всѣхъ служащихъ мысли и слову, оно было выраженіемъ поворота въ нашей умственной и нравственной жизни, возвращеніемъ нашего сознанія къ поэзіи.

Красы, добра и правды идеалы
Блеснули вновь, какъ утра чистый свѣтъ!

Тогда и вопросъ о значеніи Пушкина показался рѣшеннымъ. Однако, это еще не совсѣмъ такъ. Общій восторгъ былъ искреннимъ и истиннымъ; но онъ былъ, несомнѣнно, инстинктивнымъ, и вотъ почему вслѣдъ за первыми минутами благороднаго энтузіазма наступили другія минуты, когда то тамъ, то здѣсь стали опять раздаваться скептическіе, иногда даже какъ будто раздраженные, недовольные голоса, порицавшіе то самый праздникъ поэта, то тѣ или другія мысли, высказанныя на немъ.—Впрочемъ, этотъ новый скептицизмъ по отношенію къ Пушкину идетъ не глубоко. Восторгъ нашъ былъ инстинктивнымъ... но изъ этого еще не слѣдуетъ, что онъ былъ мимолетнымъ. Теперь „становится замѣтнымъ (говоря словами Тургенева) возвращеніе къ его (Пушкина) поэзіи“, „молодежь возвращается къ чтенію, къ изученію Пушкина“. „Единодушіе“, проникавшее на его праздникѣ „насъ всѣхъ, безъ различія званія, занятій и лѣтъ“, свидѣтельствуетъ несомнѣнно, что намъ захотѣлось

Забытымъ кладомъ вновь обагатиться,
Его красѣ нетлѣнной поклониться,
Какъ свѣту возвратившейся весны.

Быстро летитъ время въ русской землѣ: для Пушкина уже наступила исторія; борьба противорѣчивыхъ мнѣній о

немъ успокоена ходомъ времени, и памятникъ ему открытъ какъ разъ въ пору, когда можно сказать о немъ безпристрастное слово.

И это слово сказать не только можно, но и должно: во многихъ рѣчахъ и стихотвореніяхъ пушкинскаго праздника сдѣлано не мало вѣрныхъ замѣчаній и объ отдѣльныхъ явленіяхъ творчества великаго поэта, и о цѣлой его дѣятельности; но всѣ эти замѣчанія остаются какъ-бы минутными вдохновенными прозрѣніями. Обратитесь къ существующимъ у насъ большимъ сочиненіямъ о немъ,—и противорѣчія ихъ окажутся непримиренными; доли истины, находящіяся во многихъ изъ нихъ, не сведены къ единству цѣлой истины, не провѣрены и не очищены отъ временной и случайной примѣси. — Нѣтъ у насъ и біографіи Пушкина, достойной его великаго имени, хотя въ настоящее время обнародовано уже много матерьяловъ для его жизнеописанія, напечатанъ цѣлый рядъ его писемъ, появились въ свѣтъ отрывки изъ его записокъ воспоминанія о немъ разныхъ знавшихъ его лицъ, и т. д.

Въ настоящемъ сочиненіи читатель не найдетъ полной біографіи Пушкина (для которой, быть можетъ, и не настало еще время). Но авторъ поставилъ себѣ задачей (трудность ея онъ вполнѣ сознаетъ) — прослѣдить внутреннюю жизнь великаго поэта и развитіе его характера по его произведеніямъ, освѣщая ихъ событіями его внѣшняго бытія. У такихъ писателей, какъ Пушкинъ, духовная ихъ жизнь и поэтическое творчество тождественны, и анализъ личности поэта необходимо сливается съ критическимъ разборомъ его произведеній. Въ своемъ разборѣ твореній Пушкина авторъ старался избѣгнуть односторонности, не становясь на точку зрѣнія какого-либо одного изъ направленій нашей критики, а полагая, что должна быть принята къ свѣдѣнію и оцѣнена по достоинству всякая умная мысль.

Жизнь и поэтическая дѣятельность Пушкина ясно раздѣляется на три опредѣленные періода.

Первый изъ нихъ обнимаетъ время съ дѣтства поэта до 1824 года, до переѣзда его съ юга на сѣверъ, въ село Михайловское. Это время можетъ быть названо эпохою западно-европейскихъ вліяній. Вліянія идутъ и непосредственно,

прямо съ Запада (Пушкинъ съ раннихъ лѣтъ змакомился съ иностранными авторами) и чрезъ посредство русскихъ писателей, предшественниковъ будущаго великаго художника.—Въ дѣтствѣ и ранней юности Пушкина мы видимъ даже въ немъ подражателя всѣхъ тѣхъ поэтовъ, которыхъ онъ читалъ и которыми увлекался; самобытность лишь пробивается въ его сочиненіяхъ: отрицательно — въ отсутствіи односторонности увлеченія, положительно—въ живой прелести и энергіи небывалаго до тѣхъ поръ стиха, да еще въ небольшомъ рядѣ произведеній, проникнутыхъ народнымъ духомъ, тѣмъ духомъ, съ которымъ сроднялся онъ, слушая сказки и пѣсни своей пяни.—Высланный затѣмъ изъ Петербурга, гдѣ увлеченія пустой жизни грозили гибелью его таланту, Пушкинъ на югъ увлекается Байрономъ, попадаетъ подъ вліяніе его разочарованной поэзіи... и вмѣстѣ съ этимъ перестаетъ быть подражателемъ. Подчиняясь могущественному дѣйствію на его душу англійскаго генія, Пушкинъ въ сущности не подражаетъ ему, а борется съ нимъ, „борется съ байронизмомъ“, по справедливому замѣчанію Апол. Григорьева. — Въ долгой школѣ иностранныхъ писателей онъ усваиваетъ себѣ вполнѣ блестящіе и могучіе западно-европейскіе идеалы, но, сроднившись съ ними, къ концу періода начинаетъ сознавать, что они его вполнѣ удовлетворить не могутъ, что они недостаточны для его живой души. Его начинаетъ все сильнѣе и сильнѣе тянуть къ родной почвѣ, къ своимъ народнымъ началамъ.

Два года жизни въ Михайловскомъ (съ 1824 по 1826 г.) представляетъ эпоху сближенія, сліянія великаго поэта съ народомъ. Это — второй періодъ его жизни и творческой дѣятельности. Краткость его сравнительно съ періодомъ первымъ объясняется тѣмъ, что онъ не представляетъ чего-либо новаго въ душѣ Пушкина, а есть лишь полное развитіе зачатковъ, лежавшихъ въ ней уже съ дѣтства. Все русское, родное и непосредственное становится въ это время безконечно милымъ Пушкину, и онъ самъ близокъ къ тому, чтобы сдѣлаться исключительно-народнымъ поэтомъ. — Но это настроеніе, какъ и односторонность предшествовавшаго періода, не можетъ удовлетворить богато-одаренной души его, и онъ не успокаивается на непосредственныхъ народныхъ идеалахъ.

Тогда наступаетъ высшая эпоха его развитія, періодъ соединенія въ его душѣ и дѣятельности тревожныхъ, энергическихъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми, смиренными и добрыми началами русской народной жизни. Органическое сліяніе этихъ элементовъ вызываетъ изъ его души высшіе образы его творчества, глубочайшія и чистѣйшія вдохновенія чувства.

Вмѣстѣ съ этимъ усиливается и выясняется всегда безсознательно жившее въ его душе религіозное настроеніе. Пушкинъ переростаетъ идею народности и начинаетъ „постепенно возноситься въ высшую область общечеловѣческаго религіознаго міросозерцанія“. — Но въ то-же время становится замѣтнымъ въ его жизни и творчествѣ чувство безотрадной тоски. Эта тоска объясняется не только недовольствомъ поэта окружающей дѣйствительностью, но и его собственными ошибками и односторонними увлеченіями, отъ которыхъ ему не удалось вполнѣ избавиться... Могъ-ли бы Пушкинъ всецѣло подняться въ религіозную область и освоиться въ ней—мы не знаемъ, потому что какъ разъ въ это время стремленій его къ безусловному идеалу насильственно и трагически прерывается его богатая духомъ, многострадальная жизнь.

Предполагаемое сочиненіе заключаетъ въ себѣ очеркъ двухъ первыхъ періодовъ дѣятельности великаго поэта. Это—эпоха формированія, развитія его богатыхъ душевныхъ силъ, время ученья, усвоенія имъ себѣ разнообразныхъ началъ и идей дѣйствительности. Самъ Пушкинъ считалъ эту пору своей жизни — юношествомъ: прощаясь съ нею въ въ 1826 году въ 6-й главѣ „Онѣгина“, онъ сказалъ:

простимся дружно,
О, юность лёгкая моя!

Вслѣдъ за настоящимъ сочиненіемъ авторъ представитъ другое—его продолженіе—очеркъ послѣдняго, главнѣйшаго, вполнѣ самобытнаго періода жизни и творчества Пушкина.

А. Незеленовъ.

Примѣчаніе. Ссылки въ моемъ сочиненіи сдѣланы вездѣ на предпослѣднее изданіе Сочиненій Пушкина (Спб. 1880—1881 гг.); когда вышло въ свѣтъ изданіе послѣднее (М. 1882 г.), книга моя была уже отпечатана. *Авт.*

Главные сочиненія и сборники, служащіе матерьялами и пособіями для изученія Пушкина:

А. С. Пушкинъ. Матерьялы для его біографіи о оцѣнки произведеній.—**П. В. Анненкова.**—Спб. 1873 г.

А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху (1799—1826 гг.) **Его-же.** Спб. 1874 года.

А. С. Пушкинъ. Его любовь, дружба и ненависть.—**Русская Старина,** съ апр. 1879 г. по іюль 1880 г. (Біографическій очеркъ и новые матерьялы).

Пушкинъ въ южной Россіи. Матерьялы для его біографіи. 1820—1823 гг.—Соч. **П. Бартенева.** (Въ Рус. Архивѣ 1866 г.).

Изъ дневника и воспоминаній **И. П. Липранди.** Замѣтки на предъидущую статью. (Въ Рус. Арх. 1866 г.).

„Г-жа Ризничъ и Пушкинъ". Ст. **К. Зеленецкаго.** (Въ Рус. Вѣстникѣ 1856 г.. кн. 11).

„Изъ воспоминаній **Вельтмана** о времени пребыванія Пушкина въ Кишеневѣ". (Въ Вѣст. Евр. 1881 г., № 3).

„Прогулка въ Тригорское". Соч. **М. И. Семевскаго.** (Въ Спб. Вѣдомостяхъ 1866 г., №№ 139, 146, 157, 163 и 168).

Послѣднія дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со словъ бывшаго его лицейскаго товарища и секунданта **Конст. Карл. Данзаса.** Спб. 1863 г.

А. С. Пушкинъ, по документамъ остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ **кн. Пав. Петр. Вяземскаго.** 1816—1837 гг.—Спб. 1880 г.—2 книжки.

А. С. Пушкинъ. Новонайденныя его сочиненія. Его черновыя письма. Письма къ нему разныхъ лицъ. Замѣтки на его сочиненія. I. М. 1881 г. (Изд. г. **Бартенева**).

Письма Пушкина къ невѣстѣ и женѣ, напеч. **И. С. Тургеневымъ** въ Вѣстн. Еропы 1878 г. №№ 1—3.

Изъ неизданныхъ записокъ Пушкина. Русская Мысль 1880 г. (Перепечатано въ Собраніи сочиненій Пушкина, изд. 1880 г.).

Общественные идеалы Пушкина. (Изъ послѣднихъ лѣтъ жизни поэта). Сообщ. **П. В. Анненковымъ.** (Первонач. въ Вѣстн. Евр. 1880 г. Потомъ—въ „Воспоминаніяхъ и критическ. очеркахъ" П. В. Анненкова. Отд. III. Спб. 1881 г.).

Программа драмы и романа Пушкина. Сообщ. **П. В. Анненковымъ.** (Вѣстн. Евр. 1881 г., № 7).

Каталогъ Пушкинской выставки, устроенной Комитетомъ Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ. Спб. 1880 г.

Главныя критическія статьи о Пушкинѣ:

Гоголь. „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, статья: „Въ чемъ-же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность“.

Бѣлинскій. Сочиненія, **т. I:** а) „Литературныя мечтанія“, б) „Повѣсти, изданныя Алекс. Пушкинымъ. Спб. 1834 г.“. — Соч. **т. II:** а) „Стихотворенія Ал. Пушкина, ч. 4-я. Спб. 1835 г.“, б) „Литературная хроника 1838 г.“.—Соч. **т. III:** „Герой нашего времени“ (сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ).—Соч. **т. VI:** а) „Русская литература въ 1841 г.“, б) „Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя души“.—Соч. **т. VIII:** „Сочиненія Ал. Пушкина“ (11 статей, 1843—1846 гг.).—См. еще въ книгѣ А. Н. Пыпина „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, Спб. 1876 г. т. I—два письма критика: отъ 19 апр. 1839 г. къ Станкевичу, и отъ 19 авг. того же года къ Панаеву.

Варнгагенъ-фонъ-Энзе. Въ Берлинск. журн. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (October, 1838), „Werke von A. Puschkin. Band I—III. St.-P. 1838“.—Переводъ г. Каткова въ „Отеч. Зап.“, 1839 г., т, III.

Аполлонъ Григорьевъ. Сочиненія, т. I, Спб. 1876 г.,—а) „Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина“, б) „Развитіе идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина“, глава II-я, в) „О правдѣ и искренности въ искусствѣ“.

Критикъ „Современника“. См. „Современникъ“ 1855 г., №№ 2, 3, 7 и 8. (Здѣсь есть указанія на статьи предшествовавшихъ критиковъ Пушкина: Сенковскаго, Полеваго, Шевырева, кн. Вяземскаго, Надеждина, Бѣлинскаго).

Добролюбовъ. Сочиненія, т. I: а) „Сочиненія Пушкина, т. 7-й“, б) „О степени участія народности въ развитіи русской литературы. Очеркъ исторіи русской поэзіи А. Милюкова“.

Писаревъ. Сочиненія, т. III: „Пушкинъ и Бѣлинскій“.

И. А. Гончаровъ. Четыре очерка. Спб. 1881 г.—Статья о Грибоѣдовѣ: „Милліонъ терзаній“; въ ней говорится, отчасти, и о Пушкинѣ.

М. Н. Катковъ. Русскій Вѣстникъ 1856 г., янв. и мартъ. „Пушкинъ (Соч. Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. 6 т.)“.

Н. Н. Страховъ. Бѣдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1868 г. Глава VI. (Здѣсь приведено и мнѣніе о Пушкинѣ Варнгагена-фонъ-Энзе).

В. Я. Стоюнинъ. Историческія сочиненія. Ч. II. Пушкинъ. Спб. 1881 г.

Рѣчи на торжествѣ открытія памятника Пушкину собраны въ книгѣ: **„Вѣнокъ на памятникъ Пушкину“**. Спб. 1880 г.—Сюда не вошли рѣчи: **И. С. Тургенева, А. Н. Островскаго** (обѣ въ Вѣстн. Евр. 1880 г.), **И. С. Аксакова** (Русск. Арх. 1880 г., кн. II). **Проф. Кочубинскаго** (отдѣл. брош. „Правда жизни и правда творчества“) и **друг.**—Рѣчь **Ѳ. М. Достоевскаго** (съ добавленіями), напеч. въ „Дневникѣ писателя“ 1880 г., единств. выпускъ.

О. Ѳ. Миллеръ. „Пушкинскій вопросъ“. См. Русская Мысль 1880 г. № 12.

Изданія **Сочиненій Пушкина**:

Посмертное изданіе, въ 11 томахъ (1838—1841 г.).

П. В. Анненкова, въ 6 томахъ, 7-й дополн. Спб. 1855—1857 г.

Два изданія **Исакова** подъ редак. **Геннади:** а) Спб. 1859—1860 гг. б) Спб. 1869—1870 гг.—По 7 томовъ.

Третье изданіе **Исакова,** подъ ред. **П. А. Ефремова.** въ 6 томахъ. Спб. 1880—1881 г.

Изданіе **Ѳ. И. Анскаго,** подъ ред. **П. А. Ефремова.** (Названо 8-мъ изданіемъ). Москва. 1882 г.—7 томовъ (въ 7-мъ—письма Пушкина).

Кромѣ того существуютъ **отдѣльныя изданія нѣкоторыхъ** главнѣйшихъ **произведеній** Пушкина. Иныя изъ нихъ назначены для учащихся.

Въ 1882 г. въ Москвѣ вышли: **Сочиненія А. С. Пушкина.** Особое изданіе для школъ подъ ред. препод. Моск. Уч. Инст. К. А. Козьмина. въ 3 томахъ, разд. по классамъ, съ рисунк. акад. В. Е. Маковскаго и приложеніями.

Александръ Сергѣевичъ

Пушкинъ

въ его поэзіи.

Александръ Сергѣевичъ
ПУШКИНЪ
въ его поэзіи.

ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ
ЖИЗНИ и ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПУШКИНА.

ГЛАВА I.

Отцовскій домъ.—Лицей.—Петербургъ.

(1799—1820 гг.).

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ родился въ Москвѣ въ 1799 г., въ день Вознесенія Христова, 26-го мая. Происхожденіе его не чисто русское. Со стороны отца онъ принадлежалъ къ древнему боярскому роду. Одного изъ своихъ предковъ, Пушкиныхъ, онъ вывелъ дѣйствующимъ лицомъ въ драмѣ „Борисъ Годуновъ“). Со стороны матери онъ былъ происхожденія африканскаго; это отразилось и въ типѣ его головы: у него были вьющіеся, впрочемъ бѣлокурые, волосы, толстыя губы и смуглый цвѣтъ лица. Извѣстный арапъ Петра Великаго Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ былъ его предкомъ; при жизни поэта у него были еще черные родственники.—Весьма замѣчательно, что многіе изъ нашихъ писателей смѣшаннаго происхожденія: предки Фонвизина вышли изъ Германіи, Державинъ—потомокъ татарскаго мурзы, Жуковскій — сынъ турчанки. Это явленіе совершенно параллельно съ происхожденіемъ нашей новой цивилизаціи, начатой Петромъ Великимъ: она представляетъ собою соединеніе началъ древне-русскихъ съ чужими, западно-европейскими.

Условія жизни будущаго поэта въ родной семьѣ не были

благопріятны ни для развитія его таланта, ни для образованія его характера. Отецъ его, Сергѣй Львовичъ (служившій сперва въ Измайловскомъ полку, а потомъ по Коммиссаріату), былъ человѣкъ пустой и легкомысленный; любя свѣтъ и его шумъ, отличаясь моднымъ остроуміемъ, умѣніемъ декламировать стихи и говорить каламбуры, знаніемъ французскаго языка, онъ не любилъ заниматься серьезными дѣлами и даже на службѣ читалъ французскіе романы. На старости лѣтъ, уже лишившись знаменитаго сына, онъ влюбился въ молодую дѣвушку, Ек. Ерм. Кернъ [1]), писалъ ей сантиментальныя посланія и былъ отвергнутъ; эта жалкая страсть прекрасно его характеризуетъ. Жена его, Надежда Осиповна, отличавшаяся, вслѣдствіе своего южнаго темперамента, вспыльчивымъ характеромъ съ рѣзкими переходами отъ гнѣва къ равнодушію, тоже любила, подобно своему мужу (и его брату, Василію Львовичу, извѣстному стихотворцу), свѣтъ, внѣшній блескъ и суету. Въ домашнемъ бытѣ Пушкиныхъ господствовалъ безпорядокъ. Дѣтей воспитывали кое-какъ, по-модному, на французскій ладъ. Александръ Сергѣевичъ былъ (какъ говорятъ, вслѣдствіе тайныхъ семейныхъ обстоятельствъ) менѣе любимъ въ семьѣ, чѣмъ сестра его Ольга и братъ Левъ. Это ожесточало ребенка, озлобляло его характеръ; проницательные родители, встрѣчая въ немъ упрямство, неповиновеніе, часто выводили отсюда заключеніе, что природа его извращена.—Будущій поэтъ (впослѣдствіи такой живой и подвижный) до 8 лѣтъ отличался неповоротливостью, толстотой, молчаливостью, лѣнью; ариѳметика была для него причиною многихъ слезъ; но языками занимался онъ успѣшнѣе, по крайней мѣрѣ французскій языкъ зналъ хорошо. Обладая прекрасной памятью, онъ былъ въ то-же время остроуменъ и находчивъ.

Дѣти—Пушкины, окруженные гувернантками и гувернерами иностранцами, учились всему (кромѣ Закона Божія и русскаго языка) на языкѣ французскомъ, и весь строй ихъ воспитанія былъ французскій, съ модными jeux d'esprit, съ танцовальными вечерами.

Вліяніе полу-французскихъ нравовъ русскаго общества

---

[1]) Руск. Арх. 1866 г., стр. 1489—1491 (Зап. Липранди).

начала XIX в. совершенно гармонировало съ тѣми впечатлѣніями, которыя выносилъ маленькій Александръ Сергѣевичъ изъ библіотеки отца, куда любилъ онъ забираться и гдѣ по цѣлымъ часамъ увлекался чтеніемъ. Библіотека эта состояла изъ французскихъ классиковъ XVII в., философовъ и эротическихъ поэтовъ XVIII в. Левъ Сергѣевичъ Пушкинъ говорилъ впослѣдствіи, что братъ его на 11-мъ году жизни зналъ всю французскую литературу. Понятно, что знакомство со многими изъ писателей XVIII вѣка дѣйствовало развращающимъ образомъ на геніальнаго мальчика. Французское вліяніе было такъ сильно, что первые, дѣтскіе стихи Пушкина были подражаніями французскимъ авторамъ и написаны на французскомъ языкѣ. Такъ, увлекшись Мольеромъ [1]), онъ сочинилъ комедію „L'Escamoteur", освистанную сестрою, что послужило молодому поэту поводомъ написать на себя французскую-же эпиграмму. Подражая „Генріадѣ" Вольтера, Пушкинъ сочинилъ героическую поэму „La Tolyade"; слѣдуя Лафонтену онъ писалъ басни. — Впрочемъ въ отцовской библіотекѣ Пушкинъ знакомился не только съ французскими сочиненіями: онъ прочиталъ тамъ и Плутарха, и Одиссею и Иліаду въ переводѣ Битобе.

Къ счастію будущаго поэта, къ счастію русской литературы и жизни, молодое поколѣніе Пушкиныхъ возростила на своихъ рукахъ простая и добрая русская женщина, няня Арина Родіоновна. На торжествѣ открытія Пушкину памятника Арина Родіоновна многими была помянута добрымъ словомъ; какъ-бы по какому-то безмолвному внутреннему соглашенію всѣ признали благотворность ея вліянія на ея знаменитаго воспитанника. Но сила этого вліянія подвергалась однако прежде, будетъ, вѣроятно, подвергаться и вновь, сомнѣнію: многимъ кажется страннымъ признать, что безграмотная крестьянка могла имѣть такое значеніе для литературы. Но думающіе такъ забываютъ, что эта крестьянка была замѣчательно яркимъ выраженіемъ

[1]) По свидѣтельству племянника поэта, Павлищева, Серг. Львв. читалъ иногда (мастерски) въ семействѣ по вечерамъ Мольера. Такъ что, значитъ, и его безпутное существованіе принесло хоть какую-нибудь пользу развитію его сына. („А. С. Пушкинъ по док. Остаф. архива", Спб. 1880, I).

народной поэзіи, народной мудрости и слѣдовательно образованности. Черезъ няню свою, которая была великая мастерица сказывать сказки, пѣть пѣсни, рѣчь которой была испещрена поговорками и пословицами. Пушкинъ сроднялся съ духомъ русской жизни, знакомился съ народнымъ языкомъ; черезъ няню свою Пушкинъ инстинктивно полюбилъ родную землю. Въ нянѣ нашелъ онъ и любящее его существо — и привязался къ ней всѣмъ сердцемъ. Извѣстно, какъ любилъ ее поэтъ всю свою жизнь и какія задушевныя стихотворенія посвятилъ онъ ей. Такъ, на одно ея простодушное и задушевно-теплое письмо, написанное около 1826 года, онъ отвѣтилъ чудными, къ сожалѣнію неоконченными, стихами, выражающими всю силу его любви къ своей воспитательницѣ:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь будто на часахъ
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытыя ворота,
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствія, заботы
Тѣснятъ твою всечасно грудь,
То чудится тебѣ......

Вопреки взглядамъ нѣкоторыхъ изъ своихъ просвѣщенныхъ цѣнителей, самъ Пушкинъ признавалъ въ своей старушкѣ-нянѣ такую здравую мысль и такое эстетическое чувство, что повергалъ на ея судъ свои произведенія въ эпоху жизни въ Михайловскомъ въ 1824 — 1826 годахъ:

Но я плоды моихъ мечтаній
И гармоническихъ затѣй
Читаю только старой нянѣ,
Подругѣ юности моей...... (Гл. 4, XXXV).

сказалъ онъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“.

Должно упомянуть еще о бабушкѣ поэта, Марьѣ Алексѣевнѣ Ганнибалъ, его первой наставницѣ въ русскомъ языкѣ. Съ ней только, съ няней, да съ Александромъ Ивановичемъ Бѣликовымъ (своимъ законоучителемъ, впо-

слѣдствіи священникомъ) Пушкинъ говорилъ по-русски. Впослѣдствіи онъ и Дельвигъ восхищались простотою, ясностью и мѣткостью рѣчи Марьи Алексѣевны. Старушка знала, между прочимъ, много семейныхъ преданій; такъ, она разсказывала внуку объ арапѣ Петра Великаго. Марья Алексѣевна купила подъ Москвою село Захарово; сюда на лѣто пріѣзжалъ изъ Москвы будущій поэтъ; здѣсь впервые, ребенкомъ, знакомился онъ съ деревней, видѣлъ пляски и хороводы, переживалъ впечатлѣнія народной жизни. Изъ Захарова по праздникамъ Пушкины ѣзжали въ сосѣднее село Вяземо, гдѣ находилась старая церковная колокольня и прудъ, относившіеся, по преданію, ко временамъ Годунова; вѣроятно, Пушкинъ слышалъ тутъ преданія о Годуновѣ. Весьма возможно, что историческія впечатлѣнія дѣтства поэта были зародышами позднѣйшихъ его созданій—„Бориса Годунова“ и „Арапа Петра Великаго“.

Въ числѣ впечатлѣній дѣтства Пушкина слѣдуетъ назвать и впечатлѣнія новой русской литературы. Любитель общества, Сергѣй Львовичъ знакомился, черезъ своего брата Василія, съ современными литературными знаменитостями,—домъ его (въ Петербургѣ) посѣщали Батюшковъ, Дмитріевъ, Жуковскій, князь Вяземскій и друг. Рано пристрастившійся къ чтенію книгъ, молодой Пушкинъ прислушивался къ разговорамъ этихъ писателей, зачитывался ихъ произведеніями.

Нелѣпо начатое воспитаніе Александра Сергѣевича родители хотѣли и закончить такъ-же или еще и болѣе нелѣпо, отдавъ его, на 11-мъ году, въ модную тогда среди аристократическаго общества іезуитскую коллегію въ Петербургѣ. Князь П. А. Вяземскій въ своихъ автобіографическихъ запискахъ съ сочувствіемъ отзывается объ этой коллегіи, гдѣ онъ самъ получилъ воспитаніе; но мы, конечно, можемъ этихъ сочувствій не раздѣлять: честные отцы Іисусова общества, конечно, не безъ задней мысли открыли въ Петербургѣ свое училище; воспитаніе въ ихъ коллегіи основывалось на системѣ шпіонства; обученіе шло на французскомъ языкѣ... Отъ новой напасти спасъ Пушкина Александръ Ивановичъ Тургеневъ, уговорившій родителей его отдать сына въ только что открывавшійся тогда въ Царскомъ Селѣ Александровскій лицей.

Въ русскомъ обществѣ и литературѣ долго держалось убѣжденіе, что первоначальный Лицей былъ образцовымъ заведеніемъ [1]). Г. Анненковъ въ своемъ сочиненіи „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху“ разочаровываетъ насъ въ такомъ мнѣніи. При основаніи Лицея имѣлось въ виду высоко поставить въ немъ образованіе: преподавателями были приглашены лучшіе ученики Педагогическаго Института, которыхъ на казенный счетъ даже отправляли заграницу; такъ, латинскую и русскую словесность преподавалъ Кошанскій (котораго потомъ замѣнилъ Галичъ), математику—Карцевъ, исторію—Кайдановъ, психологію и философію права Куницынъ. Но дѣло не пошло на ладъ: Куницынъ, читавшій сначала очень живо и образно, на второмъ курсѣ сталъ требовать только буквальной выучки записокъ. Карцевъ довольно скоро остылъ къ занятіямъ и разсказывалъ въ классѣ анекдоты. Слабохарактерный Галичъ въ своей комнатѣ (назначенной ему для пріѣздовъ изъ Петербурга) позволялъ лицеистамъ устраивать пирушки, на которыхъ и самъ участвовалъ. Иной разъ случалось, что передъ экзаменами учителя и ученики сговаривались, что и какъ отвѣчать. Неудивительно, что Пушкинъ впослѣдствіи въ запискахъ своихъ, говоря про А. Н. Вульфа, выразился: „Въ концѣ 1826 года я часто видѣлся съ однимъ дерптскимъ студентомъ. Онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между тѣмъ какъ мы... выучились танцовать“ [2]). Ту-же идею выразилъ поэтъ въ своемъ романѣ, въ стихахъ:

Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Воспитаніе въ Лицеѣ шло не лучше ученья: лицеисты были распущены въ нравственномъ отношеніи; довольно быстро смѣнявшіе одинъ другого директора не могли обуздать ихъ грубыхъ шалостей и разгула. Воспитанники кутили и пили съ гусарами, волочились за актрисами театра графа Толстого, за горничными и няньками царскосельскихъ

---

[1]) Подробное описаніе Лицея см. въ ст. г. Гаевскаго („Современникъ“ 1853 г., № 2) и въ „Памятной книжкѣ Александровскаго лицея на 1856—1857 гг.“.

[2]) Пушкинъ въ Александр. эпоху, г. Анненкова, стр. 283, выноска.

обывателей. Свидѣтельства объ этой жизни мы имѣемъ въ „Лицейскихъ стихотвореніяхъ“ Пушкина. Кутежи свои и своихъ товарищей поэтъ-отрокъ воспѣлъ въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ Галичу: „Посланіе къ Галичу“ (1815 г.), „Пирующіе студенты“ (1814 г.) и друг.

Шипи шампанское въ стеклѣ!
Друзья, почто же съ Кантомъ
Сенека, Тацитъ на столѣ,
Фольянтъ надъ фоліантомъ?
Подъ столъ холодныхъ мудрецовъ!
Мы полемъ овладѣемъ!
Подъ столъ ученыхъ дураковъ!
Безъ нихъ мы пить умѣемъ!
Ужели трезваго найдемъ
За скатертью студента?
На всякій случай изберемъ
Скорѣе президента.
Въ награду пьянымъ онъ нальетъ
И пуншъ, и грогъ душистый,
А вамъ, спартанцы, поднесетъ
Воды въ стаканѣ чистой.
Защитникъ нѣги и прохладъ,
Мой добрый Галичъ, vale!
Ты Эпикуровъ младшій братъ,
Душа твоя въ бокалѣ.
Главу вѣнками убери—
Будь нашимъ президентомъ.

Въ стихотвореніи 1715 г. „Къ Галичу“ молодой поэтъ обращаясь къ своему наставнику со словами:

Въ тебѣ трудиться нѣтъ охоты;
Садись на тройку злыхъ коней,
Оставь Петрополь и заботы,
Лети въ счастливый городокъ, и т. д.,

между прочимъ заявляетъ о своемъ желаніи надѣть военный мундиръ:

Простите, дѣвственныя музы!
Прости, пріютъ младыхъ отрадъ!
Надѣну узкія рейтузы,
Завью въ колечки гордый усъ,
Заблещетъ пара эполетовъ,
И я, питомецъ важныхъ Музъ,
Въ числѣ воюющихъ корнетовъ!

Дружба съ гусарами влекла Пушкина самого поступить въ гусары.

Ухаживаніе за крѣпостными актрисами театра графа Толстаго вызвало у Пушкина нѣсколько стихотвореній: „Къ Натальѣ“ (1814 г.), „Къ молодой актрисѣ“ (1814 г.) и т. п.

Миловидной жрицы Тальи,
Видѣлъ прелести Натальи,
И ужь въ сердце Купидонъ!

читаемъ мы въ первомъ изъ названныхъ произведеній; а во второмъ находимъ такую характеристику бездарной, но красивой артистки и отношеній къ ней учащейся въ Лицеѣ публики:

Жестокой суждено судьбой
Тебѣ актрисой быть дурной;
Но, Хлоя, ты мила собой!
. . . .
Когда Милона молодаго,
Лепеча что-то не для насъ,
Въ любви безъ чувства увѣряешь,
Или безъ памяти въ слезахъ,
Холодный испуская: ахъ!
Спокойно въ кресло упадаешь,
Краснѣя и чуть-чуть дыша,—
Всѣ шепчутъ: ахъ, какъ хороша!
Увы! другую-бъ освистали!
Велико дѣло красота!
О, Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свѣтѣ суета!

Понятно, какимъ развращающимъ образомъ должны были дѣйствовать на впечатлительную душу, на пылкую натуру Пушкина всѣ эти грубыя увлеченія. По свидѣтельству товарища его графа Корфа, онъ сильно увлекался пирушками на-распашку [1]). Впрочемъ, его сдерживали нѣсколько, какъ справедливо замѣчаетъ кн. П. П. Вяземскій, знакомства съ Чаадаевымъ (который тоже былъ гусарскимъ офицеромъ, но вовсе не кутилой) и съ семействомъ Карамзина, въ которомъ онъ часто бывалъ, благоговѣя и предъ знаменитымъ историкомъ, и предъ его женою Екатериной Андреевной, въ которую былъ влюбленъ.

Гр. Корфъ говоритъ въ своей Запискѣ: „въ Лицеѣ Пуш-

---

[1]) „А. С. Пушкинъ, по документамъ Остафьевскаго архива“. Кн. П. П. Вяземскаго. Спб. 1880 г., I, 46—47.

кинъ рѣшительно ничему не учился“. Можетъ быть этотъ приговоръ слишкомъ рѣзокъ: но онъ не такъ далекъ отъ истины. Ни прилежаніемъ, ни вниманіемъ Пушкинъ-лицеистъ не отличался; онъ и вышелъ изъ заведенія по второму разряду, и аттестатъ его свидѣтельствуетъ о посредственныхъ успѣхахъ. Въ сохранившихся „вѣдомостяхъ о дарованіяхъ, прилежаніи и успѣхахъ“ воспитанниковъ лицея [1]) Кайдановъ аттестовалъ Пушкина (за географію и исторію): „при маломъ прилежаніи, оказываетъ очень хорошіе успѣхи и сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ“. Профессоръ логики и нравственныхъ наукъ Куницынъ отозвался о поэтѣ: „весьма понятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне не-прилеженъ. Онъ способенъ только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія, а потому успѣхи его очень невелики, особенно по части логики“.

О нравственной сторонѣ его личности въ Лицеѣ существуютъ противорѣчивыя показанія его товарищей: И. И. Пущинъ говоритъ: „Пушкинъ былъ доброе, даже нѣжное и по-преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними [2]). Гр. Корфъ [3]) показываетъ другое: „Вспыльчивый до бѣшенства, вѣчно разсѣянный, вѣчно погруженный въ поэтическія свои мечтанія, съ необузданными африканскими страстями... Пушкинъ на школьной скамьѣ, ни послѣ, въ свѣтѣ, не имѣлъ ничего любезнаго и привлекательнаго въ своемъ обращеніи... Въ лицеѣ онъ превосходилъ всѣхъ въ чувственности, а послѣ въ свѣтѣ предался распутствамъ всѣхъ родовъ... Пушкинъ не былъ созданъ ни для свѣта, ни для общественныхъ обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только двѣ стихіи: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ обоихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ

---

[1]) См. у г. Анненкова, въ „Матеріалахъ для біогр. Пушкина“, Стр. 15.

[2]) „Матеріалы“ г. Анненкова, Стр. 42. Записки И. И. Пущина въ Атенеѣ 1859, № 8.

[3]) „А. С. Пушкинъ по докум. Остаф. архива. Кн. Вяземскаго. Спб. 1880, I, 48—50.

отъявленномъ цинизмѣ по этой части". Съ мнѣніемъ гр. Корфа совершенно сходится еще болѣе суровый отзывъ о Пушкинѣ-ученикѣ директора лицея Энгельгардта, сказавшаго, что умъ Пушкина, не имѣя ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французскій умъ. „Это еще самое лучшее (писалъ Энгельгардъ), что можно сказать о Пушкинѣ. Его сердце холодно и пусто, въ немъ нѣтъ ни любви, ни религіи; можетъ быть оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское сердце. Нѣжныя и юношескія чувства унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всѣми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ при поступленіи въ лицей зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрѣтеніе первоначальнаго воспитанія" [1]).

И Энгельгардъ и графъ Корфъ смотрятъ на поэта, очевидно, очень близоруко и даже наивно; но въ то-же время признать ихъ показанія лживыми никакъ нельзя. Оба они не враги Пущкина: Корфъ въ своей запискѣ признаетъ его талантъ и, говоря о его женитьбѣ, понимаетъ всю тяжесть брачной жизни поэта. Энгельгардъ въ 1820 г. ходатайствовалъ за Пушкина передъ императоромъ. Слова Энгельгардта насчетъ оскверненія воображенія Пушкина-ребенка эротическими произведеніями французской литературы — совершенно вѣрны. Свидѣтельство графа Корфа, что поэтъ въ лицеѣ страстно предавался разгулу, вполнѣ подтверждается вышеприведенными лицейскими стихотвореніями самого поэта. Но несомнѣнно, что нельзя отвергнуть и показаній Пущина. Должно признать, слѣдовательно, что въ душѣ, въ нравѣ Пушкина въ лицеѣ была двойственность, жили противорѣчія. И дѣйствительно, мы видимъ то-же самое и въ его поведеніи, въ образѣ его жизни, въ занятіяхъ: по словамъ товарищей, то онъ весь погружался въ думы и чтеніе, то только и дѣлалъ, что бѣгалъ, прыгалъ черезъ стулья, игралъ въ мячикъ. Ту-же двойственность можно замѣтить въ его отношеніяхъ къ товарищамъ: по словамъ графа Корфа, онъ былъ друженъ только съ стихотворцами. По другому показанію, весь образъ дѣйствій

---

[1]) См. „Матеріалы" г. Анненкова. Также „Современникъ" 1863 г. № 8, стр. 376.

его, относительно товарищей, былъ заносчивый, рѣзкій, напрашивающійся на вражду и оскорбленія. Но этотъ-же свидѣтель говоритъ, что Пушкнъ поступалъ такъ наперекоръ своему воспріимчивому и впечатлительному отъ природы сердцу; что онъ по ночамъ плакалъ въ своемъ нумерѣ (у каждаго лицеиста была своя комната), жаловался на себя и на другихъ, раскаявался и обсуждалъ планы, какъ поправить свое положеніе между товарищами.

Эту странную на первый взглядъ двойственность въ характерѣ можно, однако, объяснитъ. Замкнутость, скрытность Пушкина, какое-то желаніе выставлять свои дурныя стороны и таить свѣтлые порывы сердца произошли, должно быть, отъ того озлобленія, которое онъ вынесъ изъ родительскаго дома и которое усилилось отношеніями къ товарищамъ. Впрочемъ, это вообще загадочная черта въ характерѣ даровитыхъ людей — представляться иными, чѣмъ каковы они въ дѣйствительности; этой чертой отличался и Лермонтовъ во всю свою жизнь.—Другою, и быть можетъ, главнѣйшей причиной двойственности въ нравѣ Пушкина-юноши была, по всей вѣроятности, та внутренняя борьба, которая происходила въ это время въ душѣ его, борьба противоположныхъ умственныхъ и нравственныхъ началъ и вліяній.

Свѣтлой стороною въ жизни первоначальнаго Лицея было литературное направленіе его воспитанниковъ. Лицеисты, по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, много читали русскихъ и иностранныхъ авторовъ и сами пробовали свои силы въ сочинительствѣ. Кромѣ Пушкина писали стихи Дельвигъ, Кюхельбекеръ, Илличевскій.

Изъ „Лицейскихъ стихотвореній“ Пушкина видны серьезныя его занятія литературой. 15-ти—16-ти лѣтъ онъ знакомился съ біографіями всевозможныхъ писателей; читалъ критику Лагарпа. Въ стихотвореніи „Къ другу стихотворцу“ (1814 г.) есть такіе стихи:

Родился нагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо.
Камоэнсъ съ нищими постелю раздѣляетъ,
Костровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ,
Руками чуждыми могилѣ преданъ онъ.

Въ стихотвореніи „Городокъ“ (1815 г.) Пушкинъ пишетъ:

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,
Но часто признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу...

Ученическія стихотворенія поэта и біографическія данныя довольно опредѣленно указываютъ на разныя литературныя вліянія въ его лицейской жизни. Изъ увлекавшихъ его французскихъ писателей слѣдуетъ прежде всего назвать Вольтера. Въ своихъ лицейскихъ „запискахъ“ [1]) Пушкинъ говоритъ подъ 10-мъ декабря: „поутру читалъ жизнь Вольтера“. Въ подражаніе Вольтеру написалъ онъ романъ „Фатама или разумъ человѣческій“, гдѣ проведена мысль, что измѣненіе натуральнаго хода вещей не можетъ повести къ лучшему. Философское направленіе Вольтера и вообще мыслителей XVIII вѣка также, по всей вѣроятности, вліяло на юношу-поэта. Надо замѣтить, что между лицеистами были свои сенсуалисты, деисты, мистики, атеисты и т. д. Объ увлеченіи Пушкина философскими идеями свидѣтельствуетъ стихотвореніе его „Безвѣріе“, произнесенное имъ на публичномъ экзаменѣ въ 1817 г.; въ немъ поэтъ описываетъ, видимо по опыту, ужасное состояніе души во время безвѣрія и говоритъ о своихъ сомнѣніяхъ (уже оставившихъ его, впрочемъ, ко времени написанія произведенія). Пушкинъ положительно свидѣтельствуетъ въ стихотвореніи „Городокъ“ (1815 г.), что въ ранней юности болѣе всѣхъ писателей увлекался онъ Вольтеромъ, котораго даже считалъ величайшимъ поэтомъ. Перечисляя авторовъ, составляющихъ его библіотеку (вѣроятно—библіотеку отца), онъ такъ отзывается о знаменитомъ „фернейскомъ философѣ“:

Сынъ Мома и Минервы,
Фернейскій злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый,
Ты здѣсь, сѣдой шалунъ!
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ
Издѣтства сталъ піитъ;
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ;
Соперникъ Эврипида,
Эраты нѣжный другъ,

[1]) „Матеріалы“ г. Анненкова, стр. 21.

Арьоста, Тасса внукъ,
Скажу-ль?... Отецъ „Кандида“!
Онъ все: вездѣ великъ,
Единственный старикъ!

Изъ этихъ стиховъ ясно, (что какъ и слѣдовало ожидать) Вольтеръ извѣстенъ былъ отроку Пушкину преимущественно какъ авторъ поэтическихъ сочиненій „Отецъ„Кандида“, выразился Пушкинъ. Объ этой-же повѣсти одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній Вольтера, нашъ поэтъ вспоминаетъ еще въ отрывкѣ „Сонъ“ (1816 г.):

Жезломъ невидимымъ своимъ
Морфей на все невѣрный мракъ наводитъ.
Темнѣетъ взоръ; Кандидъ изъ вашихъ рукъ,
Закрывшися, упалъ въ колѣни вдругъ;
Вздохнули вы; рука на столъ валится,
И голова съ плеча на грудь катится.

Описывая село Захарово въ „Отрывкахъ изъ посланія къ Юшкову“ (1816 г.), Пушкинъ опять говоритъ о своей любви къ чтенію Вольтера. Въ 1817 г. онъ перевелъ изъ Вольтера два стихотворенія: „Стансы“ (Ты мнѣ велишь пылать душою) и „Сновидѣніе“. Въ 1818 г., посылая И. И. Кривцову вольтерову поэму („Орлеанскую дѣвственницу“), онъ въ посланіи, написанномъ по этому случаю, высказываетъ свое сочувствіе пресловутой поэмѣ.

Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ упоминаетъ и многихъ другихъ поэтовъ—древнихъ и новыхъ, иностранныхъ и русскихъ—которыхъ онъ читалъ и которые болѣе или менѣе вліяли на него. Вотъ ихъ имена: Грей, Томсонъ, Виландъ, Тассъ, Аріостъ, Гомеръ, Виргилій, Анакреонъ (про котораго въ стихотвореніи „Мое завѣщаніе“ (1815 г.) Пушкинъ выражается: „онъ былъ учителемъ моимъ“), Расинъ, Мольеръ („исполинъ“), Жанъ-Жакъ Руссо, Жанлисъ, Лафонтенъ, Вержье, Парни, Грекуръ, Шамфоръ, Шолье, Грессе; изъ русскихъ: Ломоносовъ, Державинъ, Дмитріевъ („пѣвцы безсмертные, и честь и слава Россовъ“, какъ сказано въ стихотв. „Къ другу стихотворцу“, 1814 г.), затѣмъ Крыловъ (котораго Пушкинъ считалъ побѣдителемъ Лафонтена), Карамзинъ, Батюшковъ, Жуковскій.

Вліяніе Жуковскаго, прямая противоположность вліянію

Вольтера, было могущественно. Какъ много значила для Пушкина романтическая муза этого писателя, видно изъ посланія къ „Жуковскому“ (1817 г.), въ которомъ молодой поэтъ съ такими словами обращается къ своему предшественнику и учителю:

Не ты-ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной
Могу-ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ, рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.

Въ стихотвореніи „Къ сестрѣ“, написанномъ ранѣе предъидущаго (въ 1814 году), мы видимъ, что образы созданные Жуковскимъ, оказываются родными для Пушкина: такъ, сестру свою онъ сравниваетъ съ „задумчивой Свѣтланой“. Жуковскаго онъ назвалъ здѣсь—

пѣвецъ Людмилы,
Мечты невольникъ милый...

Въ запискахъ своихъ въ 1815 году Пушкинъ отмѣтилъ: „Жуковскій дарить мнѣ свои произведенія“; тутъ-же говоря о своей любви, онъ характеризуетъ ее стихами Жуковскаго:

Онъ пѣлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ,
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку.

Въ числѣ выраженій литературнаго направленія лицеистовъ была придуманная ими игра—собираться кружкомъ и разсказывать повѣсти своего сочиненія. Въ состязаніяхъ этихъ Пушкинъ уступалъ въ изобрѣтательности Дельвигу [1]), и, чтобы не упасть въ мнѣніи товарищей, прибѣгалъ къ хитростямъ; такъ, онъ разсказалъ имъ однажды „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго и выдалъ это произведеніе за свое. Разсказъ его увлекъ слушателей; слѣдова-

---

[1]) Что отчасти подтверждаетъ показаніе гр. Корфа („Пушкинъ по докум. Остаф. архива“, I, 48): „Бесѣды ровной, систематической, сколько-нибудь связной—у него совсѣмъ не было, какъ не было и дара слова; были только вспышки: рѣзкая острота, злая насмѣшка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, иногда въ добрую минуту“.

тельно онъ самъ былъ увлеченъ поэзіей романтической повѣсти, если съумѣлъ такъ одушевленно пересказать ее.

Противоположная мечтательной поэзіи Жуковскаго поэзія Батюшкова, съ ея опредѣленными, античными формами стиха, съ ея воспѣваніемъ земныхъ радостей, тоже могущественно дѣйствовала на Пушкина. Въ посланіи 1814 года „Къ Батюшкову" отрокъ-поэтъ самъ указываетъ, какою стороною своей преимущественно дѣйствовалъ на него этотъ стихотворецъ:

Философъ рѣзвый и піитъ,
Парнасскій счастливый лѣнивецъ,
Хранитъ изнѣженный любимецъ,
Наперстникъ милыхъ Аонидъ!
Почто на арфѣ златострунной
Умолкнулъ радости пѣвецъ?
Уже-ль и ты, мечтатель юный,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?
Уже съ вѣнкомъ изъ розъ душистыхъ,
Межь кудрей вьющихся златыхъ,
Подъ тѣнью тополей вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ
Заздравнымъ не стучишь фіаломъ,
Любовь и Вакха не поешь...

Вліяніе Батюшкова на Пушкина почти тождественно, по крайней мѣрѣ очень близко съ вліяніемъ на него Парни; симпатизируя французскому лирику, Батюшковъ самъ довольно много переводилъ изъ него.

Въ связи съ вліяніемъ беллетристическихъ сочиненій Вольтера стоитъ вліяніе на Пушкина-отрока и юношу цѣлой полосы нашей русской литературы 18-го вѣка.

Читалъ охотно „Елисея",

говоритъ поэтъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ" про свои ученическія увлеченія книгами въ лицеѣ „Елисей"—извѣстная шуточная эротическая поэма Василія Майкова, писателя временъ имп. Екатерины. Едва ли не болѣе Майкова, какъ увидимъ, дѣйствовалъ на Пушкина другой знаменитый писатель той-же эпохи—Богдановичъ авторъ извѣстной „Душеньки".

Всѣ эти разнообразныя и часто противорѣчивыя вліянія ярко отразились на лицейской лирикѣ нашего поэта. Но прежде чѣмъ указать на ихъ проявленія, должно остановиться нѣсколько на главныхъ изъ названныхъ писателей—

учителей Пушкина и характеризовать ихъ хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, чтобы яснѣе представить, что́ они дали и могли дать будущему великому художнику.

Вольтеръ, какъ мы видѣли, произвелъ на Пушкина могущественное впечатлѣніе именно своими поэтическими сочиненіями (изъ нихъ любимою вещью Пушкина-отрока былъ романъ „Кандидъ"). Человѣкъ несомнѣнно богато одаренный, геніальный, съ сильнымъ умомъ, Вольтеръ собственно поэтомъ не былъ. Въ его очень занимательныхъ повѣстяхъ и поэмахъ нѣтъ однако ни живыхъ типовъ, ни художественныхъ картинъ, ни теплаго чувства. Въ романахъ своихъ Вольтеръ такой же публицистъ, какъ и въ философскихъ, историческихъ сочиненіяхъ, въ письмахъ; поэзія для него была лишь общедоступной формой для проповѣданія своихъ воззрѣній. Слѣдовательно, Вольтеръ дѣйствовалъ на Пушкина именно своими идеями. Что же это за идеи?

Въ позднѣйшей своей дѣятельности, въ пору зрѣлости таланта, въ посланіи „Къ вельможѣ" (1830 г.) Пушкинъ иначе опредѣлилъ значеніе Вольтера, чѣмъ въ приведенныхъ выше дѣтскихъ стихахъ своихъ:

цииикъ посѣдѣлый,
Умовъ и моды вождь, пронырливый и смѣлый,
Свое владычество на Сѣверѣ любя,
Могильнымъ голосомъ привѣтствовалъ тебя.
Съ тобой веселости онъ расточилъ избытокъ,
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.

Могучій вождь умомъ, смѣлый и дерзкій, циникъ, веселый, властолюбивый и льстивый,—Вольтеръ представлялся Пушкину Мефистофелемъ. Такимъ онъ и былъ въ дѣйствительности. Двойственность, непримиримая, и которую онъ самъ, очевидно, и не хочетъ примирить, ярко замѣтна и въ философскихъ его сочиненіяхъ, и въ повѣстяхъ, и въ жизни; и на мысль, и на чувство, и на дѣло Вольтеръ смотритъ съ цинизмомъ льстивой и холодной насмѣшки.

Съ одной стороны, въ цѣломъ рядѣ блестящихъ, остроумныхъ трактатовъ своего „Философскаго словаря" [1]) онъ

---

[1]) Dictionnaire philosophique Paris 1816. (14 томовъ). — Также въ Oeuvres complètes de Voltaire. Basel. 1786, tt. 37—43.

(какъ и вообще „философы" XVIII в.) представляется намъ сильнымъ и замѣчательнымъ борцомъ противъ предразсудковъ и суевѣрій, противъ всякаго рода деспотизма. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна статья „Fanatisme",—Могущественный скептицизмъ Вольтера слѣдуетъ считать, конечно, тоже однимъ изъ свѣтлыхъ явленій его дѣятельности.

Но, съ другой стороны, въ тѣхъ же самыхъ своихъ сочиненіяхъ, гдѣ осмѣиваетъ предразсудки, Вольтеръ со многими изъ нихъ не только готовъ примириться, но и отстаивать ихъ. Такъ, напр., въ статьѣ „Egalité", гдѣ сказано, что поваръ такой-же человѣкъ, какъ и его господинъ: такъ-же родился плачущимъ, такъ-же умретъ въ агоніи, совершаетъ такія же животныя отправленія [1],—въ этой самой статьѣ авторъ ея утверждаетъ, что не только невозможно, чтобы на нашей несчастной планетѣ люди не раздѣлялись на богатыхъ и бѣдныхъ, но что этого и не нужно: бѣдные вовсе не несчастны,—большая часть ихъ родилась въ этомъ состояніи, и постоянная работа мѣшаетъ имъ чувствовать свое положеніе [2]).

На высотѣ своего скептицизма Вольтеръ тоже не удерживается и не хочетъ удержаться: онъ съ веселой насмѣшкой переходитъ отъ него путемъ софизмовъ къ матеріалистическимъ вѣрованіямъ. Именно—вѣрованіямъ, потому что, кромѣ сознательныхъ софизмовъ, никакихъ другихъ доказательствъ въ пользу своихъ матеріалистическихъ положеній онъ не приводитъ). Въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ обширный трактатъ „Ame". Здѣсь мы найдемъ и блестящіе примѣты скептизма, и софистическія доказательства несуществованія души. И тотъ-же Вольтеръ былъ деистъ и искренно вѣрилъ въ Бога, хотя въ то-же время ядовито замѣтилъ однажды, что Бога надо-бы выдумать, если-бы его не было.

Утѣшеніе въ непримиримыхъ противорѣчіяхъ мысли Вольтеръ находилъ и другимъ указывалъ въ матеріальныхъ благахъ жизни. Циникомъ представляется онъ и въ своихъ воззрѣніяхъ на человѣческую природу, какъ своекорыстную и злую (см., напр. „Egalité"), циникомъ и въ своемъ чисто

---

[1]) Dict philos. P. 1816. v. VI, p. 237.

[2]) Тамъ же, стр. 235-236.

животномъ идеалѣ счастья (см., напр., трактаты Философскаго словаря: „Adorer“, „Amour“, Mahométans“ и т. д.).

И точно такимъ-же двойственнымъ существомъ, такимъ-же Мефистофелемъ представляется онъ и въ своей жизни, и въ перепискѣ, —Носитель свободныхъ идей, онъ заискивалъ въ сильныхъ міра сего, льстилъ Фридриху, нашей императрицѣ Екатеринѣ.—Защитникъ Калашей и Сирвеновъ, помогавшій многимъ бѣднымъ, онъ писалъ императрицѣ, Екатеринѣ, что „чернь“ „никогда не бываетъ управляема разумомъ“ и ее „должно школить точно такъ, какъ медвѣдей [1]); а въ письмѣ къ Дамилавилю (1 апр. 1766 г.) выразился: я понимаю подъ народомъ populace, чернь, у которой есть только руки, чтобы жить. Я опасаюсь, что этотъ разрядъ людей никогда не будетъ имѣть времени и способности научиться; мнѣ кажется даже необходимымъ, чтобы существовали невѣжды... quand la populace semêle de raisonner, tout est perdu“ [2]).

Непримиримыя противорѣчія видимъ мы и въ въ беллетристическихъ произведеніяхъ знаменитаго философа. Въ повѣстяхъ и романахъ своихъ то является онъ врагомъ всякаго деспотизма и гнета, то рабски склоняется передъ властителями и героями, признавая ихъ какъ-бы существами высшаго порядка, чѣмъ простые смертные. Въ этомъ отношеніи интересны повѣсти: „Вавилонская принцесса“, „Кандидъ“, Задигъ или судьба“. Вольтеръ то восхищается идилліею сельской жизни, возвеличиваетъ дикаря, близкаго къ природѣ, отрицаетъ цивилизацію (напр. въ повѣсти „Простодушный“), то признаетъ (и это въ той-же повѣсти) неизмѣримое превосходство цивилизаціи надъ первобытной простотою нравовъ и дикаря считаетъ „скотомъ“. Та-же преднамѣренная путаница и въ высказываемыхъ романами философскихъ воззрѣніяхъ на нравственность, на добро и зло. Повидимому, Вольтеръ признаетъ и возвеличиваетъ нравственныя доблести: правдивость Кандида, прямоту и честность Гурона (въ повѣсти „Простодушный“), цѣломудріе его невѣсты „Сентъ-Ивъ“ или героя „Вавилонской принцессы“ Амазана.

---

[1]) Философичес. и политичес. переписка имп. Екатерины Вторыя съ г. Вольтеромъ 2 чч. М. 1802 г., т. II, стр. 70, 74—75.

[2]) Исторія литературы XVIII в. Геттнера, Спб. 1886 г. т. II, стр. 162—163.

Но всмотритесь внимательнѣе во всѣ случаи, гдѣ прославляется добродѣтель, и вы увидите, что на-ряду съ этимъ (въ тѣхъ-же самыхъ произведеніяхъ) она отрицается и осмѣивается. Что-же касается цинизма, и въ воззрѣніяхъ на человѣческую природу, и въ картинахъ быта, и въ изображеніи жизненныхъ идеаловъ, то его въ повѣстяхъ значительно больше, нежели въ философскихъ сочиненіяхъ (что, быть можетъ обусловлено ихъ формою), между тѣмъ какъ скептицизма гораздо менѣе. Въ циническихъ картинахъ тонутъ зачастую всякія другія намѣренія автора, какъ напр., желаніе осмѣять безнравственность и лицемѣріе католическаго духовенства въ „Письмахъ Амабеда" почти совершенно исчезаетъ передъ яркостью чувственнаго изображенія похожденій отцовъ Фа-туто и Фа-мольто.—Возбуждая въ читателѣ массу сомнѣній, разрушая въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ идеальный міръ, Вольтеръ на мѣсто его ставитъ въ сладострастныхъ изображеніяхъ чувственную, животную жизнь.—И на этихъ созданіяхъ его генія и на подобныхъ имъ произведеніяхъ его подражателей воспитывалось наше общество екатерининскихъ временъ, воспитывался въ отцовскомъ, офранцузившемся домѣ Пушкинъ.

Поэтическое творчество Вольтера (какъ и вообще его идеи) имѣло огромное вліяніе на нашу литературу XVIII стол. Французскому генію, вождю умовъ вѣка, подражали русскіе писатели. Такъ Радищевъ (знаменитый авторъ „Путешествія изъ Петербурга въ Москву") въ своей цинической стихотворной сказкѣ „Бова", по своему собственному указанію, подражалъ „Орлеанской дѣвственницѣ", передъ авторомъ которой онъ благоговѣлъ:

О, Вольтеръ, о, мужъ преславный!
Если-бъ можно Бовѣ было
Быть похожу и кое-какъ
На Жанету, дѣвку храбру,
Что воспѣлъ ты; хоть мизинца
Ея стоить;—если-бъ можно,
Чтобъ сказали: Бова только
Тоща тѣнь ея,—довольно!
То бы тѣнь была Вольтера,
И мой образъ изваянный
Возгнѣздился-бъ въ Пантеонѣ.

Духъ поэтическаго творчества Вольтера сдѣлался ду-

хомъ поэзіи вѣка, или по крайней мѣрѣ широкой полосы этой поэзіи. Въ тонѣ творчества знаменитаго „фернейскаго отшельника“ создавались, независимо отъ прямаго подражанія его произведеніямъ, разнаго рода поэмы, сказки, повѣсти и романы.

Однимъ изъ подобныхъ, духомъ времени вызванныхъ, произведеній была и поэма В. Майкова „Елисей“, которую Пушкинъ, по его словамъ, такъ „охотно“ читалъ въ лицеѣ. Майковъ обладалъ несомнѣннымъ поэтическимъ талантомъ; но у него не было ни опредѣленнаго направленія, ни опредѣленныхъ убѣжденій. Среди его сочиненій мы встрѣчаемъ и произведенія въ народномъ духѣ, и стихотворенія религіозно - возвышеннаго характера, и легкомысленно-чувственныя поэмы. Къ числу послѣднихъ относится и „Елисей, или раздраженный Вакхъ“. Въ этой поэмѣ въ герои возведенъ пьяный, буйный и развратный ямщикъ, которому авторъ видимо сочувствуетъ; а содержаніе произведенія состоитъ въ смѣхотворномъ и откровенномъ повѣствованіи о циническихъ похожденіяхъ этого ямщика. Юморъ поэмы, какъ и все творчество Майкова отличается двойственностью: то это смѣхъ здраваго русскаго смысла (онъ слышится, напр., въ комическомъ изображеніи петиметровъ), то это циническая и легкомысленная насмѣшка надъ такими явленіями человѣческой жизни, которыя должны быть уважаемы, — надъ народными вѣрованіями (въ поэмѣ боги древности изображены, какъ въ оперетахъ Оффенбаха, въ дурацкомъ видѣ), надъ любовью сына къ матери, т. е. надъ такимъ чувствомъ, которое особенно уважается нашей народной поэзіей, и т. д. Мораль поэмы — самая уступчивая и снисходительная.

Одного духа съ „Елисеемъ“ Майкова и знаменитая въ свое время поэма поклонника и переводчика Вольтера „Иполлита Богдановича „Душенька“, стихотворная передѣлка прозаическаго романа Лафонтена „Les amours de Psyché“. „Душенька“ пользовалась необыкновенною славой: къ портрету ея автора сочинялись восторженные стихи; Карамзинъ къ собранію сочиненій Богдановича приложилъ хвалебную ей статью, въ которой находитъ поэму вполнѣ достойной „алтаря Грацій“. — Авторъ хотѣлъ въ основу своего произведенія положить нравственную идею:

Наружный блескъ въ очахъ преходитъ такъ, какъ дымъ,
Но красоту души ничто не измѣняетъ:
Она единая всегда и всѣхъ плѣняетъ...

Но возвышенной морали этого нравоученія противорѣчитъ самое произведеніе и главнымъ образомъ характеръ его героини.

Легкомысленная, любящая наряды, любящая быть окруженной поклонниками, дочь одного царя — Душенька, согласно предписанію оракула, выходитъ замужъ за невѣдомое ей существо, оказывающееся потомъ Амуромъ. Душеньку отвозятъ на вершину указанной оракуломъ горы, оставляютъ одну, и она таинственно попадаетъ въ царство предназначеннаго ей супруга. Этотъ супругъ является ей только во мракѣ; она думаетъ (основываясь на темныхъ словахъ оракула), что онъ чудовище; но, окруженная роскошью, спокойно съ этимъ примиряется; ее мучитъ только любопытство. И вотъ, побуждаемая имъ, она зажигаетъ лампаду и видитъ своего мужа. Въ наказаніе она лишается окружавшаго ее богатства и должна скитаться въ пустынѣ. Въ отчаяніи она пытается нѣсколько разъ лишить себя жизни, но Амуръ таинственно спасаетъ ее. Наконецъ, Душенька раскаивается, и ей возвращены и прежнее счастье, и красота, которую она утратила-было во время своихъ скитаній. Авторъ видимо симпатизируетъ своей героинѣ, что однако нисколько не мѣшаетъ ему неуважать ее: ему ничего не стоитъ, напр., назвать ее „дурой",—Подробности поэмы отличаются грубымъ цинизмомъ, въ особенности цинично повѣствованіе о неудавшейся попыткѣ Душеньки лишить себя жизни, бросившись на землю съ древеснаго сука. Этого послѣдняго эпизода нѣтъ у Лафонтена, и честь его сочиненія принадлежитъ всецѣло нашему писателю. Циниченъ и шутливый тонъ поэмы Богдановича, осмѣяніе боговъ, чувствъ отца къ дочери и т. д.—Пушкинъ-лицеистъ любилъ это произведеніе поэзіи екатерининской эпохи; оно совершенно гармонировало съ грубыми его лицейскими увлеченіями. Впослѣдствіи, въ одной изъ строфъ „Евгенія Онѣгина" онъ полу-шутливо, полу-иронически замѣтилъ, что стихи Богдановича ему милы.

Какъ прошлой юности грѣхи.

Таковъ рядъ произведеній, однородно, въ одномъ духѣ

вліявшихъ на Пушкина. Отчасти въ томъ-же направленіи дѣйствовала на него и поэзія Парни, съ которою онъ знакомился и въ оригиналѣ, и въ переводахъ Батюшкова.

Прямо противоположно всему исчисленному вліяніе романтической музы Жуковскаго. Значеніе этого писателя для русской литературы и жизни очень велико. По словамъ Бѣлинскаго, съ его поэзіей русское общество пережили европейскіе средніе вѣка. Оригинальныхъ произведеній. Жуковскій писалъ мало, онъ больше переводилъ или передѣлывалъ изъ иностранныхъ поэтовъ; но онъ передавалъ на русскій языкъ только то, что гармонировало съ настроеніемъ его собственнаго духа. Бѣлинскій опредѣлилъ его совершенно правильно, назвавши переводчикомъ романтизма на русскій языкъ.

Романтизмъ-же, по опредѣленію знаменитаго критика, есть „внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца“ [1]). Это опредѣленіе прекрасно дополняетъ другой нашъ критикъ, Аполлонъ Григорьевъ: „романтическое въ искусствѣ и жизни (говоритъ онъ) [2]), на первый разъ представляется отношеніемъ души къ жизни несвободнымъ, подчиненнымъ, несознательнымъ, — а съ другой стороны, оно-же, это подчиненное чему-то отношеніе, есть и то тревожное, то вѣчно недовольное настоящимъ, что живетъ въ груди человѣка и рвется на просторъ изъ груди, и чему недовольно цѣлаго міра, тотъ огонь, о которомъ говоритъ Мцыри, что онъ

от юныхъ дней
Таяся жилъ въ груди моей...
И онъ прожегъ свою тюрьму...

Романтическое является во всякую эпоху, только что вырвавшуюся изъ какого-либо сильно моральнаго переворота, въ переходные моменты сознанія — и только въ такомъ его опредѣленіи воздушная и сладко—тревожная мечтательность Жуковскаго мирится съ мрачною тревожностью Байрона, и нервная лихорадка Гяура съ пьяною лихорадкою русскаго романтика Любима Торцова“.

Для всякаго человѣка бываетъ романтическая пора жизни; эта пора—ранняя юность. Человѣкъ живетъ тогда преиму-

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго. М. 1860. т. VIII, стр. 151.

[2]) Соч. Ап. Григорьева. Спб. 1876 г. т. I. Взглядъ на рус. лит—ру со смерти Пушкина, ст. 2, стр. 275—276.

щественно сердцемъ, другія душевныя силы отодвигаются на второй планъ; увлеченный, охваченный мечтательнымъ порывомъ, онъ забываетъ все, кромѣ предмета своего увлеченія; но есть особенная прелесть, особенная поэзія въ этой всепоглощаемости чувства. Романтикъ стремится всегда къ неопредѣленному, неясному, но возвышенному идеалу; съ этимъ соединяется обыкновенно недовольство настоящимъ, земною жизнью съ ея суетою, грубостью, грязью. Романтикъ возвышенно вѣритъ въ торжество добра надъ зломъ, въ вѣчную любовь, въ родство душъ, въ неизмѣнную дружбу. Таковъ Ленскій Пушкина.—Въ это время жизни сердцемъ и мечтами человѣкъ обыкновенно идеализируетъ дѣйствительность, смотритъ на все не-реально, не-практично, все представляется ему въ розовомъ свѣтѣ... романтики часто ошибаются и впослѣдствіи разочаровываются. Но по словамъ „Бѣлинскаго, „эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка", — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію—не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухаго, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ Западной Европы, а слѣдовательно и всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ" [1]).—Въ новое время, въ туже пору когда жилъ Жуковскій въ Западной Европѣ происходило возрожденіе романтизма: его вліяніе захватило и поэтовъ первоклассныхъ, каковы—Байронъ, Шиллеръ, и поэтовъ второстепенныхъ. На Руси представителемъ романтизма, пересадителемъ его на нашу почву явился Жуковскій.

Если нужно приводить примѣры, то яркимъ выраженіемъ романтическаго чувства въ творчествѣ Жуковскаго можно назвать переведенную изъ Шиллера балладу „Рыцарь То-

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 248.

генбургъ“ и оригинальныя стихотворенія: Море („Безмолвное море, лазурное море...“), Пѣсня „Мой другъ, хранитель, ангелъ мой“, Мечта („Ахъ, еслибъ мой милый былъ роза-цвѣтокъ“), „Элегія на кончину королевы Виртембергской“ и многія другія. Въ послѣднемъ изъ названныхъ сочиненій съ замѣчательной поэтической силой сказалось недовольство романтизма земною жизнью, его тоска по идеалѣ.

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ,
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ.
. . . .
Здѣсь радости не наше обладанье:
Пролетные плѣнители земли,
Лишь по пути заносятъ къ намъ преданье
О благахъ, намъ завѣщанныхъ вдали;
Земли жилецъ безвыходный страданье;
Ему на часть судьбы насъ обрекли;
Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ;
Земная жизнь—страданія питомецъ.

Чудесное, любовь къ нему и вѣра въ него—необходимые спутники романтизма,—и у Жуковскаго мы находимъ множество фантастическихъ балладъ изъ средневѣковой жизни; все это преимущественно переводы изъ Шиллера, Саути, Уланда, Бюргера, Грея, Мура. Но замѣчательно, что отличительная черта собственной поэзіи Жуковскаго есть инстинктивное, безсознательное отчужденіе отъ фантастическаго и стремленіе къ изображенію собственно чувства; чудесное не такъ дорого нашему поэту, какъ чувство. Въ этомъ сказалась, быть можетъ, его славянская природа. Черта эта ярко видна, напр., въ различіи между балладой Бюргера „Ленора“ и передѣлкой этой баллады нашимъ писателемъ—„Людмила“: въ „Ленорѣ, когда женихъ-мертвецъ скачетъ по полю съ невѣстой, имъ встрѣчаются на дорогѣ мрачныя и ужасныя явленія: погребальный хоръ звучитъ надъ „тяжкимъ гробомъ“, какъ печальный вой совы; далѣе—

у дороги, надъ столбомъ,
Гдѣ висѣльникъ чернѣетъ,
Воздушный рой, свіясь кольцомъ,
Кружится, пляшетъ, вѣетъ.
Ко мнѣ, за мной, вы, плясуны!
Вы всѣ на пиръ приглашены!
Скачу, лечу жениться...
Ко мнѣ повеселиться!..

Въ балладѣ „Людмила“ нѣтъ этихъ грубыхъ и мрачныхъ картинъ; она гораздо изящнѣе: въ ней такъ передѣланы приведенныя строфы нѣмецкаго писателя:

Слышатъ шорохъ тихихъ тѣней:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымѣ облака, толпой,
Прахъ оставя гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ
Въ цѣпь воздушную свились;
Вотъ за ними понеслись;
Вотъ поютъ воздушны лики,
Будто въ листьяхъ повилики
Вьется легкій вѣтерокъ,
Будто плещетъ ручеекъ.

Еще далѣе въ томъ же направленіи пошелъ поэтъ въ балладѣ „Свѣтлана“, которая собственно есть подражаніе „Ленорѣ“, но подражаніе, далеко оставившее за собою оригиналъ и даже нѣсколько отзывающееся народностью въ поэтическомъ описаніи русскихъ гаданій. Въ „Свѣтланѣ“ есть чудесное, и очень мрачное; но оно—сонъ, и отношеніе поэта къ нему почти насмѣшливое: когда въ Свѣтланѣ, вопреки соннымъ грезамъ, пріѣзжаетъ давно жданный другъ, поэтъ восклицаетъ:

Что же твой, Свѣтлана, сонъ,
    Прорицатель муки?
Другъ съ тобой; все тотъ-же онъ
    Въ опытѣ разлуки...

или далѣе, въ посвященіи баллады, онъ говоритъ:

Улыбнись, моя краса,
  На мою балладу,—
Въ ней большія чудеса,
  Очень мало складу.

Послѣдніе стихи вѣютъ ироніей. Главное же достоинство этого произведенія Жуковскаго—согрѣвающее его искреннее, теплое чувство.

Отрицательное отношеніе поэта къ ужасной сторонѣ чудеснаго слышится и въ повѣсти „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“, пользовавшейся въ свое время огромною славой. Повѣсть эта дѣлится на двѣ части. Первая часть—слаба, дѣтски наивна, и чудесное въ ней (напр., явленіе бѣса)

просто комично; но этотъ комизмъ явился, должно быть, не безъ тайной воли самого автора.—Нѣкто Громобой, преслѣдуемый бѣдностью, хочетъ утопиться. Ему является въ роковую минуту бѣсъ и предлагаетъ богатство, требуя за то его душу; бѣсъ такъ успокаиваетъ боязнь бѣдняка:

Ханжи причудники твердятъ:
  Лукавый бѣсъ опасенъ.
Не вѣрь имъ, бредни! веселъ адъ;
  Лишь въ сказкахъ онъ ужасенъ.
Мы жизнь пріятную ведемъ;
  Нашъ адъ не хуже рая;
Ты скажешь самъ, ликуя въ немъ:
  Лишь въ адѣ жизнь прямая!

Въ этихъ словахъ слышится, быть можетъ инстинктивная, иронія поэта.—Громобой соглашается на условія злаго духа, дѣлается богатъ и наслаждается всѣми земными благами. Между прочимъ, онъ похищаетъ двѣнадцать красавицъ; отъ нихъ у него родится двѣнадцать дочерей. Въ скоромъ времени онъ забываетъ и тѣхъ, и другихъ, а онѣ находятъ убѣжище въ монастырѣ. Но вотъ насталъ для Громобоя часъ кончины и расплаты; боясь адскихъ мукъ, онъ продаетъ явившемуся за его душой бѣсу души своихъ дочерей, и такой цѣной отсрочиваетъ смерть на двѣнадцать лѣтъ. Затѣмъ характеръ его измѣняется: онъ молится, кается, носитъ вериги; онъ строитъ монастырь. Раскаяніе его услышано: когда наступилъ вторично срокъ смерти, къ его одру явился угодникъ, во имя котораго построилъ онъ храмъ; и между угодникомъ и бѣсомъ произошелъ споръ за душу Громобоя; Провидѣніе разрѣшило этотъ споръ такимъ образомъ: Громобой до-времени будетъ мучиться въ своей могилѣ; а дочери его заснутъ очарованнымъ сномъ въ замкѣ, который заростетъ дремучимъ лѣсомъ; каждый день по стѣнѣ замка должна ходить одна изъ 12 дѣвъ и ожидать прихода юноши, который, увлекшись чистою мечтою и пренебрегши всѣмъ земнымъ, странствуя, ищетъ идеальную дѣву, долженствующую составить счастье его жизни.

Въ концѣ первой части повѣсти поэтъ въ неясныхъ, но поэтическихъ словахъ высказываетъ возвышенную идею произведенія:

Гдѣ тотъ, кто властенъ побѣждать
Всѣ ковы обольщенья,
Къ прелестной прилепленъ мечтѣ,
Кто могъ-бы, чистъ душою,
Небесной вѣренъ красотѣ,
Непобѣдимъ земною,
Все предстоящее презрѣть,
И съ вѣрою смиренной,
Надежды полонъ, вдаль летѣть
Къ наградѣ сокровенной?

Идея здѣсь та, что человѣкъ долженъ стоять выше всего земнаго, долженъ стремиться къ идеалу.

Выраженіе такой идеи во 2-й части произведенія поднимаетъ эту часть выше первой и отодвигаетъ сказочный элементъ на второй планъ.—Новгородскій витязь Вадимъ, какъ душа въ стихотвореніи Лермонтова „Ангелъ", томится неяснымъ стремленіемъ, какимъ-то чуднымъ желаніемъ,—

и тишина въ лѣсахъ,
И быстрыхъ водъ журчанье,
И дня мѣняющійся видъ
На облакѣ небесномъ,
Все, все Вадиму говоритъ
О чемъ-то неизвѣстномъ.

Во-снѣ является ему таинственный старецъ въ бѣлой одеждѣ и съ нимъ „младая дѣва", которой

ликъ закрытъ
Завѣсою туманной,
И на главѣ ея лежитъ
Вѣнокъ благоуханный.

Старецъ зоветъ юношу въ духовный міръ вѣчной красоты:

Вадимъ, желанное вдали;
Вѣрь небу, жди смиренно,
Все измѣняетъ на земли,
А небо неизмѣнно.

И юноша, увлеченный небесной мечтою, съ воспламененнымъ сердцемъ идетъ искать представившійся ему въ видѣньи идеалъ. На пути онъ чуть не былъ побѣжденъ земнымъ счастьемъ. Ему пришлось въ лѣсу освободить отъ великана молодую кіевскую княжну; онъ очарованъ ея красотою, зарождающимся въ ея сердцѣ чувствомъ любви къ нему. Но стремленіе къ небу его спасаетъ. Вѣрный внутреннему

голосу, Вадимъ достигаетъ цѣли: приходитъ къ таинственному замку двѣнадцати дѣвъ и находитъ ту, чей образъ являлся ему въ мечтахъ и сновидѣніяхъ.

Свершилось! все—и раннихъ лѣтъ
Прекрасныя желанья,
И озаряющія свѣтъ
Младой души мечтанья,
И все, чего мы здѣсь не зримъ,
Что вѣрѣ лишь открыто,
Все вдругъ явилось передъ нимъ
Въ единый образъ слито.

Торжество Вадима возвращаетъ миръ и Громобою. Вадимъ идетъ со своею подругой къ могилѣ грѣшника, и они видятъ, что

въ ней спокойно,—дернъ покрытъ
Цвѣтами молодыми...

а вверху сіяютъ, спокойныя какъ безсмертье, открытыя имъ, достигнутыя ими небеса.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, элементы романтической поэзіи Жуковскаго. Многое въ ней чуждо теперь намъ, напримѣръ, ея мечтательность, наивность, наклонность къ сверхъестественному; мало въ ней реализма, устарѣли ея формы. Но въ основѣ ея лежитъ истина —искреннее и теплое чувство, обаяніе котораго неотразимо. „Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго (говоритъ Бѣлинскій) и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце... Поэзія его воспитала нѣсколько поколѣній и всегда будетъ... краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни“ [1]).

Перломъ поэзіи Жуковскаго слѣдуетъ, конечно, считать повѣсть „Ундина“, фантастическую и мечтательную, но въ которой мечтательность и чудесное отступаютъ на задній планъ передъ удивительно прекраснымъ, задушевнымъ и художественнымъ изображеніемъ самоотверженнаго человѣческаго чувства. Но такъ какъ повѣсть эта написана въ 30-хъ годахъ и не вліяла потому на Пушкина-юношу, то разборъ ея и не входитъ въ настоящее сочиненіе.

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 247.

Остается сказать нѣсколько словъ о Батюшковѣ. Но сдѣланная Бѣлинскимъ характеристика этого поэта такъ полна и хороша, что къ ней нечего, кажется, прибавлять. „Если неопредѣленность и туманность (говоритъ Бѣлинскій [1]) составляютъ отличительный характеръ романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ, то Батюшковъ столько-же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опредѣленность и ясность—первыя и главныя свойства его поэзіи". „Свѣтлый и опредѣленный міръ изящной, эстетической древности—вотъ что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ поэтовъ художественный элементъ явился преобладающимъ элементомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки". Содержаніе поэзіи Батюшкова знаменитый критикъ опредѣляетъ такимъ образомъ: „Въ любви онъ совсѣмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ паѳосъ его поэзіи. Правда, въ любви его, кромѣ страсти и граціи, много нѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементъ ея всегда страстное вожделѣніе, увѣнчиваемое всею нѣгою, всѣмъ обаяніемъ исполненнаго поэзіи и граціи наслажденія" [2]). Бѣлинскій указываетъ и недостатки Батюшкова: онъ говоритъ, что талантъ этого поэта былъ гораздо выше того, что сдѣлано имъ; это потому, что онъ былъ „болѣе гибкій, чѣмъ самостоятельный, болѣе граціозный, чѣмъ энергическій" [3]).

Батюшковъ повліялъ на Пушкина (по мнѣнію Бѣлинскаго) художественными формами своей поэзіи. Совершенствомъ своего антологическаго стиха Пушкинъ обязанъ Батюшкову. „Не имѣя Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себѣ такой стихъ" [4]).— Съ этимъ нельзя не согласиться; но должно прибавить, что и содержаніе поэзіи Батюшкова, ея „изящный эпикуреизмъ" тоже отразился на творчествѣ Пушкина первой поры его дѣятельности, какъ и это ясно видно изъ приведенныхъ

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 250, 251.
[2]) Тамъ же, стр. 255.
[3]) Тамъ же, стр. 268, 269.
[4]) Тамъ же, стр. 225.

выше ситховъ Пушкина-отрока о поэтѣ „любви, веселья и вина", какъ онъ назвалъ Батюшкова.

Кстати будетъ указать на одинъ частный случай вліянія этого поэта, показывающій, какъ вообще серьезно и глубоко воспринималъ Пушкинъ впечатлѣнія и какъ они органически входили въ составъ его духовнаго существованія. Стихотвореніе Батюшкова „Послѣдняя весна", изображающее безвременную смерть юноши-поэта, такъ сильно подѣйствовало на Пушкина, что содержаніе его отразилось впослѣдствіи на повѣствованіи о смерти Ленскаго, и описаніе могилы Ленскаго почти заимствовано изъ этого стихотворенія, хотя и носитъ, конечно, признаки самобытнаго дарованія Пушкина.

Вотъ рядъ писателей, которыхъ можно назвать по преимуществу учителями Пушкина; подъ сильнымъ, страстно воспринимаемымъ дѣйствіемъ ихъ поэзіи и ихъ идей развивался въ отцовскомъ домѣ и въ лицеѣ геніальный мальчикъ, изъ котораго выработался впослѣдствіи великій поэтъ - художникъ.

Слѣды всѣхъ исчисленныхъ вліяній мы можемъ совершенно ясно замѣтить въ такъ называемыхъ „Лицейскихъ стихотвореніяхъ" Пушкина, написанныхъ втеченіе времени съ 1814 по 1817 годъ. Въ этой отроческой лирикѣ еще нѣтъ или почти нѣтъ самобытности. Въ стихахъ этой поры видны различныя нравственныя и умственныя теченія; здѣсь и струя легкомысленно-чувственная (явившаяся подъ вліяніемъ Вольтера, В. Майкова, Богдановича, Парни и. т. д.), и романтическая (отзвукъ поэзіи Жуковскаго), и народная (отраженіе пѣсенъ и сказокъ няни). Иногда всѣ эти различныя теченія перемѣшиваются между собою, перепутываются, потому что поэтъ не умѣетъ разобраться между ними, не владѣетъ ими, а самъ находится въ ихъ власти.

Легкомысленный взглядъ на жизнь Пушкинъ-отрокъ выразилъ въ цѣломъ рядѣ произведеній.—Эротъ необходимъ въ жизни, отъ него не увернешься (говоритъ онъ въ стихотвореніи 1814 г. „Опытность").

Нѣтъ! мнѣ видно не придется
Съ богомъ симъ въ разлукѣ жить,
И покамѣсть жизни нить

Строгой Паркой тамъ прядется,
Пусть владѣетъ мною онъ!
Веселиться мой законъ.
Смерть откроетъ гробъ ужасный,
Потемнѣютъ взоры ясны!
И не стукнется Эротъ
У могильныхъ ужь воротъ.

Таково-же по направленію стихотвореніе „Гробъ Анакреона“ (1815 г.), оканчивающееся словами:

Смертный, вѣкъ твой—привидѣнье,
Счастье рѣзвое лови,
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубокъ наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай.

Въ подобной жизни и заключается истина. Мудрые тщетно искали забытыхъ слѣдовъ ея въ выпиваемой ими водѣ, повряя;

Пустые толки стариковъ,

будто она

Въ колодезь убралась тайкомъ.

Кто-то благодѣтель смертныхъ,

И чуть-ли не старикъ Силенъ,
Ихъ важной глупости свидѣтель,
Водой и крикомъ утомленъ,
Оставилъ невидимку нашу,
Подумалъ первый о винѣ—
И, осушивъ до капли чашу,
Увидѣлъ истину на днѣ.
(„Истина“ 1816 г.).

Съ такой точки зрѣнія всякая мудрость достойна осмѣянія. Въ „Посланіи къ Лидѣ“ (1816 г.) поэтъ обращается къ жрицѣ любви со словами:

Презрѣвъ Платоновы химеры,
Твоей я святостью спасенъ,
И сталъ апостолъ мудрой вѣры
Анакреоновъ и Нинонъ.

Я вижу, продолжаетъ онъ,—

хмурится Зенонъ
И вся его сѣдая свита...

но что за-дѣло до философовъ:

Дороже мнѣ хорошій ужинъ
Философовъ трехъ цѣлыхъ дюжинъ.

Далѣе въ сочиненіи Сократъ представляется въ дурацкомъ видѣ —

Люблю я добраго Сократа:
Онъ въ мірѣ жилъ, онъ былъ уменъ;
Съ своею важностью притворной
Любилъ пиры, театры, женъ;
Онъ между прочимъ былъ влюбенъ,
И у Аспазіи въ уборной
(Тому свидѣтель самъ Платонъ,
Невольникъ робкій и покорный
Вздыхалъ частехонько въ хитонъ,
И ей съ улыбкою притворной
Шепталъ: „все призракъ, ложь и сонъ,
И мудрость, и народъ, и слава.
Что-жъ истинно? Одна забава,
Повѣрь—одна любовь не сонъ!"

Въ духѣ такого міросозерцанія Пушкинъ сочинилъ себѣ въ 1815 г. эпитафію:

Здѣсь Пушкинъ погребенъ, онъ съ Музой молодою,
Съ любовью, лѣностью провелъ веселый вѣкъ,
Не дѣлалъ добраго, однако-жь былъ душою,
Ей Богу, добрый человѣкъ!
(„Моя эпитафія").

Чувственность и легкомысліе выразились также въ нѣсколькихъ небольшихъ поэмахъ лицейской эпохи. „Леда" (1814 г. „Кантата. Подражаніе Парни"), „Фавнъ и пастушка" (1816 г. Тоже—подражаніе Парни) и „Вишня" (1815 г.). Въ поэмѣ „Фавнъ и пастушка" повѣтствуется, какъ 16-лѣтняя Лила наслаждается чувственной любовью съ пастушкомъ, отвергнувъ влюбленнаго Фавна. Фавнъ находитъ утѣшеніе въ винѣ. Между тѣмъ проходятъ года; Лила старѣетъ, и ей измѣняетъ другъ, какъ прежде она измѣняла ему; она рада теперь сойтись съ Фавномъ; но тотъ успокоился въ наслажденіяхъ виномъ и не обращаетъ на нее вниманія. Измѣну поэтъ въ легкомысленныхъ стихахъ этой поэмы не считаетъ зломъ:

Итакъ ты измѣнила?
Красавица, плѣняй!
Спѣши любить, о Лила!
И снова измѣняй!

Оригинальная поэма „Вишня" есть соверщенно скандалезное сочиненіе, возможное въ печати только въ отрывкахъ.

Это — прямое подражаніе Богдановичу, какъ - бы варіантъ одного изъ эпизодовъ „Душенька“: съ пастушкой (героиней стихотворенія), взобравшейся на вѣтку вишневаго дерева, случается по-нечаянности то-же, что съ Душенькой, хотѣвшей кончить жизнь свою, бросившись съ древеснаго сука.

Замѣчательно, что увлеченіе Пушкина чувственными утѣхами соединяется въ лицейскихъ стихотвореніяхъ съ презрѣніемъ къ „черни“, тѣмъ презрѣніемъ, которому онъ учился между прочимъ и у Вольтера. Въ посланіи 1817 г. „Къ П. П. Каверину“ есть такіе стихи:

Молись и Вакху и любви
И черни призывай ревнивое роптанье:
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить
Съ Киѳерой, съ Портикомъ, и съ книгой, и съ бокаломъ,
Что умъ высокій можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Ту-же мысль видимъ мы и въ переводѣ изъ Парни „Добрый совѣтъ“ (1817 г.):

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнію играть!
Пусть чернь слѣпая суетится:
Не намъ безумной подражать.
Пусть наша вѣтрянная младость
Потонетъ въ нѣгѣ и винѣ... и т. д.

Такова одна струя въ лицейскихъ произведеніяхъ Пушкина.

Но рядомъ съ чувственнымъ направленіемъ въ ученическихъ его стихотвореніяхъ видно и выраженіе серьезнаго, истиннаго чувства. Это чувство въ нѣсколько смѣшаной формѣ высказалось въ 1815 г. въ стихотвореніи „Слеза“:

Оставь, гусаръ! Ахъ сердцу больно!..
Ты знать, не горевалъ!
Увы! одной слезы довольно,
Чтобъ отравить бокалъ.

Но оно нашло лучшее выраженіе въ стихотвореніяхъ: „Желаніе“ (1816 г.), „Осеннее утро“ (1816 г.) и друг. Рядъ этихъ сочиненій 1816 года и такихъ-же слѣдующаго свидѣтельствуетъ о несчастной любви отрока-поэта. Любовь его кончилась разлукой, и потому выраженіе ея соединено съ чувствомъ печали.

Ужь нѣтъ ея... я былъ у береговъ,
Гдѣ милая ходила въ вечеръ ясный;
На берегу на зелени луговъ
Я не нашелъ чуть видимыхъ слѣдовъ,
Оставленныхъ ногой ея прекрасной.
Задумчиво бродя въ глуши лѣсовъ,
Произносилъ я имя несравненной,
Я звалъ ее—и гласъ уединенный
Пустыхъ долинъ позвалъ ее вдали.
(„Осеннее утро").

Это стихотвореніе посвящено, по указанію г. Ефремова (Соч. Пушкина, т. I, стр. 522), Бакуниной, сестрѣ лицейскаго товарища Пушкина.

Поэтъ думалъ, какъ говоритъ въ стихотвореніи „Разлука" (1816 г.), что въ разлукѣ можно утѣшиться музой, дружбой; но онъ признается что ошибся:

Какъ мало я любовь и сердце зналъ!
Часы идутъ, за ними дни проходятъ,
Но горестямъ отрады не приводятъ
И не несутъ забвенія фіалъ.
О, милая, повсюду ты со мною!
Но я унылъ и втайнѣ я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною,
Я все тебя, прелестный другъ, ищу.
Засну ли я, лишь о тебѣ мечтаю,
Одну тебя въ невѣрномъ вижу снѣ;
Задумаюсь—невольно призываю,
Заслушаюсь—твой голосъ слышенъ мнѣ.

Въ снѣ ищетъ поэтъ забвенія страданій любви и въ тоже время свиданія съ милой; онъ проситъ бога сновидѣній:

Мои мечты благослови!
Сокрой отъ памяти унылой
Разлуки страшный приговоръ!
Пускай увижу милый взоръ.
Пускай услышу голосъ милый.
(„Къ Морфею", изъ Парни).

Въ стихотвореніи „Наслажденіе" (1818 г.) онъ говоритъ, что ему нѣтъ счастья:

Съ минутъ безчувственныхъ рожденья
До нѣжныхъ юношества лѣтъ
Я все не знаю наслажденья

И счастья въ томномъ сердцѣ нѣтъ!..

. . . .

Златыя крылья развивая
Волшебной, нѣжной красотой,
Любовь явилась молодая
И полетѣла предо мной.
Я мчался къ цѣли отдаленной,
Но милой цѣли не достигъ...

Однако несчастная любовь стала забываться молодымъ, полнымъ жизни сердцемъ; „она прошла", утверждаетъ поэтъ въ стихахъ „Въ альбомъ И. И. Пущину" (1817 г.). Тогда сердце стало искать новаго чувства; въ посланіи „Къ ней„ (1817 г.) есть такіе стихи:

Но вдругъ какъ молніи стрѣла,
Зажглась въ увядшемъ сердцѣ младость,
Душа проснулась ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.

Но, должно быть, и старое чувство имѣло серьезный характеръ и не легко могло исчезнуть изъ души; въ стихотвореніи „Къ *** (1817 г.) поэтъ говоритъ:

Не спрашивай—зачѣмъ унылой думой
Среди забавъ я часто омраченъ,
Зачѣмъ на все подъемлю взоръ угрюмый,
Зачѣмъ не милъ мнѣ сладкой жизни сонъ?
Не спрашивай—зачѣмъ душой остылой
Я разлюбилъ веселую любовь
И никого не называю милой?
Кто разъ любилъ тотъ не полюбитъ вновь;
Кто счастье зналъ, ужъ не узнаетъ счастья...
На краткій мигъ блаженство намъ дано:
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья
Останется уныніе одно.

Во всѣхъ приведенныхъ стихахъ слышатся скорбныя ноты поэзіи Жуковскаго. Жуковскому подражалъ Пушкинъ въ это время даже въ формѣ произведеній; такъ, въ коротенькой поэмѣ „Мечтатель" (1815 г.) складъ стиха напоминаетъ стихъ „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ"; въ стихотвореніи 1816 г. „Подражаніе" прощаніе поэта съ любимой имъ природой прямо скопировано съ прощанія Іонны д'Аркъ съ родными холмами и полями въ переведенной Жуковскимъ драмѣ Шиллера:

Прости печальный міръ, гдѣ темная стезя
Надъ бездной для меня лежала,
Гдѣ жизнь меня не утѣшала,
Гдѣ я любилъ, гдѣ мнѣ любить нельзя!
Небесъ лазурная завѣса,
Любимые холмы, ручья веселый гласъ,
Ты, утро—вдохновенья часъ,
Вы, тѣни мирныя таинственнаго лѣса,
И все прости въ послѣдній разъ!
(„Подражаніе").

Къ числу сочиненій этой эпохи, выражающихъ серьезное чувство, должно еще отнести тѣ, въ которыхъ поэтъ высказываетъ свои дружескія отношенія къ товарищамъ: „Въ альбомъ И. И. Пущину" (1817 г.) и „Разлука. Кюхельберкеру" (1817 г.); наконецъ также слѣдующія вещи: усвоенный шарманками романсъ „Подъ вечеръ осенью ненастной..." (если только онъ принадлежитъ Пушкину), слабо написанный, но серьезный по направленію; стихотворенія: „Сраженный рыцарь" (1815 г.), „Къ принцу Оранскому" (1816 г.) и отрывокъ „Старица-пророчица" (1816 г.), не лишенный истинно-поэтическаго одушевленія.

Безсознательность отроческаго творчества Пушкина въ лицейскую эпоху ярче всего выражается въ странномъ смѣшиваніи имъ во многихъ сочиненіяхъ противоположныхъ увлекавшихъ его стихій; такъ, например, съ романтическимъ чувствомъ какъ-то сливается у него иной разъ чувственность. Въ стихотвореніи „Городокъ" (1814 г.) онъ въ тонѣ и духѣ Жуковскаго обращается съ воззваніемъ къ мечтѣ:

Мечта! Въ волшебной сѣни
Мнѣ милую яви,
Мой свѣтъ, мой добрый геній,
Предметъ моей любви!

Но онъ не можетъ удержаться на высотѣ духовнаго чувства:

Мечтанье легкокрыло!
О, будь же ты со мной!
Дай руку сладострастью,
И съ чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвенія тропой...

То-же мы видимъ въ элегіи 1816 г., начинающейся подражаніемъ элегіи Жуковскаго „На кончину королевы Виртембергской“:

Любовь одна веселье жизни хладной!
Любовь одна мученіе сердецъ!
Она даритъ одинъ лишь мигъ отрадный,
А горестямъ не виденъ и конецъ.

Романтически грустя о своей несчастной любви, поэтъ тутъже завидуетъ чувственному счастью другихъ:

Стократъ блаженъ, кто въ юности прелестной
Сей быстрый мигъ поймаетъ на-лету,
Кто къ радостямъ и нѣгѣ неизвѣстной
Стыдливую преклонитъ красоту!

Подобное-же завистливое предоставленіе другимъ утѣхъ любви и оставленіе себѣ грустнаго романтическаго чувства встрѣчается еще въ посланіяхъ: „Кн. П. И. Шаликову“ и „Кн. А. М. Горчакову“ (оба 1816 г.). Въ первомъ поэтъ говоритъ:

Пой сердца юнаго кипящее желанье,
Красавицы твоей упорство, трепетанье,
Со груди сорванный завистливый покровъ,
    Стыдливости послѣднее роптанье,
И страсти торжество на ложѣ изъ цвѣтовъ!
. . . .
Но я—друзей любить открытою душою,
Въ молчаньи чувствовать, плѣняться красотою!
Вотъ жребій мой,—ему я слѣдовать готовъ!

Въ другомъ сочиненіи онъ обращается къ товарищу со словами:

Спѣши любить, и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастливъ осторожно;
Амуръ велитъ—и завтра, если можно,
Вновь митрами красавицу вѣнчай...
О, сколькихъ слезъ, предвижу, ты виновникъ!
Измѣны другъ и вѣтренный любовникъ,
Будь вѣренъ всѣмъ, плѣняйся и плѣняй!..
А мой удѣлъ... но пасмурнымъ туманомъ
Зачѣмъ-же мнѣ грядущее скрывать?
Увы, нельзя мнѣ вѣчнымъ жить обманомъ
И счастья тѣнь, забывшись, обнимать?
Вся жизнь моя—печальный мракъ ненастья;
Двѣ, три весны, младенцемъ, можетъ быть,
Я счастливъ былъ, не понимая счастья...
Онѣ прошли, но можно-ль ихъ забыть?

Въ послѣднихъ стихахъ слышится уже начинающее раскрываться могущественное дарованіе. Произведеніе оканчивается первымъ, еще смутнымъ, проявленіемъ особенности поэзіи Пушкина — будущимъ умѣньемъ его находить прекрасную и утѣшительную сторону во всякомъ явленіи жизни, во всякомъ состояніи человѣческаго духа:

Уже-ль лишь мнѣ не вѣдать ясныхъ дней?
Нѣтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье—
И въ жизни сей мнѣ будетъ утѣшенье—
Мой скромный даръ и счастіе друзей!

Народная стихія въ „Лицейскихъ стихотвореніяхъ" выразилась не особенно ярко; но однако присутствіе ея несомнѣнно. Такъ, въ стихотвореніяхъ „Городокъ" (1814 г.) и „Сонъ" (1816 г.) поэтъ отдаетъ предпочтеніе деревенской тишинѣ и простотѣ передъ городскими суетными утѣхами; въ обоихъ сочиненіяхъ онъ сочувственно рисуетъ простыхъ людей.

Въ досужій мнѣ часокъ
У добренькой старушки
Душистый пью чаекъ;

(разсказываетъ онъ въ „Городкѣ")

Не подхожу я къ ручкѣ,
Не шаркаю предъ ней,
Она не присѣдаетъ,
Но тотчасъ-же вѣстей
Мнѣ пропасть наболтаетъ.
. . . .
Иль добрый мой сосѣдъ
Семидесяти лѣтъ,
Уволенный отъ службы
Маіоромъ отставнымъ,
Зоветъ меня изъ дружбы
Хлѣбъ-соль откушать съ нимъ.
Вечернею пирушкой
Старикъ, развеселясь,
За дѣдовскою кружкой
Въ прошедшемъ углубясь,
Съ очаковской медалью
На раненой груди,
Воспомнитъ ту баталью,
Гдѣ, роты впереди,
Летѣлъ на-встрѣчу славы,

Но встрѣтился съ ядромъ
И палъ на долъ кровавый
Съ булатнымъ палашомъ.
Всегда я радъ душою
Съ нимъ время провождать.

Въ „Снѣ“ поэтъ съ сердечной любовью рисуетъ симпатичный образъ своей няни:

... дѣтскихъ лѣтъ люблю воспоминанье.
Ахъ, умолчу-ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня,
И шепотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы
. . . .
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ;
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней —
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

Въ этомъ-же стихотвореніи мы встрѣчаемъ такой совѣтъ:

прочь отъ городовъ,
Гдѣ крикъ и шумъ лѣнивцевъ мучатъ вѣчно!
. . . .
Не лучше-ли въ село?
Тамъ рощица листочковъ трепетаньемъ,
Въ лугу потокъ таинственнымъ журчаньемъ,
Златыхъ полей, долины тишина, —
Въ деревнѣ все къ томленью клонитъ сна.

(Впрочемъ безъискусственность и тишина деревенской жизни соединяются въ представленіяхъ Пушкина съ анакреонтическими наслажденіями, съ праздностью, бездѣліемъ: я не хочу въ деревнѣ, говоритъ онъ:

Предписывать вамъ тяжкія движенья:
Упрямый плугъ, охоты наслажденье;
Нѣтъ, въ рощи я лѣнивца приглашу.
Друзья мои, какъ утро здѣсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубровъ
Какъ юный день сіяетъ гордо, ясно!)

Вспомнимъ еще посланіе 1815 г. „Лицинію“, заключающее въ себѣ негодующую насмѣшку надъ городскими пороками. Не лучше-ли намъ (говоритъ здѣсь поэтъ) проститься съ развратнымъ городомъ,

Гдѣ все продажное: законы, правота,
И консулъ, и трибунъ, и честь, и красота?
. . . .
Завистливой судьбы въ душѣ презрѣвъ удары,
Въ деревню пренесемъ отеческіе лары!

Тамъ

При дубѣ пламенномъ, возженномъ въ камелькѣ,
Воспомнивъ старину за дѣдовскимъ фіаломъ,
Свой духъ воспламеню жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатирѣ праведной порокъ изображу
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажу.

Во многихъ изъ приведенныхъ стихотвореній уже несомнѣнно замѣтно могучее дарованіе автора; но особенно ярко пробивается оно въ сочиненіяхъ: „Друзьямъ“ (1816 г.), „Къ молодой вдовѣ Маріи Смитъ“ и „Къ Жуковскому“ (1817 г.). На второе произведеніе указалъ въ этомъ отношеніи, и совершенно вѣрно, г. Анненковъ еще въ 1855 г.; припомнимъ окончаніе перваго:

Богами вамъ еще даны
Златые дни, златыя ночи,
И томныхъ дѣвъ устремлены
На васъ внимательныя очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный —
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

Въ посланіи же 1817 г. „Къ Жуковскому“ мы видимъ соединеніе художественности съ задатками уже очень серьезной мысли. Здѣсь, напр., Пушкинъ прекрасно (поэтически и глубокомысленно) опредѣляетъ разницу между Сумароковымъ и Ломоносовымъ:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?

Въ 1817 году Пушкинъ окончилъ курсъ въ лицеѣ и поступилъ на службу въ „Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ". Какимъ же человѣкомъ вступалъ онъ въ жизнь? Подготовило ли и на-сколько подготовило его училище къ гражданской дѣятельности? — Онъ былъ въ это время 18-лѣтній юноша съ несомнѣнными признаками большаго поэтическаго дарованія, но очень мало образованный, не имѣющій опредѣленныхъ убѣжденій, или опредѣленнаго направленія, съ задатками и добра, и зла, привыкшій къ лѣни, распущенности, чувственному образу жизни; въ душѣ его боролись еще разныя противорѣчивыя вліянія, которымъ онъ подвергался въ школѣ. Путь этой великой природной силы еще не обозначился, и никто не могъ бы предвидѣть — куда пойдетъ геніальный юноша, — къ великой славѣ или къ нравственному паденію.

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что петербургская жизнь Пушкина, до высылки его въ 1820 г. на югъ, была очень неблагопріятна его умственному и нравственному развитію.

Первое почти впечатлѣніе его по выходѣ изъ школы было отрезвляющее впечатлѣніе деревни. „Вышедъ изъ лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскую деревню моей матери (писалъ поэтъ 19 ноября 1824 г. въ своихъ запискахъ [1]). Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и проч." Но деревня еще не сильна была тогда надъ его душою: онъ скоро соскучился, — его влекли въ Петербургъ иныя жизненныя прелести. Онъ попалъ въ кружокъ кутящей, наслаждавшейся жизнью свѣтской столичной молодежи. Въ этомъ кружкѣ образовалось оргіаческое общество „Зеленой лампы", которое представляло изъ себя, ради шутки, собраніе съ парламентскими и масонскими формами, но посвященное исключительно обсужденію плановъ волокитства и кутежей; общество это, предсѣдателемъ котораго былъ Н. В. В. (вѣроятно Всеволожскій), занималось чувственными похожденіями и пьянствомъ, устраивало домашніе спектакли, на которыхъ исполнялись пьесы вродѣ „Изгнанія Адамы и Евы", „Погибели Содома и Гоморры" и проч. Члены этого развязнаго кружка отли-

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 39.

чались необыкновеннымъ задоромъ, страстью къ дуэлямъ и всякаго рода исторіямъ; подобныя наклонности считались между ними признаками хорошей породы и чистокровности, которою они дорожили, будучи исполнены аристократическихъ предразсудковъ. Извѣстный дуэлистъ (дравшійся между прочимъ съ Грибоѣдовымъ) Якубовичъ былъ одною изъ выдающихся личностей этого общества. Этотъ Якубовичъ (по позднѣйшему, въ 1825 г. [1]), сознанію Пушкина) былъ въ ту пору „героемъ его воображенія". Что особенно странно, между членами кружка попадались и люди просвѣщенные, образованные, какъ, напр., незнавшій усталости въ кутежахъ и разврате Каверинъ, слушавшій лекціи въ геттингенскомъ университетѣ.

Пушкинъ отдался развратной жизни своихъ новыхъ товарищей со всѣмъ пыломъ и легкомысліемъ молодой неопытности и своей горячей природы; втеченіи трехъ лѣтъ, проведенныхъ такимъ образомъ, онъ два раза былъ присмерти, разстроивъ здоровье дикими похожденіями. Объ этихъ похожденіяхъ свидѣтельствуютъ — товарищъ его гр. Корфъ, въ своей запискѣ о немъ [2]), и его собственныя стихотворенія. Пушкинъ „въ свѣтѣ предался (говоритъ гр. Корфъ) распутствамъ всѣхъ родовъ, проводя дни и ночи въ непрерывной цѣпи вакханалій и оргій. Должно дивиться, какъ и здоровье и талантъ его выдержали такой образъ жизни... У него господствовали только двѣ стихіи: удовлетвореніе плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ обоихъ онъ ушелъ далеко. Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ отчаянномъ цинизмѣ по этой части... Вѣчно безъ копѣйки, вѣчно въ долгахъ, иногда почти безъ порядочнаго фрака, съ безпрестанными исторіями, съ частыми дуэлями, въ близкомъ знакомствѣ со всѣми трактирами, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкинъ представлялъ типъ самаго грязнаго разврата".

Какъ ни рѣшителенъ этотъ приговоръ, его нельзя однако признать вполнѣ ложнымъ; если онъ грѣшитъ чѣмъ, то это

---

[1]) Тамъ же, стр. 66.

[2]) Пушкинъ по докум. Остаф. архива. I, стр. 49—50.

близорукостью и односторонностью: благоразумный товарищъ поэта за цинической внѣшностью Пушкина этой эпохи не видѣлъ таившагося въ душѣ его добра. Справедливость словъ Корфа подтверждаетъ самъ поэтъ своими стихами 1817—1820 годовъ. Между ними мы встрѣчаемъ рядъ посвященій моднымъ прелестницамъ (напр. Ольгѣ Масонъ—„Ольга, крестница Киприды", 1820) и друзьямъ: Юрьеву, Щербинину, Кривцову, Всеволожскому (1818—1819). Здѣсь поэтъ ярко рисуетъ свои похожденія и увлеченія. Стихотвореніе „Въ альбомъ М. А. Щербинину" (1818 г.) изображаетъ жизнь, далекую отъ всякихъ заботъ, посвященную Кипридѣ, шалости и вину:

Житье тому, любезный другъ,
Кто страстью глупою не боленъ,
Кому влюбиться недосугъ,
Кто занятъ всѣмъ и всѣмъ доволенъ;
Кто Наденьку подъ вечерокъ
За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ
И жирный страсбургскій пирогъ
Виномъ душистымъ запиваетъ;
Кто, удаливъ заботы прочь,
Какъ вѣрный сынъ Паѳосской вѣры,
Проводитъ набожную ночь
Съ младой монашенкой Цитеры.
Поутру сладко дремлетъ онъ,
Читая листикъ Инвалида;
Весь день веселью посвященъ,
А ночью царствуетъ Киприда!
И мы не такъ-ли дни ведемъ,
Щербининъ, рѣзвый другъ забавы,
Съ Амуромъ, шалостью, виномъ,
Покамѣсть веселы и здравы?

Стихотвореніе „Н. В. Всеволожскому" повѣствуетъ о неистовыхъ кутежахъ съ цыганками. Въ посвященіи „Н. И. Кривцову" (1819 г.) поэтъ находитъ, что не надо думать о смерти: будемъ пользоваться юностью и наслаждаться.

Не пугай насъ, милый другъ,
Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ бездѣльемъ
Заниматься недосугъ.
Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой;
Мы-жь утратимъ юность нашу
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой.

Въ другомъ посланіи „Н. И. Кривцову“ (1818 г.) Пушкинъ, посылая пріятелю „Вольтерову пѳэму“ („библію Харитъ“, какъ онъ выражается), такъ характеризуетъ себя заключительными стихами.

Люби недѣвственнаго брата,
Страдальца чувственной любви.

Еще ярче изображаетъ онъ свои порочныя увлеченія въ стихотвореніи „Къ Ѳ. Ф. Юрьеву“ (1818 г.):

А я, повѣса вѣчно праздный,
Потомокъ негровъ безобразный,
Взрощенный въ дикой простотѣ,
Любви не вѣдая страданій,
Я нравлюсь юной красотѣ
Безстыднымъ бѣшенствомъ желаній...
Съ невольнымъ пламенемъ ланитъ;
Украдкой Нимфа молодая,
Сама себя не понимая.
На Фавна иногда глядитъ.

Наибольшимъ цинизмомъ въ ряду стихотвореній, подобныхъ приведеннымъ, отличается беззастѣнчивое сочиненіе „Платонизмъ“ (1820 г.), посвященное какой-то Лидинькѣ.— Г. Анненковъ свидѣтельствуетъ, что записки или замѣтки Пушкина за это время отличаются пустотою и безсодержательностью; самосознаніе поэта выражается только развѣ въ нѣкоторыхъ изъ испещряющихъ ихъ рисунковъ; такъ, одинъ рисунокъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ оргію: за столомъ, обремененнымъ бутылками, сидитъ мужчина; какая-то женщина, имѣющая подобіе фуріи или вакханки въ послѣдней степени опьяненія, сбиваетъ со стола балетнымъ движеніемъ ноги одну изъ бутылокъ; другой мужчина, пьяный, прислонясь къ стѣнѣ, закуриваетъ трубку; всей группѣ прислуживаетъ смерть, въ видѣ стараго слуги, пробирающаяся осторожно между остатками пиршества.

Подобно товарищамъ своего разгула, Пушкинъ увлекался въ это время дуэлями. „Г. Пушкинъ всякій день имѣетъ дуэли; благодаря Бога онѣ не смертельны, бойцы всегда остаются невредимы“ (пишетъ Екат. Андр. Карамзина въ одномъ письмѣ своемъ, отъ 23-го марта 1820 г.) [1]). Такъ, онъ дрался съ товарищемъ по лицею Кюхельбекеромъ

[1]) Тамъ же, стр. 19.

(„братомъ Кюхлей“) [1]); чуть не подрался съ дядей Сем. Исааков. Ганибаломъ за то, что тотъ въ одной изъ фигуръ мазурки завладѣлъ его дамой[2]).—Должно быть подъ вліяніемъ тѣхъ же товарищей кутящаго кружка, подъ вліяніемъ ихъ аристократическихъ наклонностей, у Пушкина замѣчается въ эту эпоху стремленіе проникнуть въ сферу высшаго свѣта, за что упрекали его друзья, даже изъ числа принадлежащихъ къ старому и родовитому дворянству, какъ, напримѣръ, И. И. Пущинъ [3]). Это стремленіе поэта, вѣроятно, находится въ связи съ выраженнымъ въ нѣкоторыхъ изъ лицейскихъ стихотвореній презрѣніемъ къ черни, и, какъ и это послѣднее, намекаетъ также и на вліяніе Вольтера. П. А. Катенинъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Пушкинѣ [4]) разсказываетъ, что поэту очень нравилось въ эту эпоху, когда его сравнивали съ Вольтеромъ, и онъ особенно былъ доволенъ каламбуромъ, который выходилъ изъ шуточнаго прозвища, даннаго ему авторомъ воспоминаній: un monsieur à rouer (Arouet), и всякій разъ при повтореніи его заливался веселымъ смѣхомъ. Мы видѣли, что Пушкинъ пропагандировалъ въ это время въ средѣ своихъ товарищей „Орлеанскую дѣвственницу“ Вольтера.

Такова была жизнь поэта въ Петербургѣ въ первые годы по выходѣ его изъ лицея, съ одной стороны. И вотъ эту-то именно сторону и замѣтилъ въ своей запискѣ гр. Корфъ.— Но въ кутежи развратнаго кружка не вся ушла богатая душа Пушкина. На него находили порою минуты духовнаго прозрѣнія, когда онъ чувствовалъ ложь своихъ грубыхъ увлеченій; и вотъ въ одно изъ такихъ свѣтлыхъ мгновеній, въ 1819 году, онъ написалъ свое чудное „В о з р о ж д е н і е“.

Художникъ—варваръ кистью сонной
Картину генія чернитъ
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней безсмысленно чертитъ.
Но краски чуждыя, съ лѣтами,

---

1) Тамъ же, „Изъ біографіи О. С. Павлищевой“, стр. 39.
2) Тамъ же, стр. 36.
3) „Русск. Арх.“ 1866. Ст. г. Бартенева „Пушкинъ въ Южной Россіи“.
4) Пушкинъ въ александровскую эпоху. Г. Анненкова, стр. 119.

Спадаютъ ветхой чешуей,—
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней.

Кромѣ собственной благородной натуры поэта, возникновенію, воскресенію въ его душѣ чистыхъ „видѣній" дѣтскихъ лѣтъ способствовали и нѣкоторыя обстоятельства его столичной жизни, главнымъ образомъ его литературныя связи и знакомства, а затѣмъ еще впечатлѣнія родной деревни, въ которую онъ по временамъ уѣзжалъ изъ столицы.

Онъ былъ счастливъ на литературныхъ друзей и цѣнителей его дѣтскихъ и юношескихъ поэтическихъ попытокъ.— Еще въ лицеѣ Державинъ обратилъ на него сочувственное вниманіе, когда онъ, на экзаменѣ въ 1815 году, прочелъ свое стихотвореніе „Воспоминанія въ Царскомъ селѣ".

Успѣхъ насъ первый окрылилъ:
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ!

съ радостнымъ чувствомъ вспоминаетъ Пушкинъ объ этомъ событіи въ VIII главѣ „Онѣгина".—Жуковскій любилъ Пушкина съ дѣтскихъ лѣтъ его, съ искреннимъ и теплымъ сочувствіемъ слѣдилъ за его успѣхами и такъ цѣнилъ его еще дѣтскій вкусъ. что выбрасывалъ изъ своихъ стихотвореній тѣ стихи, которыхъ не запоминалъ Пушкинъ. Поэма „Русланъ и Людмила" читалась, по главамъ, по мѣрѣ ихъ написанія, на вечерахъ у Жуковскаго, и когда Пушкинъ прочелъ послѣднюю главу, Жуковскій подарилъ ему свой портретъ съ надписью: „ученику отъ побѣжденнаго учителя". Этотъ подарокъ свидѣтельствуетъ и о чрезвычайномъ эстетическомъ чутьѣ автора „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ", и о возвышенности его нравственнаго характера: поэма Пушкина, собственно говоря, ниже произведеній Жуковскаго; но послѣдній прозрѣлъ въ первой попыткѣ большаго сочиненія юноши-поэта его будущія великія созданія.— Пушкинъ съ своей стороны высоко цѣнилъ и въ эту эпоху своей жизни, какъ всегда, и дружбу Жуковскаго, и его возвышенную романтическую поэзію. Въ 1818 г. онъ написалъ стихотвореніе „Къ портрету Жуковскаго":

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль
И рѣзвая задумается радость.

А по поводу изданія Жуковскимъ книжекъ „для немногихъ" сочинилъ прекрасное посланіе „Жуковскому", оканчивающееся словами:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стиховъ,
Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,
И твой восторгъ уразумѣлъ
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

Это „уразумѣніе" Пушкинымъ чистыхъ вдохновеній мечтательной музы Жуковскаго спасало его прежде, спасало и теперь отъ грубыхъ чувственныхъ увлеченій: приведенныя посвященія поэта своему учителю въ искусствѣ проникнуты возвышеннымъ настроеніемъ; оно же слышится въ элегіи 1818 года:

О ты, которая изъ-дѣтства
Зажгла во мнѣ священный жаръ, и т. д.

и оно же побудило его къ протесту противъ чувственности въ прекрасномъ стихотвореніи 1818 года „Прелестницѣ".

Къ чему нескромнымъ симъ уборомъ,
Умильнымъ голосомъ и взоромъ
Младое сердце распалять,
И тихимъ, сладостнымъ укоромъ
Къ побѣдѣ легкой вызывать?..
. . . .
Напрасны хитрыя старанья:
Въ порочномъ сердцѣ жизни нѣтъ...
Невольный хладъ негодованья—
Тебѣ мой роковой отвѣтъ.

Съ Карамзинымъ и его семействомъ Пушкинъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ и благоговѣлъ передъ „Исторіей Государства Россійскаго". Въ своей „автобіографіи" (1825—1826 гг.) [1]) онъ говоритъ, что познакомился съ нею во время своей болѣзни, въ февралѣ 1818 г.: „Первые восемь томовъ

[1]) Соч. Пушкина, т. V, стр. 44 („Остатки автобіографіи Пушкина").

„Русской Исторіи“ Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ своей постелѣ съ жадностью и со вниманіемъ. Появленіе сей книги надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе... Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ“. Впослѣдствіи онъ посвятилъ Карамзину своего „Бориса Годунова“; въ эту эпоху онъ окончилъ посланіе 1818 года Жуковскому стихами, свидѣтельствующими, какъ вдохновляли его труды знаменитаго историка: рѣчь идетъ о какомъ-то поэтѣ, который

Читаетъ повѣсть древнихъ лѣтъ...
. . . .
Отъ сна воскресшими вѣками
Онъ бродитъ тайно окруженъ,
И благодарными слезами
Карамзину приноситъ онъ
Живой души благодаренье
За мигъ восторга золотой,
За благотворное забвенье
Безплодной суеты земной:
И въ немъ трепещетъ вдохновенье [1]).

Этимъ стихамъ противорѣчитъ, повидимому, извѣстная эпиграмма (1818 г.):

Въ его исторіи изящность, простота.
Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Но дѣло объясняется довольно просто: во 1-хъ въ душѣ Пушкина, дѣйствительно, въ это время жили всякаго рода противорѣчія, и какъ человѣкъ, стремившійся, между прочимъ, сдѣлаться членомъ тайнаго общества, онъ въ минуту отрицательнаго настроенія могъ посмотрѣть на „Исторію Государства Россійскаго“ съ точки зрѣнія, выраженной въ эпиграммѣ; во 2-хъ, эпиграмма вызвана личнымъ огорченіемъ, разочарованіемъ и обидою,—въ позднѣйшемъ письмѣ изъ Михайловскаго отъ 10-го іюня 1826 г. Пушкинъ пишетъ объ этомъ кн. П. А. Вяземскому:

„Коротенькое письмо твое огорчило меня по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, что ты называешь моими эпиграммами противъ Карамзина? Довольно и одной, написанной мною въ такое время, когда К. меня отстранилъ отъ себя,

[1]) Тамъ же, т. I, примѣчанія, стр. 536.

глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе и сердечную къ нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить" [1]).

Самая сила раздраженія, слышная въ эпиграммѣ Пушкина, быть можетъ свидѣтельствуетъ о силѣ его привязанности къ предмету эпиграммы.—Интересенъ разсказъ Пушкина о спорѣ его съ Карамзинымъ. „Однажды началъ онъ (Карамзинъ), разсказываетъ поэтъ [2]), при мнѣ излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказалъ: и такъ, вы рабство предпочитаете свободѣ?" Пушкинъ, значитъ, выраженное въ эпиграммѣ высказалъ, по прямотѣ своего характера, прямо въ глаза историку. Но эта выходка не повела къ ссорѣ и враждѣ. „Карамзинъ вспыхнулъ (продолжаетъ Пушкинъ) и назвалъ меня своимъ клеветникомъ. Я замолчалъ, уважая самый гнѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣнился. Я всталъ. Карамзину стало совѣстно, и, прощаясь со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ-бы самъ извиняясь въ своей горячности: вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили". Черезъ нѣсколько времени послѣ этого спора, Карамзинъ, отправляясь въ Павловскъ къ императрицѣ и надѣвая, при поэтѣ, свою ленту, искоса посмотрѣлъ на него... „Я прыснулъ (говоритъ Пушкинъ), и мы оба расхохотались". — Карамзинъ, какъ извѣстно, ходатайствовалъ за Пушкина, когда ему грозила бѣда, и, можетъ быть, спасъ его въ 1820 году отъ суровой сссылки или заключенія, взявъ съ него слово остепениться.

Изъ литературныхъ связей Пушкина этой поры слѣдуетъ вспомнить еще два знакомства его, весьма для него полезныя, это—съ П. А. Катенинымъ и П. Я. Чаадаевымъ.—Катенинъ, приверженецъ французскихъ классиковъ, Корнеля, Расина и друг., научилъ Пушкина (по свидѣтельству г. Анненкова) осторожности въ оцѣнкѣ поэтовъ и хладнокровію въ жаркихъ спорахъ. Что же касается Чаадаева, то вліяніе его на Пушкина было, по свидѣтельству самого поэта, благотворно. Скептикъ и спокойный наблюдатель вѣтренной толпы, онъ предостерегалъ Пушкина отъ гибели,

---

[1]) А. С. Пушкинъ по докум. Остаф. архива. I, стр. 21.

[2]) Соч. Пушкина, 1881 г. т. V, стр. 46.

во времена его безумныхъ увлеченій, своимъ „совѣтомъ“ и „укоромъ“:

Ты былъ цѣлителемъ моихъ душевныхъ силъ

(пишетъ Пушкинъ въ посланіи „Чаадаеву“ 1821 г.):

О неизмѣнный другъ, тебѣ я посвятилъ
И краткій вѣкъ, уже испытанный судьбою,
И чувства, можетъ быть спасенныя тобою!
Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ дней;
Ты видѣлъ, какъ потомъ въ волненіи страстей
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленный;
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной
Ты поддержалъ меня недремлющей рукой;
Ты другу замѣнилъ надежду и покой;
Во глубину души вникая строгимъ взоромъ,
Ты оживлялъ ее совѣтомъ иль укоромъ,
Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь;
Терпѣнье смѣлое во внѣ являлось вновь.

Далѣе поэтъ мечтаетъ о новомъ свиданіи съ Чаадаевымъ, при которомъ они въ тишинѣ уединеннаго кабинета вспомнятъ

бесѣды прежнихъ лѣтъ,
Младые вечера, пророческіе споры,

почитаютъ по-прежнему, посудятъ,—и поэтъ будетъ опять счастливъ.

Надо упомянуть еще объ образованномъ кружкѣ Оленина, предсѣдателя Академіи Художествъ, родственника и почитателя Державина, въ домѣ котораго Пушкинъ былъ принятъ радушно и ласково; здѣсь встрѣчался онъ со многими литераторами, русскими и иностранными. Здѣсь-же встрѣтился онъ впервые и съ лицемъ, игравшимъ впослѣдствіи въ его жизни нѣкоторую роль, съ Ан. Петр. Кернъ [1]). Поэтъ былъ пораженъ ея красотою. Свое впечатлѣніе онъ передалъ послѣ, при второй встрѣчѣ съ Анной Петровной въ 1825 году въ Михайловскомъ, въ изумительно художественныхъ стихахъ!

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,

---

[1]) Объ этой встрѣчѣ разсказываетъ сама А. П. въ своихъ воспоминаніяхъ. См. „Рус. Стар. 1879 г. іюнь, стр. 383—399.

Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.
  Въ томленьяхъ грусти безнадежной,
Въ тревогахъ шумной суеты,
Звучалъ мнѣ долго голосъ нѣжный
И снились милыя черты.

Можно утвердительно сказать, что впечатлѣніе это, противоположное своею чистотою чувственнымъ возбужденіямъ кутящаго кружка, было благотворно для Пушкина: красота относится къ области духовной жизни, и въ данномъ случаѣ она пробудила въ душѣ поэта дремавшія въ ней художническія струны.

Благотворными и спасительными для Пушкина были и испытываемыя имъ порою въ эти годы впечатлѣнія родной деревни. Деревней навѣянъ рядъ произведеній, въ которыхъ выразились народныя начала. Остановимся на двухъ изъ нихъ: „Домовому“ и „Деревня“ (оба 1819 г. Послѣднее болѣе извѣстно подъ именемъ „Уединеніе“). Въ первомъ произведеніи поэтъ высказываетъ свою любовь къ сельской жизни и къ народнымъ вѣрованіямъ; во второмъ онъ отрекается отъ порочной жизни своей въ столицѣ во имя природы и серьезныхъ размышленій на ея лонѣ въ тишинѣ своего помѣстья:

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ!
. . . .
Я твой: я промѣнялъ порочный кругъ цирцей
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шумъ дубровъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
. . . .
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ!
    Въ удиненьи величавомъ
    Слышнѣе вашъ отрадный гласъ;
    Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
    Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
    И ваши творческія думы
    Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Особенно замѣчательна вторая половина стихотворенія: поэто выражаетъ въ ней горячее негодованіе на помѣщичій гнетъ и произволъ надъ крестьяниномъ:

Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,

Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.

Оканчивается произведеніе прекраснымъ, свѣтлымъ, съ замѣчательною поэтическою силой высказаннымъ пожеланіемъ свободы крестьянину:

Увижуль-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!

Русское общество прочитало въ печати эти вдохновенные строки только въ 1861 году, когда исполнилось выраженное въ нихъ чаяніе. Написавшій ихъ поэтъ многими считался до того времени крѣпостникомъ и человѣкомъ равнодушнымъ къ участи народа.

Многіе писатели, съ которыми сблизился Пушкинъ въ первые годы своей самостоятельной жизни по выходѣ изъ школы, благотворно вліяли на его умъ и сердце; но нельзя сказать того-же про литературныя общества данной эпохи. Ихъ было собственно два: „Бесѣда любителей Русскаго слова" и „Арзамасъ". Пушкинъ примкнулъ къ послѣднему; онъ, впрочемъ, еще лицеистомъ былъ принятъ въ его члены. Главою „Бесѣды" былъ, какъ извѣстно, А. С. Шишковъ, литературный противникъ Карамзина; „Бесѣда" отстаивала старыя, державинскія формы литературы. Органомъ ея мнѣній служилъ журналъ Каченовскаго „Вѣстникъ Европы". „Арзамасъ" былъ представителемъ новшествъ въ литературѣ. Его, такъ сказать, невидимою главою былъ Карамзинъ, лично въ немъ не участвовавшій; къ „Арзамасу" принадлежалъ Жуковскій. Мнѣнія и взгляды свои это общество выражало въ „Сынѣ Отечества" Греча. Г. Анненковъ въ своемъ сочиненіи „Пушкинъ въ александровскую эпоху" болѣе сочувствуетъ „Арзамасу", чѣмъ „Бесѣдѣ", и онъ правъ, конечно, потому что, во 1-хъ, „Бесѣда" отстаивала уже отжившія свое время идеи и формы, во 2-хъ—она возставала противъ свободы литературнаго слова. Конечно, Шишкова и Каченовскаго нельзя смѣшивать съ такими гасильниками просвѣщенія, какъ Магницкій и Руничъ; но тѣмъ

не менѣе они въ попыткахъ уничтоженія старинныхъ „пiитическихъ правилъ“, въ литературной реформѣ послѣдняго времени видѣли причину ослабленія основъ старой русской жизни и даже стремленіе къ освобожденію отъ іерархическихъ и всякихъ другихъ авторитетовъ.—Но надо сказать, съ другой стороны, что и либеральный „Арзамасъ“ отличался очень крупными недостатками. Первымъ и главнымъ изъ нихъ должно считать шутливый или, лучше сказать, шуточный характеръ общества. Члены его носили особенныя названія, взятыя изъ балладъ Жуковскаго: напримѣръ, Пушкина звали „Сверчокъ“, дядю его Василія Львовича „Вотъ“. Засѣданія „Арзамаса“ были пародіей на засѣданія французской Академіи: вновь принимаемый, напримѣръ, долженъ былъ сказать похвальную (ироническую, конечно), рѣчь одному изъ членовъ „Бесѣды“, подобно тому, какъ въ Академіи новопоступающій говорилъ рѣчь въ честь своего умершаго предшественника. Съ шутливымъ характеромъ „Арзамаса“ совершенно гармонируетъ отсутствіе въ немъ опредѣленной, обдуманной программы занятій. Должно быть вслѣдствіе этого нѣкоторые серьезные умы, какъ, напримѣръ, Катенинъ, Оленинъ, Грибоѣдовъ, болѣе сочувствовали „Бесѣдѣ“. Есть преувеличеніе, но есть и доля правды во взглядѣ Писарева на „Арзамасъ“: „навязываніе бумажки на зюзюшкинъ хвостъ (говоритъ критикъ) было возведено тутъ въ принципъ и обставлено торжественными обрядами“. Другой недостатокъ „Арзамаса“ — его космополитическій характеръ. Въ стихотвореніи 1817 года „Кн. А. И. Голицыной“ Пушкинъ говоритъ про себя:

Краевъ чужихъ неопытный любитель
И своего всегдашній обвинитель,
Я говорилъ: въ отечествѣ моемъ
Гдѣ вѣрный умъ, гдѣ геній мы найдемъ?

Другое стихотвореніе того же года, „Къ Жуковскому“, намекаетъ — откуда явились у Пушкина подобныя космополитическія идеи; онъ такъ характеризуетъ тутъ „Бесѣду“: для ея членовъ —

Кто выражается правдивымъ языкомъ
И русской глупости не хочетъ бить челомъ,
Онъ врагъ отечества, онъ сѣятель разврата,
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата.

Вѣроятно Пушкинъ въ-пику „Бесѣдѣ“ былъ въ это время приверженцемъ Запада.—Возбуждая въ начинающемъ поэтѣ легкомысліе и космополитизмъ, „Арзамасъ“ былъ не полезенъ ему, а вреденъ.

Чуткій и отзывчивый на всѣ вѣянія жизни, Пушкинъ увлекся въ эту пору и мистицизмомъ, довольно распространеннымъ тогда въ русскомъ обществѣ (переводы Лабзина изъ Штиллинга и Эккартсгаузена читались весьма многими, говоритъ г. Анненковъ). Впрочемъ, — и это одна изъ загадочныхъ чертъ въ характерѣ Пушкина,—нѣкоторое суевѣріе жило въ немъ всегда; Богъ знаетъ—было ли оно слѣдствіемъ вліянія деревни и народнаго быта, или въ его огненной, южной, нервной натурѣ только ярче просвѣчивало то, что таится въ глубинѣ души каждаго человѣка. Обстоятельства по-временамъ усиливали эту черту его нравственнаго образа. Въ 1818 году въ Петербургѣ славилась умѣньемъ гадать на картахъ какая-то старуха—нѣмка Кирхгофъ. Пушкинъ однажды съ Всеволожскимъ вздумалъ зайти къ ней. Она назвала поэта замѣчательнымъ человѣкомъ и сдѣлала ему три предсказанія: что онъ скоро будетъ имѣть разговоръ по службѣ, получитъ неожиданныя деньги и, наконецъ, что сдѣлается кумиромъ своихъ соотечественниковъ, можетъ быть проживетъ долго, но на 37-мъ году жизни долженъ беречься „бѣлаго человѣка или бѣлой головы“ [1]). Пушкинъ, говорятъ, засмѣялся; но когда исполнились два первыя, незначительныя предсказанія, онъ сталъ вѣрить въ исполненіе и третьяго.

Отозвалась чуткая душа поэта и на политическія стремленія времени.

Но прежде чѣмъ сказать о политическихъ памфлетахъ Пушкина, надо остановиться на поэмѣ „Р у с л а н ъ и Л ю д м і л а“, задуманной гораздо ранѣе, чѣмъ были написаны они, и далекой отъ нихъ по своеду духу и содержанію.

Первую поэму Пушкина (онъ задумалъ ее еще въ лицеѣ, а окончилъ въ 1819 году) считаютъ обыкновенно подражательнымъ сочиненіемъ, и это совершенно справедливо; но едва-ли вѣрно то, что первообразы ея видятъ въ иностранныхъ поэмахъ: въ „Неистовомъ Орландѣ“ Аріоста, въ „Обе-

---

[1]) „Русск. Стар.“ 1879 г., іюль, 381—383 „Алекс. Серг. Пушкинъ“.

ронѣ“ Виланда, и друг. Можетъ быть чтеніе этихъ произведеній и вліяло до нѣкоторой степени на замыселъ нашего поэта; но, сочиняя „Руслана“, онъ подражалъ не имъ.— Бѣлинскій, разбирая эту поэму, считаетъ 4-ю пѣснь ея пародіей на „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго; онъ говоритъ, что въ ней „романтизмъ... осмѣянъ... очень мило и остроумно, въ забавной выходкѣ противъ „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“ [1]). Вотъ стихи, на которые намекаетъ критикъ:

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могилъ и рая вѣчный житель
И музы вѣтренной моей
Наперстникъ, пѣстунъ и хранитель!
Прости мнѣ, сѣверный Орфей,
Что въ повѣсти моей забавной
Теперь во слѣдъ тебѣ лечу,
И лиры музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

Послѣдній стихъ, дѣйствительно, подтверждаетъ заключеніе Бѣлинскаго. Но далѣе вотъ что говоритъ Пушкинъ о томъ, какъ на него дѣйствовала поэма Жуковскаго:

И насъ плѣнили, ужаснули
Картины тайныхъ сихъ ночей,
Сіи чудесныя видѣнья,
Сей мрачный бѣсъ, сей Божій гнѣвъ
Живыя грѣшника мученья.
И прелесть непорочныхъ дѣвъ.
Мы съ ними плакали, бродили
Вокругъ зубчатыхъ замка стѣнъ,
И сердцемъ тронутымъ любили
Ихъ тихій сонъ, ихъ тихій плѣнъ;
Душой Вадима призывали
И пробужденье зрѣли ихъ
И часто инокинь святыхъ
На гробъ отцовскій провожали.

Здѣсь не иронія: въ этихъ стихахъ слышится скорѣе любовь и уваженіе Пушкина къ Жуковскому и его поэмѣ. Не пародію написалъ Пушкинъ, а все его произведеніе есть, вѣрнѣе, передѣлка „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“, такъ ска-

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 429 (?).

зать реализація поэмы Жуковскаго, съ одной стороны—легкомысленная, съ другой—не лишенная поэзіи.

Если сравнить содержаніе обѣихъ поэмъ, то окажется, что онѣ почти тождественны. И въ той и въ другой разсказывается о похищеніи кіевской княжны; и у Пушкина, и у Жуковскаго являются двѣнадцать прекрасныхъ дѣвъ. Только Вадимъ Жуковскаго раздѣлился у Пушкина на двѣ личности—на Руслана и Ратмира: Русланъ отправляется на поиски за кіевской княжной, а Ратмиръ увлекается двѣнадцатью дѣвами. Великанъ Жуковскаго, похитившій кіевскую княжну, тоже раздвоился у Пушкина: на Карла—Черномора и его брата—Голову; Русланъ борется и съ тѣмъ и съ другимъ. Св. Угодникъ Жуковскаго превратился у Пушкина въ старика Финна, бѣсъ—въ Наину. Какъ Угодникъ и бѣсъ состязаются у Жуковскаго изъ-за Громобоя, такъ у Пушкина Финнъ и Наина спорятъ и враждуютъ изъ-за Руслана. Наконецъ, какъ Вадимъ привозитъ похищенную княжну въ Кіевъ, такъ и Русланъ привозитъ Людмилу.

Но при сходствѣ поэмъ есть между ними и большая разница. У Жуковскаго освобожденіе княжны—эпизодъ въ повѣсти; у Пушкина наоборотъ: разсказъ о двѣнадцати дѣвахъ есть эпизодъ въ повѣствованіи объ освобожденіи кіевской княжны. Затѣмъ (и это главное различіе поэтовъ) у Жуковскаго двѣнадцать дѣвъ являются представительницами идеальнаго начала; изъ поэмы Пушкина идеальное начало совершенно исключено, а его двѣнадцать дѣвъ оказываются представительницами чувственной жизни: онѣ увлекаютъ Ратмира земными соблазнами. Русланъ (вопреки своему первообразу Вадиму) находитъ истину и счастье въ любви къ кіевской княжнѣ, а не къ одной изъ двѣнадцати дѣвъ Жуковскаго.—Такимъ образомъ содержаніе поэмы Пушкина заимствовано у Жуковскаго; но произведеніе послѣдняго подвергнуто передѣлкѣ, весьма существенной: молодой поэтъ хотѣлъ по своему поправить нравившееся ему, но казавшееся слишкомъ мечтательнымъ и идеальнымъ созданіе своего учителя.

Характеровъ лицъ въ поэмѣ Жуковскаго нѣтъ; Пушкинъ хотѣлъ попробовать сдѣлать очерки характеровъ. Но и въ этомъ онъ въ разбираемой первой своей поэмѣ еще не самостоятеленъ. Такъ, характеръ Людмилы заимство-

ванъ у Богдановича, изъ его пресловутой „Душеньки". Людмила—дѣвушка легкомысленная, сильно интересующаяся своей красотой, любящая наряды; она вообще личность дюжинная, неспособная на чистое чувство, на возвышенное дѣло; она похожа (если можно сравнивать съ позднѣйшими явленіями) на героинь современныхъ намъ опереттъ Оффенбаха, напр. на Периколу. — Отношенія Пушкина къ Людмилѣ похожи на отношенія Богдановича къ Душенькѣ: Пушкинъ сочувствуетъ своей героинѣ и въ то-же время не уважаетъ ее, смотритъ на нее какъ-то шутливо-пренебрежительно. Эта двойственность отношеній поэта къ Людмилѣ напоминаетъ намъ также отношеніе Вольтера къ своимъ героинямъ, напр., къ Кунигундѣ въ „Кандидѣ".—Людмила, попавъ въ плѣнъ къ Черномору, тоскуетъ; поэтъ намекаетъ намъ, что истинная причина тоски—неизвѣстна: можетъ быть она грустить о разлукѣ съ милымъ, а можетъ быть и потому, что давно не смотрѣлась въ зеркало:

Тѣ, кои правду возлюбя,
На темномъ сердца днѣ читали,
Конечно знаютъ про себя,
Что если женщина въ печали,
Сквозь слезъ, украдкой какъ-нибудь,
На зло привычкѣ и разсудку,
Забудетъ въ зеркало взглянуть,
То грустно ей ужь не на шутку.
(Пѣснь II).

Людмила повидимому искренно рѣшается умереть съ отчаянья; но это рѣшеніе быстро исчезаетъ отъ страха передъ опасностью, отъ соблазна вкуснаго кушанья.

Страшный путь отверзтъ:
Высокій мостикъ надъ потокомъ
Предъ ней виситъ на двухъ скалахъ;
Въ уныньи тяжкомъ и глубокомъ
Она подходитъ—и въ слезахъ
На воды шумныя взглянула,
Ударила, рыдая, въ грудь,
Въ волнахъ рѣшилась утонуть,—
Однако въ воды не прыгнула
И далѣ продолжала путь.

Бѣгая такимъ образомъ по саду съ утра, она устала наконецъ, проголодалась,

Въ душѣ подумала: пора!

и къ ея услугамъ явился роскошный обѣдъ; но, рѣшившись умереть, она не хочетъ притронуться къ кушаньямъ:

Не стану ѣсть, не стану слушать,
Умру среди твоихъ садовъ!..
Подумала и стала кушать.
(II пѣс.).

Горе Людмилы какъ-то соединяется и перепутывается съ кокетствомъ:

На встрѣчу утреннимъ лучамъ
Постель оставила Людмила
И взоръ невольный обратила
Къ высокимъ, чистымъ зеркаламъ;
Невольно кудри золотыя
Съ лилейныхъ плечъ приподняла,
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчерашніе наряды
Нечаянно въ углу нашла,
Вздохнувъ одѣлась, и съ досады
Тихонько плакать начала.
Однако съ вѣрнаго стекла,
Вздыхая, не сводила взора.
И дѣвицѣ пришло на умъ,
Въ волненьи своенравныхъ думъ,
Примѣрить шапку Черномора.
. . . .
Рядиться никогда не лѣнь,—

прибавляетъ отъ себя поэтъ пояснительное примѣчаніе.

Не только характеръ Людмилы заимствовалъ Пушкинъ у Богдановича,—онъ взялъ изъ поэмы „Душенька" и нѣкоторыя частности и подробности своего произведенія; напр. описаніе дворца и сада Черномора напоминаетъ изображеніе владѣній Амура у Богдановича. Какъ зачастую неизященъ образъ Душеньки и грубы отношенія къ ней автора, такъ иной разъ очень неизящна и Людмила и безцеремонны отношенія къ ней Пушкина: когда къ Людмилѣ явился Черноморъ съ изъясненіями свой любви, то она

Сѣдаго карлу за колпакъ
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащій занесла кулакъ,
И въ страхѣ завизжала такъ,
Что всѣхъ араповъ оглушила.
Трепеща скорчился бѣднякъ,
Княжны испуганной блѣднѣе.
(Пѣс. II).

Съ характеромъ Людмилы, съ характеромъ передѣлки повѣсти Жуковскаго согласенъ и общій чувственный колоритъ „Руслана и Людмилы“. Самъ Пушкинъ сказалъ, что въ своемъ произведеніи онъ идетъ по слѣдамъ Парни: онъ славитъ

лирою небрежной
И наготу въ ночной тѣни,
И поцѣлуй любови нѣжной!
(Пѣс. IV).

И дѣйствительно, въ поэмѣ мы видимъ рядъ чувственныхъ картинъ и сценъ; напр. поэтъ говоритъ о нетерпѣніи Руслана на свадебномъ пиру и затѣмъ рисуетъ сцену въ спальнѣ. Онъ успокоиваетъ читателя относительно Людмилы, попавшей къ Черномору, что „любовь сѣдаго колдуна—

напрасна
И юной дѣвѣ не страшна:
Онъ звѣзды сводитъ съ небосклона,
Онъ свистнетъ—задрожитъ луна;
Но противъ времени закона
Его наука не сильна.
(Пѣс. I).

Въ другомъ мѣстѣ онъ повѣствуетъ, какъ

волшебникъ хилый
Ласкаетъ дерзостной рукой
Младыя прелести Людмилы.
(Пѣс. IV).

Похищеніе Людмилы Черноморомъ поэтъ сравниваетъ съ похищеніемъ курицы коршуномъ въ ту минуту

Когда за курицей трусливой,
Султанъ курятника спѣсивой,
Пѣтухъ мой по двору бѣжалъ
И сладострастными крылами
Уже подругу обнималъ.
(Пѣс. II).

Поэтъ считаетъ нужнымъ оправдываться:

Зачѣмъ Русланову подругу,
Какъ-бы на зло ея супругу,
Зову и дѣвой и княжной.
(Пѣс. III).

Разсказъ о пребываніи Ратмира у двѣнадцати дѣвъ полонъ сладострастныхъ картинъ. Повѣствуя о томъ, какъ Русланъ

везетъ спящую Людмилу въ Кіевъ, Пушкинъ находитъ нужнымъ говорить о цѣломудріи своего героя. По поводу сна Людмилы онъ вспоминаетъ притворный сонъ „пастушекъ“, за которыми ухаживалъ съ товарищами, когда еще „безмятежно разцвѣталъ въ садахъ лицея“.—Въ первомъ изданіи поэмы было еще болѣе чувственныхъ, почти циническихъ эпизодовъ. Между ними интересны слѣдующія слова, пропущенныя Пушкинымъ при вторичномъ печатаніи поэмы, въ 1828 году:

Не правъ Фернейскій злой крикунъ!
Все къ лучшему...

Эти стихи намекаютъ, что и въ „Русланѣ и Людмилѣ“ отозвалось вліяніе Вольтера.

Но реализація Пушкинымъ идеалистической и мечтательной повѣсти Жуковскаго состоитъ не только въ томъ, что въ нее внесено матерьялистическое начало, а также и въ приданіи ей характера, или по крайней мѣрѣ окраски народности. — Бѣлинскій совершенно вѣрно, конечно, замѣтилъ, что въ первой поэмѣ Пушкина русскаго народнаго духа „слыхомъ не слыхать, видомъ не видать“, за исключеніемъ 17 первыхъ стиховъ [1]). Въ 20-хъ годахъ, говоритъ онъ, немудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какой-то небывалой, фантастической бани увидѣть „великолѣпную русскую“ баню. Кому неизвѣстно великолѣпіе нашихъ бань, гдѣ въ такомъ употребленіи „сокъ весеннихъ розъ“, а „вѣтви молодыхъ березъ“ прозаически называются вѣниками [2]). (Этотъ отзывъ Бѣлинскаго свидѣтельствуетъ не только о его эстетическомъ чувствѣ, но и о томъ также, что въ его душѣ всегда сидѣлъ русскій человѣкъ).—Но съ съ другой стороны небезосновательно увидѣлъ въ поэмѣ много народнаго, или, лучше, сказочнаго, и пѣсеннаго, другой критикъ, напечавшій статью о „Русланѣ и Людмилѣ“ въ „Вѣстн. Европы“ 1820 г., т. е. года выхода въ свѣтъ поэмы [3]). Критикъ этотъ подписался

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VIII, стр. 426—427.

[2]) Тамъ-же, стр. 433.

[3]) Прил. ко 2 изд. Исакова Соч. Пушкина, стр. 6—8.—Въ 3-мъ изд. Исакова, подъ ред. Ефремова, т. V.

„Житель Бутырской слободы“. Взгляды его на произведеніе Пушкина, а въ особенности на народную поэзію можно сказать—дикіе.

„Мы (говоритъ онъ) отъ предковъ получили небольшое бѣдное наслѣдство литературы, т. е. сказки и пѣсни народныя. Что о нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты, даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомнѣнія. Мы любимъ вспоминать все, относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени нашего дѣтства, когда какая-нибудь пѣсня или сказка служила намъ невинною забавой и составляла все богатство познаній. Видите сами, что я не прочь отъ собиранія и изысканія русскихъ сказокъ и пѣсенъ; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пѣсни совсѣмъ съ другой стороны, громко закричали о величіи, плавности, силѣ, красотахъ, богатствѣ нашихъ старинныхъ пѣсенъ, начали переводить ихъ на нѣмецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и пѣсни, что въ стихотвореніяхъ XIX вѣка заблистали Еруcланы и Бовы на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный... Зачѣмъ допускать, чтобы плохія шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, неодобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, а ни мало не смѣшна и не забавна“.

Слова эти въ наше время нельзя не признать дикими... Но вникните въ ихъ сущность, и окажется, что сердитый критикъ, отрицающій изящество народной поэзіи, знаетъ эту поэзію и понимаетъ ее, — не даромъ говоритъ онъ о значеніи сказокъ и пѣсенъ въ дѣтствѣ. Онъ напоминаетъ намъ теперь Тургеневскаго Потугина, одного изъ героевъ „Дыма“, тоже превосходно знающаго народное творчество и понимающаго его красоту, хотя и увѣряющаго, что въ немъ нѣтъ красоты и что онъ его будто-бы не любитъ.

По этимъ причинамъ „Бутырскій критикъ“ вѣрно подмѣтилъ въ примѣненіи къ Пушкину, что поэты XIX вѣка начинаютъ пародировать Киршу Данилова; съ комическимъ негодованіемъ, но совершенно вѣрно указалъ онъ, что Пушкинъ „оживляетъ мужичка самъ съ ноготь, а борода съ локоть, придаетъ ему еще безконечные усы, показываетъ намъ вѣдьму, шапочку-невидимку и проч.“, что „поэтъ и въ вы-

раженіяхъ уподобился Ерусланову разскащику, какъ, напримѣръ, въ стихахъ:

Я ѣду, ѣду не свищу,
А какъ наѣду, не спущу...“

Впослѣдствіи самъ Пушкинъ, разсказывая, какъ критика приняла его первую поэму, какъ жестоко смѣялись надъ стихомъ: „Людскую молвь и конскій топъ“, признаетъ, что составилъ этотъ стихъ по народнымъ произведеніямъ. „Молвь (рѣчь) слово коренное русское (замѣчаетъ поэтъ). Топъ вмѣсто топотъ (слѣдственно, и хлопъ вмѣсто хлопаніе) вовсе не противно духу русскаго языка, какъ и шипъ вмѣсто шипѣніе:

Онъ шипъ пустилъ по змѣиному.
(Древн. Русскія Стихотвор.).

На ту бѣду и стихъ-то весь не мой, а взятъ цѣликомъ изъ русской сказки:

„И вышелъ онъ за ворота градскія, и услышалъ конскій топъ и людскую молвь“.

(„Бова Королевичъ“ [1]).

Народности въ поэмѣ Пушкина, дѣйствительно, больше, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Прежде всего, въ содержаніи поэмы очень сильно сказочное начало. Будучи передѣлкой „Двѣнадцати спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго, „Русланъ и Людмила“ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и передѣлка сказки „о спящей царевнѣ“. Людмилу похищаетъ Черноморъ, какъ царевну Кощей; Русланъ освобождаетъ Людмилу, какъ Иванъ-Царевичъ свою невѣсту; и оба они послѣ этого убиты, и оба оживаютъ при помощи живой воды. Наконецъ, какъ царевна пробуждается отъ сна съ приходомъ Ивана-Царевича, такъ пробуждается и Людмила съ приходомъ Руслана. Тотъ-же сказочный мотивъ Пушкинъ передалъ впослѣдствіи съ изумительною поэтическою силой въ своей чудной „Сказкѣ о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ“.—Замѣчательно только, что въ поэмѣ Людмилу похищаетъ не Кощей, а „Мужичекъ съ ноготокъ—борода съ локотокъ“: Пушкинъ, повидимому, путается еще въ сказочныхъ типахъ.

Кромѣ сказокъ на „Русланѣ и Людмилѣ“ замѣтно вліяніе и богатырскаго эпоса. Характеръ Людмилы заимствовалъ

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. 1881 г., т. V, стр. 137.

Пушкинъ, какъ мы видѣли, изъ „Душеньки“ Богдановича; первообразами же характеровъ героевъ поэмы были наши народные богатыри. — Какъ въ былинахъ кіевскаго круга Владиміра-Красное-солнышко окружаютъ богатыри, которые пирують съ нимъ, а потомъ съ вѣчнаго пира его ѣдутъ на подвиги, такъ и въ поэмѣ Пушкина Владиміръ окруженъ богатырями, которые ѣдутъ затѣмъ изъ Кіева отыскивать его похищенную дочь.—Русланъ списанъ поэтомъ съ Ильи Муромца, и отчасти съ Добрыни Никитича. Илью онъ напоминаетъ спокойствіемъ своимъ, самообладаніемъ, отсутствіемъ хвастливости въ нравѣ. Какъ Илья привозитъ въ Кіевъ полоненнаго имъ Соловья-разбойника, такъ и Русланъ привозитъ Черномора. Только бой Руслана съ послѣднимъ воспроизводитъ не бой Ильи съ Соловьемъ, а сраженіе Алеши-Поповича съ Змѣемъ-Тугариномъ, летавшимъ на бумажныхъ крыльяхъ (и Черноморъ тоже летаетъ). Какъ Илья освобождаетъ Черниговъ отъ трехъ царевичей съ несмѣтною силой татарской, такъ Русланъ спасаетъ Кіевъ отъ печенѣговъ. Вообще пріѣздъ Руслана въ Кіевъ напоминаетъ поѣздку Ильи Муромца изъ родительскаго дома въ стольный городъ ласковаго князя Владиміра. — Въ поэмѣ есть и Алеша-Поповичъ, это—Фарлафъ; онъ хвастливъ, хитеръ, плутоватъ; только ему не дано смѣлости его первообраза: онъ трусъ. Фарлафъ хочетъ обманомъ жениться на женѣ Руслана, какъ Алеша женится на женѣ Добрыни Настасьѣ Микулишнѣ; Русланъ, соотвѣтствующій въ данномъ случаѣ Добрынѣ, лежитъ въ это время въ полѣ израненный и убитый, подобно тому, какъ по облыжнымъ словамъ Алеши, лежитъ будто-бы около ракитова куста въ полѣ Добрыня съ проломанной головой и прострѣленными плечами. Какъ Алеша, Фарлафъ ошибся въ разсчетѣ и принужденъ просить прощенія у возвратившагося Руслана.

И всякъ ли то удалый добрый молодецъ поженится,
А не всякому удалу добру молодцу женитьба удавается,

говоритъ народная пѣсня [1].—Должно быть крѣпко засѣли въ душѣ Пушкина образы богатырей, съ которыми онъ познакомился въ дѣтствѣ, какъ мы знаемъ по его собствен-

[1]) Онежскія былины, Гильфердинга, 642.

ному свидѣтельству въ стихотвореніи „Сонъ“.—Съ народной стороной „Руслана и Людмилы“ совершенно гармонируетъ то обстоятельство, что въ языкѣ поэмы слышится порою русскій духъ, какъ указалъ уже „Бутырскій критикъ“. Русскій духъ пробивается и въ нѣкоторыхъ частностяхъ произведенія, напр. въ печали Людмилы по родительскомъ домѣ:

Она безмолвна и уныла,
Одна гуляетъ по садамъ,
О другѣ мыслитъ и вздыхаетъ,
Иль волю давъ своимъ мечтамъ,
Къ родимымъ Кіевскимъ полямъ
Въ забвеньи сердце улетаетъ,
Подружекъ видитъ молодыхъ
И старыхъ мамушекъ своихъ,—
Забыты плѣнъ и разлученье! и т. д.
(Пѣснь IV).

Вышеприведенное сравненіе похищенія Людмилы съ похищеніемъ курицы коршуномъ, будучи съ одной стороны не совсѣмъ приличнымъ, представляетъ въ то-же время, съ другой стороны, простое изображеніе обыденной русской дѣйствительности.

Нельзя не согласиться, что отчасти былъ правъ тотъ литераторъ, который привѣтствовалъ поэму Пушкина стихомъ:

Мать дочери велитъ на эту сказку плюнуть.

Дѣйствительно, въ поэмѣ много чувственнаго и даже порою циническаго; но народная стихія составляетъ ея свѣтлую сторону. Къ свѣтлой сторонѣ относится и пробивающееся въ ней мѣстами истинное чувство. Пушкинъ самъ впослѣдствіи указывалъ, какъ на недостатокъ поэмы, на ея холодность; и въ самомъ дѣлѣ, въ общемъ она холодна, но мѣстами въ ней звучатъ теплыя нотки,—недаромъ Пушкинъ подражалъ Жуковскому. Чувствомъ проникнуто, напримѣръ, описаніе горя разлученныхъ супруговъ. Чувство замѣтно въ размышленіяхъ Руслана на полѣ, усѣянномъ мертвыми костями:

О поле, поле, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топталъ,
Въ послѣдній часъ кровавой битвы?

Кто на тебѣ со славой палъ?
Чьи небо слышало молитвы?
(Пѣснь III).

Чистое чувство вызвало гуманный совѣтъ поэта соперникамъ въ любви не ссориться между собою:

Живите дружно, если можно.
Повѣрьте мнѣ, друзья мои:
Кому судьбою непремѣнной
Дѣвичье сердце суждено,
Тотъ будетъ милъ на зло вселенной;
Сердиться глупо и смѣшно.
(Пѣс. II).

Въ концѣ поэмы истинное чувство беретъ перевѣсъ надъ легкомысленной чувственностью: Ратмиръ отказывается отъ сладострастной жизни въ замкѣ дѣвъ, потому что увлекается романтической, чистой любовью;--изображеніе этой любви несомнѣнно свидѣтельствуетъ о вліяніи Жуковскаго на Пушкина: я забылъ все прежнее, даже прелести Людмилы (говоритъ Ратмиръ Руслану, возвращающемуся съ освобожденной женою въ Кіевъ); мнѣ мила только моя подруга:

Моей счастливой перемѣны
Она виновницей была;
Она мнѣ жизнь, она мнѣ радость!
Она мнѣ возвратила вновь
Мою утраченную младость
И миръ и чистую любовь.
Напрасно счастье мнѣ сулили
Уста волшебницъ молодыхъ;
Двѣнадцать дѣвъ меня любили,—
Я для нея покинулъ ихъ,
Оставилъ теремъ ихъ веселый
Въ тѣни хранительныхъ дубровъ,
Сложилъ и мечъ, и шлемъ тяжелый,
Забылъ и славу, и враговъ.
Отшельникъ мирный и безвѣстный,
Остался въ счастливой глуши,
Съ тобой, другъ милый, другъ прелестный,
Съ тобою, свѣтъ моей души!
(Пѣс. IV).

Въ заключеніе, надо обратить еще вниманіе на художественность нѣкоторыхъ эпизодовъ „Руслана и Людмилы". Красотѣ живаго стиха поэмы тоже иной разъ уступаетъ

мѣсто чувственная сторона ея. Въ легкомысленномъ разсказѣ о Наинѣ (легкомысленномъ, потому что Наина осмѣивается только за свою старость) иные стихи отличаются неподдѣльнымъ изяществомъ, напр.

И я любовь узналъ душой,
Съ ея небесною отрадой,
Съ ея мучительной тоской!
. . . .
Но сердце, полное Наиной,
Подъ шумомъ битвы и пировъ
Томилось тайною кручиной,
Искало Финскихъ береговъ.
. . . .
Сбылись давнишнія мечты,
Сбылися пылкія желанья!
Минута сладкаго свиданья,
И для меня блеснула ты!
(Пѣс. I).

Истинно художественно, затѣмъ, изображеніе гибели Рогдая, брошеннаго Русланомъ въ волны:

И слышно было, что Рогдая
Тѣхъ водъ русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смѣхомъ увлекла.
(Пѣс. II).

Есть въ поэмѣ прекрасныя картины природы; напр.

Ужь поблѣднѣлъ закатъ румяный
Надъ усыпленною землей;
Дымятся синіе туманы
И всходитъ мѣсяцъ золотой;
Померкла степь. Тропою темной
Задумчивъ ѣдетъ нашъ Русланъ.
(Пѣс. III).

Остановимся, наконецъ, на слѣдующихъ четырехъ стихахъ изъ описанія сна Руслана:

И снится вѣщій сонъ герою:
Онъ видитъ, будто-бы княжна
Надъ страшной бездны глубиною
Стоитъ недвижна и блѣдна...

Они съ небольшимъ измѣненіемъ перешли потомъ въ „Евгенія Онѣгина"—въ описаніе сна Татьяны.

Легкомысленное поведеніе Пушкина, должно быть, сильно безпокоило истинныхъ друзей его. Одинъ изъ нихъ, А. И. Тургеневъ, принимавшій такое сердечное участіе въ судьбѣ поэта, возлагалъ надежды на поэму „Русланъ и Людмила“, что она остепенитъ Пушкина.

„Племянникъ почти кончилъ свою поэму (писалъ онъ) [1]), и на сихъ дняхъ я два раза слушалъ ее. Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, личной для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и слѣдовательно уважаемыхъ авторовъ, онъ и самъ станетъ уважать себя и нѣсколько остепенится. Теперь его знаютъ только по мелкимъ стихамъ и крупнымъ шалостямъ“.

Но Богъ знаетъ, сбылись ли бы надежды Тургенева, одержали ли бы верхъ въ душѣ Пушкина чистыя начала, или нѣтъ, если бы не произошло одно событіе, которое, казалось, чуть не погубило его, но которое на самомъ дѣлѣ спасло отъ погибели въ чувственныхъ увлеченіяхъ будущаго великаго художника; это событіе—высылка изъ Петербурга на югъ весною 1820 года.

Увлекаясь всѣми явленіями жизни, Пушкинъ сильно заинтересовался и бродившими въ то время въ нашемъ обществѣ политическими идеями.

Конецъ 10-хъ годовъ былъ въ Европѣ временемъ реакціи. Это отразилось и у насъ, главнымъ образомъ необычайными строгостями цензуры и затѣмъ разрушительными дѣйствіями противъ просвѣщенія Магницкаго, Рунича и комп. Выдвинулась невѣжественная личность Аракчеева. Въ противодѣйствіе реакціи образовались тайныя общества. Дѣятелями въ нихъ были преимущественно гвардейскіе офицеры, занимавшіе тогда первое мѣсто въ молодомъ поколѣніи. Между ними были и люди невѣжественные, и люди европейски образованные, какъ напр. Чаадаевъ, Катенинъ и другіе. Военное сословіе, вернувшись въ Россію изъ Парижа, принесло съ собою либеральныя идеи Запада. Въ 1818 г. въ Москвѣ, гдѣ была тогда гвардія (по случаю празднествъ, устроенныхъ тамъ нашимъ дворомъ для прусскаго короля), сочиненъ былъ уставъ „Союза благоден-

[1]) А. С. Пушкинъ 1816—1825 г. По документамъ Остафьевск. архива. Кн. П. П. Вяземскаго, I, стр. 28.

ствія“. Первоначально общество это имѣло чисто моральныя цѣли: распространять образованіе, поднимать и разрѣшать вопросы современнаго гражданскаго устройства Россіи. Но, неудовольствовавшись этимъ „союзъ“ перешелъ затѣмъ на почву революціонныхъ стремленій.—Г. Анненковъ въ своихъ „Матеріалахъ“ справедливо указываетъ на дилетантизмъ, господствовавшій въ нашихъ тайныхъ обществахъ той поры, члены которыхъ поверхностно занимались и Адамомъ Смитомъ, и Бентамомъ, и русской исторіей, вопросами о вѣчахъ и древнемъ славянскомъ бытѣ.

И. И. Пущинъ въ своихъ „Запискахъ“ свидѣтельствуетъ объ интересѣ молодаго Пушкина къ политикѣ: онъ разсказываетъ, что поэтъ весьма обрадовался намѣренію Ник. Ив. Тургенева издавать политическую газету,—онъ думалъ участвовать въ ней. Пушкинъ старался попасть и въ члены „Союза благоденствія“. Но замѣчательно, что его туда не приняли; не приняли его въ тайное общество и впослѣдствіи на югѣ. Семь лѣтъ стоялъ онъ такъ сказать среди заговора, будучи знакомъ и даже друженъ съ нѣкоторыми главными его представителями; но самъ сдѣлаться заговорщикомъ, вопреки своему желанію, никакъ не могъ. Это обстоятельство обыкновенно объясняютъ молчаливымъ условіемъ членовъ общества—предоставить Пушкина его призванію, спасти отъ случайностей его талантъ; но трудно сказать—такъ ли это было, или дѣятели политическихъ обществъ просто не довѣряли сдержанности и серьезности поэтовъ вообще, а Пушкина въ особенности? [1]).

Раздосадованный неудачей и сильно желая составить себѣ политическое положеніе, Пушкинъ сталъ писать политическіе памфлеты и эпиграммы [2]). Къ этому побуждало его еще желаніе выдвинуться изъ толпы. На упреки и предостереженія родныхъ онъ отвѣчалъ, что безъ шума никто изъ толпы не выходилъ. Его произведенія этого рода не имѣютъ серьезнаго характера и значенія; но они сильно

---

[1]) См. Рус. Стар. 1880 г. янв., стр. 130 Слова ред. объ отзывахъ о Пушкинѣ Горбачевскаго и Бестужева.

[2]) Двѣ эпиграммы на Аракчеева, отрывокъ изъ пѣсенки „Noël“ (подъ загл. „Сказки“) напечатаны въ Соч. Пушкина 3 изд. Исакова (I, 205 и 316). „Ода на свободу“ см. „А. С. Пушкинъ“. I, М. 1881 г. стр. 92—93. (*Также* Соч. П—на, изд. 1880 г. т. V).

распространялись въ обществѣ и наконецъ вызвали гнѣвъ государя. Откровенно высказывая свои политическія убѣжденія встрѣчному и поперечному, Пушкинъ имѣлъ неосторожность на масляной 1820 года показывать въ театрѣ своимъ знакомымъ портретъ Лувеля, убійцы герцога Беррійскаго,—это было каплей, переполнившей чашу, и судьба поэта могла сдѣлаться очень печальной: ему грозили ссылка или заточеніе въ монастырѣ. Только чистосердечіе его и заступничество вліятельныхъ друзей и знакомыхъ спасли его. Призванный къ гр. Милорадовичу (ген.-губернатору), онъ написалъ ему (по разсказу Ѳ. Н. Глинки) [1]) всѣ свои политическія эпиграммы. Восхищенный этимъ поступкомъ, Милорадовичъ, представляя тетрадь государю, замолвилъ слово за поэта. За него ходатайствовали еще Энгельгардтъ и Карамзинъ. Первый, встрѣтившись съ императоромъ въ Царскосельскомъ саду, въ отвѣтъ на вопросъ государя о Пушкинѣ просилъ пощадить въ немъ развивающійся необыкновенный талантъ. Но главнымъ образомъ, кажется, дѣло было устроено Карамзинымъ, котораго просили о заступничествѣ самъ Пушкинъ и П. Я. Чаадаевъ. Пушкинъ покорно выслушалъ упреки и наставленія знаменитаго историка и утвердительно отвѣчалъ на его вопросъ: „Можете-ли вы, по крайней мѣрѣ, обѣщать мнѣ, что впродолженіи года не напишете ничего противнаго правительству? Иначе я выйду лжецомъ, прося за васъ и говоря о вашемъ раскаяніи“.— Пушкинъ былъ спасенъ отъ ссылки и вмѣсто того переведенъ по службѣ въ Екатеринославъ въ Канцелярію Главнаго Попечителя колонистовъ южнаго края генерала Ивана Никитича Инзова.—5-го мая 1820 г. поэтъ получилъ изъ мѣста своего служенія, Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, видъ на проѣздъ и поскакалъ на югъ, по бѣлорусскому тракту, въ красной рубашкѣ и опояскѣ, въ поярковой шляпѣ (по словамъ Записокъ Пущина). Онъ, кажется, съ нѣкоторымъ удальствомъ или напускнымъ пренебреженіемъ отнесся къ перемѣнѣ своей участи. Передъ отъѣздомъ онъ зашелъ къ

---

[1]) Удаленіе А. С. Пушкина изъ Спб. въ 1820 г. (Русск. Арх. 1866 г., стр. 917—922).—Подробности о высылкѣ поэта см. еще тамъ-же, ст. г. Бартенева „Пушкинъ въ Южной Россіи“ (стр. 1089 и слѣд.).—Біогр. Пушкина въ „Рус. Стар.“ 1879 г. іюнь.

Чаадаеву проститься; но узнавъ, что тотъ спитъ, не велѣлъ его будить; „стоило-ли будить изъ-за такой бездѣлицы"? писалъ онъ потомъ своему другу въ отвѣтъ на его упреки за этотъ поступокъ.—Карамзинъ сильно не одобрялъ поведенія Пушкина въ Петербургѣ и, кажется, съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ смотрѣлъ на его будущность. 17-го мая 1820 г. онъ писалъ кн. Вяземскому:

„А. Пушкинъ былъ нѣсколько дней совсѣмъ не въ піитическомъ страхѣ отъ своихъ стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпиграммъ. Далъ мнѣ слово уняться и благополучно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. Онъ былъ, кажется, тронутъ великодушіемъ государя, дѣйствительно трогательнымъ. Долго описывать подробности; но если Пушкинъ и теперь не исправится, то будетъ чертомъ еще до отбытія своего въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напишетъ къ своей поэмкѣ!" [1]).

Отъѣздомъ отъ сѣверной столицы оканчивается первая, подражательная, бурная и полная ошибокъ, колебаній и заблужденій эпоха жизни будущаго великаго поэта.—Уѣзжая на югъ, онъ могъ повторить написанные имъ въ 1818 г. стихи „Про себя":

Великимъ быть желаю,
Люблю Россіи честь,
Я много обѣщаю,
Исполню-ли—Богъ вѣсть!

---

[1]) А. С. Пушкинъ, по докум. Остаф. архива, Кн. П. П. Вяземскаго I, стр. 23.

ГЛАВА II.

Югъ. — Байронизмъ.

(1820—1824 гг.). [1])

1.

Съ пріѣздомъ на югъ не только измѣняется внѣшняя сторона жизни Пушкина, но и начинается новое направленіе въ его внутреннемъ, духовномъ бытіи.

Почти одновременно съ пріѣздомъ поэта въ Екатеринославъ генералъ Инзовъ былъ назначенъ Исправляющимъ должность Полномочнаго Намѣстника Бессарабской области; комитетъ колонистовъ, которымъ завѣдывалъ Инзовъ, былъ вслѣдствіе этого переведенъ въ Кишиневъ, главный городъ Бессарабіи.—Въ Екатеринославѣ Пушкинъ заболѣлъ лихорадкою; лишенной необходимаго ухода и медицинской помощи, онъ боролся съ недугомъ почти одинокій. Но на его счастье въ городъ пріѣхало семейство генерала Раевскаго, извѣстнаго героя отечественной войны, съ сыновьями котораго Пушкинъ былъ знакомъ. Благодаря участію Раевскаго и помощи его врача Рудыковскаго, поэтъ поправился, ожилъ духомъ, и имъ овладѣло веселое настроеніе. Обстоятельства тоже улыбнулись ему: онъ получилъ позволеніе ѣхать съ Раевскими на Кавказъ. Какъ весело было у него на душѣ, свидѣтельствуютъ его шалости этой поры. Такъ напр. Рудыковскій разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что въ Горячеводскѣ поэтъ отмѣтилъ въ книгѣ, въ которую вписывались имена посѣтителей водъ, его, Рудыковскаго, лейбъ-медикомъ, а себя недорослемъ.

---

[1]) Главныя пособія для изученія этой эпохи: „Пушкинъ въ Южной Россіи“ г. Бартенева („Рус. Арх.“ 1866 г.).—„Изъ дневника и воспоминаній И. П. Липранди“ (тамъ-же).—„Г-жа Ризничъ и Пушкинъ“, ст. К. Зеленецкаго („Рус. Вѣст.“ 1856 г. кн. 11). — „Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія П—на въ Кишиневѣ“. („Вѣстн. Евр. 1881 г. № 3) и друг.

Кавказъ произвелъ на Пушкина сильное впечатлѣніе. 20 сентября 1820 года онъ писалъ брату Льву Сергѣевичу изъ Кишинева: „Жалѣю, мой другъ, что ты со мною вмѣстѣ не видалъ эту великолѣпную цѣпь горъ, ледяныя ихъ вершины, которыя издали на ясной зарѣ кажутся странными облаками, разноцвѣтными и неподвижными; жалѣю, что не всходилъ со мною на острый верхъ пятихолмнаго Бешту, Машука, Желѣзной горы, Каменной и Змѣиной. Кавказскій край, знойная граница Азіи, любопытенъ во всѣхъ отношеніяхъ. За нами тащилась заряженная пушка съ зажженнымъ фитилемъ. Хотя черкесы ныньче довольно смирны, но нельзя на нихъ положиться; въ надеждѣ большаго выкупа, они готовы напасть на извѣстнаго русскаго генерала... Ты понимаешь, какъ эта тѣнь опасности нравится мечтательному воображенію [1]).—Кавказъ плѣнилъ поэта своей грандіозной природой и, между прочимъ, своей дикостью и простотою. Въ написанномъ нѣсколько лѣтъ спустя „Путешествіи въ Арзрумъ“ Пушкинъ замѣчаетъ: „Признаюсь, кавказскія воды представляютъ нынѣ болѣе удобностей, но мнѣ было жаль ихъ прежняго дикаго состоянія; мнѣ было жаль крутыхъ каменныхъ тропинокъ и неогороженныхъ пропастей, надъ которыми, бывало, я карабкался“.—Подъ такими впечатлѣніями написалъ поэтъ эпилогъ „Руслана и Людмилы“.

Забытый свѣтомъ и молвою,
Далече отъ бреговъ Невы,
Теперь я вижу предъ собою
Кавказа гордыя главы.
Надъ ихъ вершинами крутыми,
На скатѣ каменныхъ стремнинъ,
Питаюсь чувствами нѣмыми
И чудной прелестью картинъ
Природы дикой и угрюмой.
Душа, какъ прежде, каждый часъ
Полна томительною думой;
Но огнь поэзіи погасъ
Ищу напрасно впечатлѣній!
Она прошла, пора стиховъ;
Пора любви, веселыхъ сновъ,
Пора сердечныхъ вдохновеній!
Восторговъ краткій день протекъ—
И скрылась отъ меня навѣкъ
Богиня тихихъ пѣснопѣній...

---

[1]) *Матер. г.* Анненкова, стр. 71.

Вопросъ Карамзина объ „эпилогѣ къ поэмкѣ“ разрѣшился въ благопріятную для поэта сторону: изъ этихъ стиховъ видно, что душу Пушкина поразили новыя свѣжія и сильныя впечатлѣнія, и поразили такъ, что онъ, на первыхъ порахъ, не находилъ внѣшней формы для ихъ воплощенія, не находилъ стиховъ, почему даже усомнился — не исчезъ-ли его даръ?

Съ Кавказа Пушкинъ отправился въ Крымъ черезъ землю Черноморскихъ казаковъ. Три недѣли провелъ онъ въ Юрзуфѣ въ семействѣ генерала Раевскаго. Эти три недѣли были счастливѣйшимъ временемъ его жизни. Здѣсь воспринялъ онъ цѣлый рядъ могущественнѣйшихъ впечатлѣній, глубоко вошедшихъ въ душу и опредѣлившихъ его будущую дѣятельность. Природа Крыма восхитила поэта, онъ очарованъ былъ ея моремъ, ея „стройными тополями“, „нѣжными миртами“ и темными кипарисами“.

„Суди, былъ-ли я счастливъ (писалъ онъ нѣсколько времени спустѣ брату) [1]): свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображенію, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго“.

„Я любилъ (писалъ поэтъ Дельвигу) [2]), проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое утро я посѣщалъ его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество“.

Впослѣдствіи, въ чудныхъ стихахъ одной изъ послѣднихъ главъ „Онѣгина“, Пушкинъ вспоминаетъ, какъ муза водила его „по брегамъ Тавриды“

слушать шумъ морской,
Немолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ Творцу міровъ.

О другѣ его кипарисѣ сложилось въ Крыму поэтическое

[1]) „Пушкинъ въ Южной Россіи“, г. Бартенева, (Русск. Арх. 1866 г.), стр. 1117.

[2]) Тамъ-же.

преданіе [1]), прекрасно пересказанное стихами Некрасовымъ (въ поэмѣ „Русскія женщины“):

Пушкина слѣдъ
Въ туземной легендѣ остался:
„Къ поэту леталъ соловей по ночамъ,
Какъ въ небо луна выплывала,
И вмѣстѣ съ поэтомъ онъ пѣлъ —и пѣвцамъ
Внимая, природа смолкала!
Потомъ соловей—повѣствуетъ народъ—
Леталъ сюда каждое лѣто:
И свищетъ, и плачетъ, и словно зоветъ
Къ забытому другу поэта!
Но умеръ поэтъ—прилетать пересталъ
Пернатый пѣвецъ... Полный горя,
Съ тѣхъ поръ кипарисъ сиротою стоялъ,
Внимая лишь ропоту моря...“
Но Пушкинъ надолго прославилъ его:
Туристы его навѣщаютъ,
Садятся подъ нимъ и на память съ него
Душистыя вѣтки срываютъ...

Остатки древняго греческаго искусства въ Крыму тоже сильно дѣйствовали на впечатлительную душу Пушкина. Объ этомъ упоминаетъ онъ въ письмахъ къ брату и Дельвигу и поэтически говоритъ въ стихотвореніи (1820 г.) „Чаадаеву“:

Къ чему холодныя сомнѣнья?
Я вѣрю: здѣсь былъ грозный храмъ,
Гдѣ крови жаждущимъ богамъ
Дымились жертвоприношенья;
Здѣсь успокоена была
Вражда свирѣпой Эвмениды:
Здѣсь провозвѣстница Тавриды
На брата руку занесла [2]).

---

[1]) Тамъ-же, стр. 1117—1118.

[2]) Кстати надо указать на одну ошибку Добролюбова. Стихотвореніе оканчивается такъ:

Чадаевъ, помнишь-ли былое?
Давно-ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ
На камнѣ, дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Критикъ (Соч. изд. 1871 г., т. I, стр. 526—527), отнеся стих—е къ концу

Въ домѣ Раевскихъ въ Юрзуфѣ нашлась старинная библіотека, въ которой Пушкинъ тотчасъ отыскалъ сочиненія Вольтера и началъ ихъ перечитывать [1]). Но Вольтеръ уже утратилъ свою прежнюю власть надъ нимъ.—Апол. Григорьевъ совершенно справедливо говоритъ, что подъ вліяніемъ классическаго міра чувственная струя въ Пушкинѣ стала перерождаться въ художественный пластицизмъ древности. Яркимъ свидѣтельствомъ этого могутъ служить напр. стихотворенія „Виноградъ“, „Нереида“.

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду.
Сокрытый межь оливъ, едва я смѣлъ дохнуть:
Надъ ясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую, какъ лебедь воздымала
И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

Исчезновенію чувственной струи изъ творчества Пушкина способствовало также начавшееся въ это время вліяніе на него Байрона и, главнымъ образомъ, зародившееся въ ту-же пору въ его душѣ возвышенное, идеально-чистое чувство любви къ какому-то неизвѣстному намъ лицу.

„Къ воспоминаніямъ о жизни въ Юрзуфѣ несомнѣнно относится (говоритъ г. Бартеневъ) [2]) тотъ женскій образъ, который безпрестанно является въ стихахъ Пушкина, чуть только онъ вспомнитъ о Тавридѣ, который занималъ его воображеніе три года сряду, преслѣдовалъ его до самой Одессы; и тамъ только смѣнился другимъ... Но то была святыня его души, которую онъ строго чтилъ и берегъ отъ чужихъ взоровъ... Мы не можемъ опредѣлительно указать на предметъ его любви; ясно однако, что встрѣтилъ онъ его въ Крыму и что любилъ безъ взаимности“.

Послѣдняя мысль біографа поэта болѣе чѣмъ сомнительна, равно какъ сомнительно и то, что именно этимъ чувствомъ вызваны приводимыя далѣе г. Бартеневымъ стихи: „Нереида“.

дѣятельности Пушкина, видитъ въ приведенныхъ стихахъ новое настроеніе поэта—примиреніе его съ житейской пошлостью; а между тѣмъ слова „иныя развалины“ и т. д. надо, по всей вѣроятности, понимать, какъ намекъ Пушкина на свои легкомысленныя петербургскія революціонныя стремленія, смирившіяся подъ вліяніемъ неудачъ и новыхъ впечатлѣній.

[1]) „Пушкинъ въ Юж. Рос.“, стр. 1115.

[2]) „Пушкинъ въ Юж. Рос.“. Стр. 1118.

Но несомнѣнно, что къ таинственно и свято любимой дѣвушкѣ относится элегія 1820 г. „Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда“. Здѣсь поэтъ обращается къ „вечерней звѣздѣ“:

Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ;
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ.
Я помню твой восходъ, знакомое свѣтило,
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мило,
Гдѣ стройно тополи въ долинахъ вознеслись,
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ,
И сладостно шумятъ таврическія волны.
Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердечной думы полный,
Надъ моремъ я влачилъ задумчивую лѣнь,
Когда на хижины сходила ночи тѣнь,
И дѣва юная во мглѣ тебя искала
И именемъ своимъ подругамъ называла.

Для печати поэтъ замѣнилъ въ одномъ стихѣ слово „таврическія“ словомъ „полуденныя“ и очень огорчился, когда помимо его вѣдома и воли на страницахъ „Полярной Звѣзды“ 1824 года появились и три послѣдніе стиха, которые онъ хотѣлъ сохранить въ тайнѣ. Онъ писалъ по этому случаю издателю названнаго альманаха, А. А. Бестужеву:

„Мнѣ случилось когда-то быть влюблену безъ памяти. Я обыкновенно въ такомъ случаѣ пишу элегіи, какъ другой... Богъ тебя проститъ, но ты осрамилъ меня въ нынѣшней „Звѣздѣ“, напечатавъ три послѣдніе стиха моей элегіи... Что-жъ она подумаетъ?.. Обязана-ли она знать, что она мною не названа... что элегія доставлена тебѣ Богъ знаетъ кѣмъ и что никто не виноватъ. Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ“ [1]).

Судя по первымъ словамъ этого отрывка изъ письма, любовь поэта уже—дѣло прошлое; послѣднія же слова свидѣтельствуютъ о другомъ: Пушкинъ и здѣсь хранитъ тайну. Послѣднія слова письма говорятъ намъ и о глубоко-серьезномъ характерѣ чувства поэта.—Должно быть тому-же лицу хотѣлъ посвятить онъ и недоконченныя стихотворенія:

На берегу, гдѣ дремлетъ лѣсъ священный,
    Твое я имя повторялъ;
Тамъ часто я бродилъ уединенный
И въ даль глядѣлъ... и милой встрѣчи ждалъ.

---

[1]) Тамъ-же, стр. 1119.

и потомъ другое:

... И чувствую, душа [моя]
Твоей любви, тебя достойна;
Зачѣмъ же не всегда [она]
Чиста, печальна и покойна?.. [1]).

Быть можетъ къ ней же, къ той же любимой женщинѣ, относится, судя по удивительной чистотѣ и ясной красотѣ содержанія и тона, написанная въ Юрзуфѣ элегія:

Увы, зачѣмъ она блистаетъ
Минутной, нѣжной красотой!
Она примѣтно увядаетъ
Во цвѣтѣ юности живой...
Увянетъ! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей,
Не долго радовать собою
Счастливый кругъ семьи своей,
Безпечной, милой остротою
Бесѣды наши оживлять.
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать.
Спѣшу въ волненьи думъ тяжелыхъ,
Сокрывъ уныніе мое,
Наслушаться рѣчей веселыхъ
И наглядѣться на нее.
Смотрю на всѣ ея движенья,
Внимаю каждый звукъ рѣчей,—
И мигъ единый разлученья
Ужасенъ для души моей [2]).

Но едва ли тому же лицу посвящены стихи:

О дѣва-роза, я въ оковахъ...

по крайней мѣрѣ чувство въ нихъ не такъ глубоко и тонъ ихъ почти шутливый, при всемъ его благородствѣ и при всей художественности формы стихотворенія.—Къ таинственной любви поэта въ Тавридѣ придется намъ вернуться еще не разъ: могучимъ потокомъ, яркимъ лучомъ прошла она по всей его жизни и по всей дѣятельности.

Исторія вліяла на Пушкина въ Крыму не только путемъ впечатлѣній отъ слѣдовъ античнаго искусства, а также и путемъ бесѣдъ съ старикомъ Раевскимъ. Въ послѣднемъ случаѣ это была уже исторія новая русская.

---

[1]) Соч. Пушкина. Изд. 1880 г. т. I. Стр. 326. „Отрывки“.

[2]) Г. Ефремовъ въ своихъ примѣчаніяхъ (въ I т. послѣд. изд. Соч. П—на) относитъ то стихотвореніе къ Еленѣ Ник. Раевской. Почему?

„Отъ Раевскаго онъ наслушался (говоритъ г. Бартеневъ) [1]) разсказовъ про Екатерину, XVIII вѣкъ, про наши войны и про 1812 годъ. Нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ были записаны Пушкинымъ и дошли до насъ, какъ важныя историческія черты и, въ то же время, какъ доказательства высокой любознательности поэта“.

Въ ту же пору сталъ влiять на Пушкина великiй англiйскiй писатель, тогдашнiй кумиръ Европы, Байронъ. Пушкинъ принялся, увлекшись его генiемъ, и за изученiе англiйскаго языка. Первый слѣдъ влiянiя Байрона мы видимъ на элегiи „Погасло дневное свѣтило“, которую самъ Пушкинъ первоначально озаглавилъ „Подражанiе Байрону“. Стихотворенiе это написано (по показанiю поэта въ письмѣ къ брату отъ 24 сент. 1820 г.) на морѣ дорогою въ Юрзуфъ. Оно свидѣтельствуетъ и о нравственномъ перерожденiи Пушкина. Поэтъ вспоминаетъ въ элегiи о своей прежней жизни, о столицѣ,

Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла

его

потерянная младость,

и дальше говоритъ:

Искатель новыхъ впечатлѣнiй,
Я васъ бѣжалъ, отечески края,
Я васъ бѣжалъ, питомцы наслажденiй,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперстницы порочныхъ заблужденiй,
Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, измѣнницы младыя,
Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной...

Поэтъ бросилъ порочныя увлеченiя; но въ душѣ его (по его словамъ) осталось прежнее чистое чувство:

...Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви ни что не измѣнило...

Нѣкоторые стихи этой элегiи — несомнѣнное подражанiе „прощальной пѣснѣ“ Чайльдъ-Гарольда, покидающаго берега Англiи:

---

[1]) „Рус. Арх.“ 1866 г. Стр. 1117.

Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь,
И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мило,
Желаній и надеждъ томительный обманъ...
Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ! [1])

Увлеченіе Пушкина страстнымъ, тревожнымъ, гордымъ чувствомъ поэзіи Байрона гармонируетъ съ увлеченіемъ грандіозной и могучей природой Кавказа и Крыма.

Для выясненія вліянія Байрона на Пушкина мы должны остановиться нѣсколько на характеристикѣ великаго европейскаго поэта.

Интересно сравнить мнѣнія о немъ двухъ критиковъ: французскаго—Тэна и нашего—Апол. Григорьева. Оба они согласны, что Байронъ — поэтъ личности, личнаго чувства; что его поэзія, затѣмъ, есть горячій протестъ противъ лицемѣрія и условной нравственности современнаго ему общества; и наконецъ, оба критика видятъ въ поэзіи Байрона тоску и отчаяніе. Но они глубоко расходятся въ объясненіи причинъ этихъ тоски и отчаянія.

Тэнъ говоритъ [2]), что чувства героевъ Байрона — это чувства самого поэта, и оттого онъ, въ сущности, создалъ только одного героя: Чайльдъ-Гарольдъ, Гяуръ, Корсаръ, Манфредъ, Сарданапалъ, Каинъ, Тассо, Данте и другіе— это одинъ и тотъ-же человѣкъ, только въ разныхъ костюмахъ, окруженный различными пейзажами. Характеристическія черты этого человѣка—„энергія и закаленная гордость"; съ ними стоитъ онъ одиноко, безъ всякой другой опоры,

„подъ вліяніемъ самыхъ страшныхъ несчастій, въ виду кораблекрушенія, пытки, смутъ, въ виду своей собственной медленной и болѣзненной кончины, горькой смерти самыхъ близкихъ его сердцу, съ сопутствующими ему всегда угрызеніями совѣсти, среди мрачной перспективы ожидающей вѣчности" [3]).

---

[1]) Соч. Байрона въ переводахъ русскихъ поэтовъ. Изд. подъ ред. Гербеля. Спб. 1874 г.—т. I, „Чайльдъ-Гарольдъ". Сравн. стр. 187—189.

[2]) См. „Критическіе опыты" Тэна. Перев. подъ ред. В. Чуйко. Спб. 1869 г. Статья о „Лордѣ Байронѣ". Стр. 379—380.

[3]) Тамъ-же, стр. 395.

Этотъ герой — самъ поэтъ. Байронъ „былъ слишкомъ погруженъ въ самого себя, чтобъ заняться кѣмъ-нибудь другимъ“. Себя-же свою-же, личность, кромѣ лирическихъ изліяній, выражалъ онъ и въ происшествіяхъ и въ дѣйствіяхъ своихъ произведеній. „Среди происшествій онъ искалъ самыхъ могучихъ, среди дѣйствій—самыхъ сильныхъ“ [1]).

Выше всѣхъ поэмъ Байрона Тэнъ ставитъ поэму „Манфредъ“, которую называетъ „младшей сестрою величайшей поэмы нынѣшняго столѣтія—Фауста Гете“ [2]). Французскій критикъ сравниваетъ два произведенія и двухъ поэтовъ.

Гёте въ своемъ „Фаустѣ“ (говоритъ онъ) „заботливо, нѣжно идетъ по слѣдамъ старыхъ обычаевъ и старыхъ вѣрованій“. Но въ сущности онъ скептикъ; главный смыслъ его поэмы — въ скрытой въ ней идеѣ, идеѣ, которая все изображаемое поэтомъ разлагаетъ и анализируетъ; цѣль Гёте—понять преданіе, понять жизнь.

Въ этомъ отношеніи „Манфредъ“ Байрона гораздо ниже: англійскій поэтъ изобразилъ прекрасно въ своемъ произведеніи только себя, только свою личность. Но зато эта личность грандіозна и могущественна въ сравненіи съ Фаустомъ, какъ человѣкомъ, а не выраженіемъ человѣчества, или человѣческой анализирующей мысли. Какъ человѣкъ, какъ герой, Фаустъ представляется намъ исполненнымъ внутреннихъ противорѣчій, безхарактернымъ, чуждымъ всякаго дѣла, только изучающимъ оттѣнки своихъ чувствъ, даже болтуномъ и трусомъ. У него нѣтъ воли; это — нѣмецкій характеръ. Совсѣмъ другое—Манфредъ. Основа души его—непоколебимая воля.

„Я, непоколебимое я, удовлетворяющее самого себя, надъ которымъ ничто не имѣетъ власти, ни демоны, ни люди, единственный творецъ собственнаго добра и собственнаго зла, нѣчто въ-родѣ страдающаго и падшаго бога“ [3]). По замѣчанію духовъ въ поэмѣ, онъ въ силахъ превозмочь волей невыносимыя страданія.

если бы какъ духи былъ онъ созданъ.
То сталъ бы величайшимъ самымъ духомъ.

Поэтъ личности, поэтъ воли, Байронъ — истинный на-

---

[1]) Тамъ-же, стр. 380, 389. [2]) стр. 402. [3]) стр. 416—417.

родный писатель, выразитель англійскаго характера; между тѣмъ какъ Гете — настоящій представитель германской національности.

Другая характерная черта поэзіи Байрона—протестъ противъ лицемѣрной, условной нравственности англійскаго и вообще европейскаго общества.

Этотъ протестъ съ наибольшею силой выразился въ романѣ „Донъ-Жуанъ". Здѣсь Байронъ борется съ англійской чопорностью и педантствомъ и съ человѣческою ложью вообще. Онъ какъ-бы говоритъ обществу своимъ созданіемъ:

„существуетъ цѣлый міръ рядомъ съ вашимъ... Ваши правила узки и ваше педантство деспотично; человѣческое дерево можетъ развиваться иначе, не только въ вашихъ клѣткахъ и подъ вашими снѣгами " [1]).

Англійская чопорность была возмущена скандальнымъ выборомъ героя. Но ужаснѣе всего въ романѣ то, что этотъ герой, Донъ-Жуанъ, „вовсе не золъ, не эгоистъ, не гадокъ, какъ его собратья. Онъ не соблазняетъ, онъ не развратникъ"; онъ только „при удобномъ случаѣ отдается своему чувству", потому что „у него есть сердце и нервы [2]). „Главный-же ядъ книги (продолжаетъ Тэнъ) въ томъ, что рядомъ съ Донъ-Жуаномъ вы имѣете донну Джулію, Гаиде, Гюльбею, Дуду и проч.". Въ любовныхъ похожденіяхъ этихъ лицъ съ героемъ явилась красота, а „развѣ найдется предметъ, котораго-бы красота не обоготворяла?.. То, что было грубо, дѣлается благородно" подъ ея рукой. Что на все это скажутъ „ходящіе въ бѣлыхъ галстухахъ? Во всякомъ случаѣ читать нужно, не смотря на всю досаду"... [3]).

Другой смыслъ романа „Донъ-Жуанъ", это—выраженіе разочарованія поэта въ человѣкѣ, выраженіе его отчаянья. Байронъ понялъ жизнь—и „мечты его юношескаго воображенія испарились". Онъ понялъ, что въ человѣкѣ не изобилуетъ возвышенное, что великія чувства, напримѣръ чувства Чайльдъ-Гарольда, не представляютъ „обыденную нить жизни".

„Истина состоитъ въ томъ, что человѣкъ лучшую часть времени употребляетъ на ѣду, спанье, зѣванье, утомитель-

---

[1]) Тамъ-же, стр. 427. [2]) стр. 424. [3]) стр. 426.

ную работу и на удовольствія обезьяны. Это — животное; за исключеніемъ двухъ-трехъ исключительныхъ минутъ имъ водятъ его нервы, кровь, инстинкты“ [1])

„Цивилизація, воспитаніе, размышленіе, здоровье покрываютъ насъ своими ровными лакированными покрывалами; снимите ихъ другъ за другомъ, или всѣ разомъ, и тогда мы судорожно расхохочемся, увидѣвши, что подъ ними скрывается скотъ“ [2]).

Животныя отправленія и потребности изгоняютъ изъ человѣка возвышенныя, или духовныя чувства и стремленія. Потому поэтъ въ романѣ обращается (съ отчаянья) въ скептика и даже циника. (Таковъ, напр., онъ, когда утверждаетъ, „что Пенелопа только потому такъ извѣстна, что единственна въ своемъ родѣ“). Байронъ разрушаетъ и осмѣиваетъ въ своемъ романѣ все содержаніе человѣческой жизни, не пощадивши даже, самъ поэтъ, и поэзію.

„Онъ находитъ вѣнецъ своего таланта и успокоеніе своему сердцу только въ поэмѣ, вооруженной противъ всѣхъ человѣческихъ и поэтическихъ условій“.

Среди этихъ обломковъ остается только онъ самъ‘ одинъ,—сильная и необузданная личность.

Такая жизнь, когда человѣкъ „хохочетъ среди слезъ“— признакъ болѣзни. Она ведетъ или къ сумасшествію, или къ отвращенію отъ бытія [3]). Съ Байрономъ случилось последнее.—Тэнъ называетъ Байрона „одною изъ славнѣйшихъ жертвъ болѣзни вѣка“. А этой болѣзнью вѣка считаетъ онъ идею, будто „существуетъ какая-то уродливая дисгармонія между частями нашей организаціи и что этой дисгармоніей испорчена вся судьба человѣка“ [4]), говоря проще, что существуетъ противорѣчіе въ человѣкѣ между тѣломъ и духомъ.

Байронъ запутался въ этой идеѣ, какъ путались до сихъ поръ всѣ мы, потому что (объясняетъ Тэнъ) „брали учителями пророковъ и поэтовъ и, какъ они, считали непреложной истиной благородныя мечты нашего воображенія и порывистыя внушенія нашего сердца“. Дѣло можетъ поправить, по мнѣнію критика, наука, которая теперь вышла изъ „міра звѣздъ, камней и растеній“ и сдѣлала своимъ предме-

---

[1]) стр. 430. [2]) стр. 432—434. [3]) Тамъ-же, стр. 435—438. [4]) 439.

томъ человѣка. Наука же приводитъ къ тому заключенію, что „человѣкъ не выкидышъ и не уродъ"; нечего „издѣваться надъ нимъ и проклинать его"; а надо посмотрѣть лучше—какъ онъ „возникаетъ и какъ растетъ", и мы поймемъ, что

„онъ такой же продуктъ, какъ и всякій другой предметъ, и въ силу этого имѣетъ свою причину быть такимъ, какимъ есть [1])... Въ этомъ пониманіи вещей (самоувѣренно и самодовольно заключаетъ французскій писатель) лежитъ новое искусство, нравственность, политика, религія" [2]).

Русскій критикъ глубже посмотрѣлъ на причины горькой ироніи и отчаянья Байрона [3]) Аполлонъ Григорьевъ такъ объясняетъ поэта: Байронъ „ненавидѣлъ маску ханжества и лицемѣрія, и потому

„все, что дотолѣ, т. е. до байронизма, нѣкоторымъ образомъ скрывалось или порицалось, порицалось даже и тѣми, которые не вѣрили ни во что святое: безбожіе, эгоизмъ, сухая гордость, злобная иронія къ людямъ, безстыдство отношеній къ женщинамъ,—все то, однимъ словомъ, что прежде выступало подъ благопристойною маскою самой чинной нравственности... все это явилось, безъ маски въ байронизмѣ и прямо сказало міру: поклоняйся мнѣ откровенному, какъ ты доселѣ поклонялся мнѣ прикрытому".

Байронъ сказалъ это въ своей поэзіи съ искреннимъ увлеченіемъ, потому что самъ былъ „развращенъ ученіями и опытами вѣка". Но въ то-же время поэтическая натура его не могла (именно потому, что поэтическая) „принять спокойно обоготвореніе эгоизма", и это выразилось въ немъ „тоской или иронієй".

„Можно сказать (прибавляетъ критикъ), что самая крайность неправды была слѣдствіемъ правдивости и поэтичности натуры Байрона... поэтъ, чѣмъ носить маску, готовъ былъ лучше клеветать на самого себя: таковъ онъ, когда смѣется своимъ сатанинскимъ хохотомъ надъ тѣмъ, что матросы съѣли Донъ-Жуанова учителя; таковъ онъ, поющій неистовый гимнъ чувственности по поводу любви Донъ-

---

[1]) 439. [2]) стр. 439—441. [3]) Соч. Апол. Григорьева, т. I, „О правдѣ и искренности въ искусствѣ. По поводу одного эстетическаго вопроса. Письмо къ А. С. Хомякову". Стр. 154 и слѣд.

Жуана и Гайде; таковъ онъ въ анализѣ отношеній леди Аделины къ Жуану. Все это—напряженіе, клевета на самого себя и на душу человѣческую".

Въ поэзіи Байрона была правда, была и неправда, и „стало быть безнравственность по стольку, по скольку неправда". Сила его и истина въ его энергіи, въ могуществѣ его личности.

„Доколѣ человѣчество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбленіе и жажду мести, стенать посреди мукъ и гордо подымать голову предъ сѣкирою палача—до тѣхъ поръ оно будетъ жадно читать и Гяура, и исповѣдь Уго передъ казнію въ „Паризинѣ". Доколѣ живетъ въ человѣческомъ духѣ необузданное стремленіе, готовое иногда ломать всѣ преграды, полагаемыя условнымъ общежитіемъ, дотолѣ будутъ обаятельно дѣйствовать на людей мрачные образы Корсара, Лары, Чайльдъ-Гарольда, Альпо и иныхъ чадъ мятежной души поэта".

Байронъ былъ „пламенный поэтическій протестъ личности противъ всего условнаго въ окружавшемъ его общежитіи". Великая сила его—въ его тоскѣ и ироніи.

Но съ другой стороны въ нихъ же, въ этихъ тоскѣ и ироніи, и его слабость, потому что онѣ—„горестный плачъ объ утраченныхъ и необрѣтаемыхъ идеалахъ".

„Въ Байронѣ очевидна (говоритъ критикъ далѣе) не безнравственность, а отсутствіе нравственнаго идеала, протестъ противъ неправды безъ сознанія правды. Байронъ поэтъ отчаянія и сатанинскаго смѣха, потому только, что не имѣетъ нравственнаго полномочія быть поэтомъ честнаго смѣха, комикомъ, ибо комизмъ есть правое отношеніе къ неправдѣ жизни во имя идеала, на прочныхъ основахъ покоящагося".

У Байрона не было цѣлостнаго взгляда на жизнь и людей, и потому онъ лишенъ былъ „возможности суда надъ жизнію", онъ не могъ быть поэтомъ эпическимъ или драматическимъ, „вообще быть чѣмъ либо, кромѣ поэта лирическаго".

Но во всякомъ случаѣ (говоритъ критикъ) онъ „можетъ быть судимъ только съ высшей точки зрѣнія христіанскаго суда, но не съ точки зрѣнія нравственности того общежитія, котораго муза его была казнію"...

Отсутствіе идеала, во имя котораго можно бы спокойно судить жизнь, Аполлонъ Григорьевъ указываетъ не только у Байрона, но и у другихъ великихъ европейскихъ поэтовъ, за исключеніемъ Шекспира и Данте. Не только Байронъ казнилъ „прикрытую мишурной хламидой безнравственность“ безнравственностью же; но такъ поступали на западѣ и другіе. Шиллеръ, напр.,

„вмѣсто того, чтобы, какъ нашъ Гоголь въ „Ревизорѣ“, смѣлою кистью начертать картину вопіющихъ неправдъ жизни, предпочитаетъ возстать на зло зломъ же, на безнравственность безнравственностью же, на мѣщанство страшною утопіею „Разбойниковъ“. И замѣтьте (прибавляетъ нашъ критикъ очень глубокое замѣчаніе), что тотъ же самый образъ, который Шиллеръ сначала явилъ разбойникомъ Мooромъ, является потомъ въ свѣтлыхъ призракахъ Позы, Іоганны и Телля“.

Точно также и Гете:

„вмѣсто того, чтобы просто насмѣяться въ комической картинѣ надъ мѣщанской нѣмецкой семейностью, какъ наприм. насмѣялись надъ семейнымъ безобразіемъ наши комики во имя прочнаго идеала семейственности, Гете создаетъ безнравственную утопію въ своихъ „Wahlverwandschaften“.

Интересно сопоставить и сравнить приведенныя мнѣнія двухъ писателей.—Очевидно, Тэнъ, при всемъ остроуміи и даже глубинѣ своихъ частныхъ замѣчаній, неправъ въ основной своей идеѣ. Отчаянье Байрона онъ объясняетъ увлеченіемъ поэта и общества ошибочной мыслью о противорѣчіи въ человѣкѣ духа и тѣла. Нельзя не назвать наивнымъ мнѣніе критика, будто эта ошибка произошла оттого, что люди ввѣрялись руководству пророковъ и поэтовъ: неосновательныхъ этихъ людей Тэнъ считаетъ не болѣе, какъ благородными мечтателями. Точно также наивна увѣренность критика, будто въ настоящее время наука доказала отсутствіе этого противорѣчія и объяснила, какъ человѣкъ „возникаетъ и какъ растетъ“. Въ этомъ своемъ увлеченіи могуществомъ современной науки критикъ самъ оказался „мечтателемъ“.

Апол. Григорьевъ объясняетъ горькую иронію Байрона проще и глубже—отсутствіемъ у поэта положительныхъ

идеаловъ, которые не могутъ быть замѣнены подставленною на ихъ мѣсто своею личностью.

Нашъ критикъ, признавая поэтовъ натурами по преимуществу гармоническими и цѣльными, характеризуя Байрона, приводитъ мнѣніе о немъ поэтовъ, главнымъ образомъ Пушкина, съ которымъ вполнѣ и соглашается.

„Пушкинъ (говоритъ онъ) представлялъ себѣ этого „властителя думъ" своего поколѣнія въ видѣ моря, обращаясь къ послѣднему:

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ...
Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,
Какъ ты могучъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты ничѣмъ не укротимъ.

Въ другихъ случаяхъ онъ называетъ его „поэтомъ гордости" („какъ Байронъ гордости поэтъ"), и разумѣетъ глубоко значеніе его поэзіи, равно какъ и самый ея источникъ:

Лордъ Байронъ прихотью удачной
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ".

Соглашась съ мнѣніями Пушкина и Апол. Григорьева, вѣрно указавшихъ въ Байронѣ и великое значеніе его личной энергіи, и его гордость и эгоизмъ, и его отчаянье и тоску по утраченнымъ идеаламъ, должно однако сказать, что и критикъ и поэтъ пропустили одну черту творчества „великаго властителя думъ" своего поколѣнія, или (по крайней мѣрѣ) мало на эту черту обратили вниманія.

Когда человѣкъ сосредоточивается на своей личности, потому ли, что не хочетъ принять обще-человѣческихъ, возвышенныхъ идеаловъ, потому-ли, что не умѣетъ найти ихъ, или наконецъ потому, что не можетъ найти ихъ, такъ какъ они утрачены самою жизнью, тогда онъ, конечно, ищетъ опоры своему нравственному и умственному бытію въ своей личной энергіи и волѣ. Но тутъ и кроется для него опасность. Тэнъ увлекается, думая вмѣстѣ съ Байрономъ, будто его герой (въ частности Манфредъ) такъ силенъ, что можетъ побѣдить своею личною волей невыносимыя страданья. Личность вовсе не такъ могущественна въ своемъ одинокомъ бытіи. Она невольно и безсознательно

ищетъ опоры себѣ въ общемъ. За отсутствіемъ таковой въ жизни духовной, она находитъ ее въ жизни внѣшней природы. Отсюда глубокое сочувствіе героевъ Байрона и самого творца ихъ съ природой. А такъ какъ одною стороной своей человѣкъ принадлежитъ внѣшнему міру, то личность и начинаетъ искать себѣ успокоенія и счастья въ этой сторонѣ бытія. Трагическая черта величайшаго произведенія Байрона—романа „Донъ-Жуанъ"—въ томъ и состоитъ, что чувственная жизнь героя изображена тамъ какъ нѣчто идеально-прекрасное, хотя по временамъ у поэта и мелькаетъ свѣтлое сознаніе о всемъ ужасѣ такого положенія. Тэнъ тонко подмѣтилъ въ романѣ и то, и другое; но онъ счелъ ошибкой поэта то, что въ сущности и есть въ немъ истинно-поэтично и возвышенно.

Пушкину, не замѣтившему чувственной черты Байрона (такъ тѣсно связанной въ его поэзіи съ эгоизмомъ и гордостью, со звѣрствомъ многихъ его героевъ), пришлось потомъ, какъ увидимъ, на себѣ, на своей впечатлительной натурѣ испытать ея тяжелое вліяніе.

Но въ эпоху, о которой идетъ рѣчь, поэтъ нашъ подвергся дѣйствію не этой, а свѣтлой стороны байронизма.

2.

Байронизмомъ проникнута поэма „Кавказскій плѣнникъ". Написана она въ Кишиневѣ. Въ сентябрѣ 1820 г. Пушкинъ пріѣхалъ въ Кишиневъ и отсюда черезъ полгода (въ мартѣ 1821 г.) писалъ Дельвигу, что кончилъ новую поэму „Кавказскій плѣнникъ" [1]). Впрочемъ окончательно отдѣлана она была въ имѣніи Давыдовыхъ Каменкѣ, гдѣ поэтъ гоститъ въ февралѣ 21 года; а начата значительно ранѣе, еще на Кавказѣ [2]). Въ ней и выразились кавказскія впечатлѣнія поэта.

Поэма эта можетъ быть названа еще дѣтски-незрѣлымъ произведеніемъ; въ ней еще нѣтъ художественно очерченныхъ характеровъ; но отъ нея вѣетъ такимъ молодымъ, прекраснымъ, живымъ и горячимъ чувствомъ, что обаяніе

---

[1]) Матер. г. Анненкова. Стр. 75—76.

[2]) По свидѣт. г. Ефремова. См. Соч. Пушкина т. I, стр. 552.

ея на читателя неотразимо и теперь, послѣ цѣлаго ряда безконечно высшихъ созданій Пушкина. Въ этомъ смыслѣ она противоположна „Руслану и Людмилѣ": самъ Пушкинъ впослѣдствіи, совершенно справедливо, назвалъ холодной свою первую поэму [1]).

„Кавказскій плѣнникъ" написанъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ первыхъ двухъ пѣсенъ „Чайльдъ-Гарольда". Поэма сходна съ романомъ Байрона и по характерамъ героевъ, и по содержанію. И Плѣнникъ, и Гарольдъ—оба покидаютъ родину, разочаровавшись въ своей прошлой жизни, утомленные ея бурями; обоимъ имъ нравится дикая природа и жизнь дикаго племени. Пушкинъ разсказываетъ, какъ его герой любовался дикой природой Кавказа; съ художественной силой нарисовавши картину грозы, поэтъ говоритъ:

А плѣнникъ съ горной вышины
Одинъ, за тучей громовою,
Возврата солнечнаго ждалъ,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.

Точно также и герой Байрона [2]) любилъ

Бродить межь пропастей по скаламъ,
Всходить до самыхъ облаковъ,
Жить межь народомъ одичалымъ,
Не знавшимъ рабства и оковъ,
Слѣдить въ горахъ за дикимъ стадомъ,
Съ нимъ уходить въ дремучій боръ,
Сидѣть склонясь надъ водопадомъ,
Жить безъ людей въ ущельяхъ горъ,
Спускаться къ пропастямъ глубокимъ...

Вниманіе Пушкинскаго Плѣнника привлекалъ чудный народъ, къ которому онъ попалъ въ неволю.

Межь горцевъ плѣнникъ наблюдалъ
Ихъ вѣру, нравы, воспитанье,
Любилъ ихъ жизни простоту,
Гостепріимство, жажду брани,
Движеній вольныхъ быстроту,
И легкость ногъ, и силу длани...

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. 1881 г. т. V, стр. 132.

[2]) Соч. Лорда Байрона въ перев. рус. поэтовъ, изд. подъ ред. Н. В. Гербеля, т. I, Спб. 1874 г.—„Чайльдъ-Гарольдъ", пѣснь II, строф. XXV.

Съ увлеченіемъ разсказываетъ поэтъ далѣе о гостепріимствѣ горцевъ,—и точно также Байронъ говоритъ о гостепріимствѣ суліотовъ, къ скаламъ которыхъ буря принесла корабль Гарольда. Сходство идетъ до мелочей: Байронъ приводитъ воинственную пѣснь суліотовъ—у Пушкина есть воинственная пѣснь горцевъ.

Но главное сходство произведеній—въ обрисовкѣ характеровъ героевъ.

Плѣнникъ Пушкина отличается энергіей, гордой смѣлостью, страстнымъ увлеченіемъ, любовью къ свободѣ. Гордо началъ онъ на родинѣ „пламенную младость", „много милаго любилъ", узналъ „грозное страданье". Но скоро онъ разочаровался въ жизни,—ему опротивѣли ложь и пошлость общества. Онъ

бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердце заключилъ.
Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ —
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну,
Въ мечтахъ любви безумный сонъ!
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы, —
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ,
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Вмѣсто свободы судьба судила ему неволю; но, отличаясь самообладаніемъ, онъ гордо скрываетъ свои муки.

Тоску неволи, жаръ мятежный
Въ душѣ глубоко онъ скрывалъ
. . . .
Таилъ въ молчаньи онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на челѣ его высокомъ
Не измѣнялось ничего.
Безпечной смѣлости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили вѣкъ его младой
И шопотомъ между собой
Своей добычею гордились.

Таковъ и Гарольдъ Байрона, бурно проведшій свою момодость, много пережившій и испытавшій и наконецъ разочаровавшійся въ людяхъ и уѣхавшій изъ родной страны за „гордымъ призракомъ свободы".

Плѣнника полюбила молодая дикарка-черкешенка; но много извѣдавшій и разочарованный, онъ не можетъ отвѣчать на ея чувство. Когда она открыла ему свое сердце,

онъ съ безмолвнымъ сожалѣньемъ
На дѣву страстную взиралъ,
И полный тяжкимъ размышленьемъ
Словамъ любви ея внималъ...

Увядающая „жертва страстей", мученикъ „несчастной любви", „ужасной душевной бури", онъ высказалъ ей горькое сожалѣнье—

Несчастный другъ, зачѣмъ не прежде
Явилась ты моимъ очамъ,
Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надеждѣ
И упоительнымъ мечтамъ!
Но поздно, умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетѣлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья,
Для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ...

То-же случилось и съ Гарольдомъ Байрона: встрѣтившись съ симпатичной ему женщиной, онъ сожалѣетъ о невозможности полюбить ее:

„Флоранса! еслибъ сердце это
Я для любви не схоронилъ,
Тогда-бъ, повѣрь, любовь поэта
Къ ногамъ твоимъ я положилъ
Но ты не можешь быть моею:
У насъ различные пути —
И это чувство принести
На твой алтарь я не посмѣю;
Тебя не смѣю я будить,
Чтобъ ты могла меня любить".
Такъ думалъ Чайльдъ, смотря безстрастно
Въ глаза Флорансы. Онъ лишь могъ
Ей удивляться безопасно,
Спокойно, тихо, безъ тревогъ.

Богъ любви не могъ коснуться его,—потому что сознавалъ

Потерю прежней сильной власти
Надъ сердцемъ, гдѣ одна тоска
Была сильна и глубока.

Таково сходство произведеній двухъ поэтовъ. Но есть между ними и различіе, и притомъ такое большое различіе, которое позволяетъ сказать, что съ „Кавказскаго плѣнника“ начался періодъ самобытнаго творчества Пушкина [1]).

Вліяніе Байрона на него было сильно; но нельзя не признать, что это было не подчиненіе англійскому поэту, — увлекаясь Байрономъ и даже подражая ему, Пушкинъ въ то-же время, по справедливому замѣчанію Апол. Григорьева, боролся съ байронизмомъ.

Борьба эта выразилась прежде всего сомнѣніемъ нашего поэта въ полной искренности разочарованія Плѣнника. Байронъ не сомнѣвался въ разочарованности своихъ героевъ. Пушкину представляется, въ противоположность Байрону, что человѣческая душа не такъ скоро умираетъ для жизни:

Не вдругъ увянетъ наша младость,
Не вдругъ восторги бросятъ насъ,
И неожиданную радость
Еще обнимемъ мы не разъ.

Безсознательно вѣрный правдѣ, поэтъ изображаетъ противорѣчія въ словахъ и дѣйствіяхъ своего героя: Плѣнникъ говоритъ Черкешенкѣ о своемъ охлажденіи къ жизни, о своей невозможности чувствовать и любить, и въ то-же время горячо отвѣчаетъ на ея лобзанія, т. е. значитъ его разочарованіе — напускное, и онъ имъ рисуется. — Но справедливость требуетъ замѣтить, что Пушкинъ возстаетъ про-

---

[1]) Въ поэмѣ можно, впрочемъ, еще подмѣтить даже слѣды вліянія Жуковскаго, въ описаніи быта горцевъ: стихи —

На немъ броня, пищаль, колчанъ,
Кубанскій лукъ, кинжалъ, арканъ,
И шашка, вѣчная подруга
Его трудовъ, его досуга.

и далѣе:

Его богатство—конь ретивый,
Питомецъ горскихъ табуновъ... и проч.

напоминаютъ слова Жуковскаго о горцахъ въ „Посланіи Воейкову“:

Пищаль, кольчуга, сабля, лукъ,
И конь-соратникъ быстроногій, —
Ихъ и сокровища и боги.

(Соч. Жуковскаго, послѣд. изд., т. I, стр. 323). За это указаніе приношу благодарность Ѳ. А. Витбергу. — Но это вліяніе чисто внѣшнее, ограничивающееся мелкими частностями.

тивъ байронизма еще только инстинктивно,—сомнѣнія его въ своемъ героѣ нерѣшительны и робки; такъ, онъ не осуждаетъ Плѣнника за его отношенія къ полюбившей его дѣвушкѣ, а напротивъ сочувствуетъ ему, даже сожалѣетъ' что ему

Тяжко мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвѣчать,
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встрѣчать.

Поэтъ не видитъ эгоизма въ словахъ Плѣнника:

Когда такъ медленно, когда такъ нѣжно
Ты пьешь лобзанія мои
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно...
. . . .
Я вижу образъ вѣчно милый,
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю,
Тебѣ въ забвеньи предаюсь —
И тайный призракъ обнимаю.

Но съ другой стороны, какъ человѣкъ русскій, какъ юноша, полный жизни и вѣры въ жизнь, какъ чуткій художникъ, Пушкинъ, противорѣча себѣ, заставляетъ въ концѣ поэмы своего героя, освобожденнаго Черкешенкой, ожить духомъ отъ напускнаго разочарованія и воскликнуть задушевныя слова:

Я твой на вѣкъ, я твой до гроба!
Ужасный край оставимъ оба,
Бѣги со мной! . . . .
. . . .
Къ Черкешенкѣ простеръ онъ руки,
Воскресшимъ сердцемъ къ ней летѣлъ

(повѣтствуетъ поэтъ)

И долгій поцѣлуй разлуки
Союзъ любви запечатлѣлъ.

Интересно въ двухъ послѣднихъ стихахъ наивное противорѣчіе словъ „разлука" и „союзъ любви": Пушкинъ все-таки помнитъ, что его герой долженъ быть подобенъ Гарольду, твердому, холодному, непреклонному Гарольду, неспособному поддаться очарованію новаго чувства и новой жизни. Пушкинъ самъ не знаетъ—вѣритъ онъ или не вѣритъ, что

въ душѣ Плѣнника живетъ съ прежнею силой, старое чувство, горькій слѣдъ несчастной любви.

Сильнѣе сказалась самобытность русскаго поэта въ созданіи характера Черкешенки. У Байрона такого характера нѣтъ. Должно признать, однако, что Пушкинымъ могло быть заимствовано изъ „Донъ-Жуана" внѣшнее положеніе — встрѣча героя съ дѣвушкой, взросшей среди природы и полюбившей его безъискусственной, наивной любовью. (Такъ Гаиде полюбила Донъ-Жуана) [1]). Могла быть заимствована у Байрона (именно изъ „Корсара") и внѣшняя сторона отношеній главныхъ лицъ поэмы Пушкина: Черкешенка освобождаетъ Плѣнника, какъ Гюльнара освободила Корсара, и обѣ онѣ съ болью сердца высказываютъ любимому человѣку, что возвращаютъ его той, кого онъ любитъ.

Найди ее, люби ее,
О чемъ-же я еще тоскую,
О чемъ уныніе мое?
Прости!

Такъ говоритъ Черкешенка. И то-же высказываетъ Корсару Гюльнара:

Я возвращу тебя твоей подругѣ страстной.
Сгарающей къ тебѣ любовью той прекрасной,
Которой никогда мнѣ, бѣдной не узнать!
Прости!.... [2])

Внѣшнее сходство въ событіяхъ произведеній двухъ поэтовъ несомнѣнно... Но какая разница разница въ характерахъ Гюльнары и Черкешенки! Героиня англійскаго поэта вся проникнута тревожнымъ, мутно-страстнымъ, далеко не чистымъ чувствомъ, изъ-за котораго она готова даже на преступленіе; она рѣшается убить своего владыку пашу, чтобы только освободить милаго; она говоритъ:

О! моя душа уже не та,
Какой была досель. На-вѣки проклятà,
Убитая тоской, сраженная презрѣньемъ,
Она отнынѣ жить должна лишь зломъ и мщеньемъ [3]).

---

[1]) Описаніе душевныхъ страданій Черкешенки не могло быть заимствовано Пушкинымъ изъ этого романа, такъ какъ страданія Гаиде разсказываются въ 3 пѣснѣ „Донъ-Жуана", вышедшей въ свѣтъ позже „Кавк. Плѣн." (и именно въ авг. 21 г.).

[2]) Соч. Байрона въ пер. рус. поэтовъ, т. III, стр. 39.

[3]) Тамъ-же, стр. 50.

Черкешенка Пушкина — существо дѣтски-чистое, добродушное, все просвѣтленное поэзіей первой любви. Знакомство ея съ Плѣнникомъ началось съ того, что она пожалѣла узника, принесла ему „кумысъ прохладный", стала утѣшать его... Чувство ея, глубоко нѣжное, въ то-же время полно энергіи; душа ея—сильная, вольная, независимая.

Плѣнникъ милый

(говоритъ она)

Развесели свой взоръ унылый,
Склонились главой ко мнѣ на грудь,
Свободу, родину, забудь.
Скрываться рада я въ пустынѣ,
Съ тобою, царь души моей!

Она знаетъ, что ей грозитъ горькая участь быть проданной въ чужой аулъ; но она не поддастся насилію: если не умолитъ родныхъ, такъ „найдетъ кинжалъ или ядъ". — При всей силѣ своего чувства, она, владѣя собой, способна на самоотверженіе. Когда Плѣнникъ разсказалъ ей о своихъ страданіяхъ, о любви своей, закончивъ повѣсть пошлымъ и самодовольнымъ утѣшеньемъ (такъ оскорбительнымъ для ея искренняго и глубокаго чувства):

Недолго женскую любовь
Печалитъ хладная разлука:
Пройдетъ любовь, настанетъ скука—
Красавица полюбитъ вновь,

она разлилась было въ упрекахъ ему —

Ахъ, русскій, русскій, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебѣ на вѣкъ я предалася!

но закончила свои жалобы возвышенно благородными словами:

Но кто-жь она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь русскій? ты любимъ?..
Понятны мнѣ твои страданья...
Прости-жь и ты мои рыданья...
Не смѣйся горестямъ моимъ.

Когда освобожденный Плѣнникъ, позабывъ свое разочарованіе, увлекается ею и предлагаетъ ей бѣжать съ нимъ, *она* отвѣчаетъ:

Нѣтъ, русскій, нѣтъ!
Она исчезла, жизни сладость,—
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропалъ и слѣдъ.
Возможно-ль, ты любилъ другую!..
Найди ее, люби ее. . . . .
. . . .
Прости! любви благословенье
Съ тобою будетъ каждый часъ.
Прости—забудь мои мученья,
Дай руку мнѣ... въ послѣдній разъ.

Ей не надо неполнаго, сомнительнаго чувства, она не можетъ повѣрить Плѣннику, и твердо отвергаетъ его увлеченіе. Если-же въ ея жалобахъ на судьбу, прорываются слова: „ты могъ-бы обмануть мою неопытную младость“, то ихъ надо понимать не буквально,—они ничто иное, какъ стонъ сожалѣнія внезапно разбитаго сердца о невозможности счастья, на которые ему подавали надежды.

Черкешенка утопилась. Можетъ быть въ этомъ эффектномъ заключеніи ея романа выразилась неопытность, незрѣлость таланта поэта; но въ немъ сказался также и идеализмъ молодой души, оскорбленной въ своихъ лучшихъ вѣрованіяхъ и чувствахъ. — Пушкинъ, увлекаясь Байрономъ, не можетъ еще сознательно осудить своего Плѣнника; не можетъ еще понять, что сердце его больше лежитъ къ Черкешенкѣ, чѣмъ къ герою поэмы; но невольно инстинктивно правда прорвалась у него въ вдохновенныхъ стихахъ, непосредственно слѣдующихъ за исповѣдью Плѣнника полюбившей его дѣвушкѣ:

Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдая,
Сидѣла дѣва молодая.
Туманный, неподвижный взоръ
Безмолвный выражалъ укоръ.

И глубоко правдивъ былъ этотъ безсознательный, дѣтскій укоръ эгоисту, рисующемуся своимъ разочарованіемъ и для этого заглушающему въ своей душѣ дѣйствительное чувство, которому онъ не могъ вначалѣ противостоять и которое онъ потомъ подавилъ въ себѣ, разбивши по дорогѣ чужое сердце.

Новая поэма Пушкина, въ которой молодой писатель сдѣлалъ такой большой шагъ впередъ по пути своего художественнаго развитія, конечно должна была произвести

сильное впечатлѣніе на общество. Въ одной изъ своихъ критическихъ замѣтокъ позднѣйшаго времени (1830 г.) Пушкинъ говоритъ о „Кавказскомъ Плѣнникѣ“: „Первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принятъ лучше всего, что я ни написалъ, благодаря нѣкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ“ [1]). Есть и одно, чисто внѣшнее обстоятельство, которое свидѣтельствуетъ о томъ, какой большой успѣхъ имѣлъ „Кавказскій плѣнникъ“. Первое изданіе этой поэмы, еще неизвѣстной публикѣ, было продано авторомъ за 500 руб.; за второе изданіе (вмѣстѣ съ поэмой „Русланъ и Людмила“) онъ получилъ отъ книгопродавца Ал. Смирдина“ 7000 рублей.

Жизнь Пушкина въ Кишиневѣ извѣстна какъ время, проведенное поэтомъ бурно и буйно среди увлеченій всякаго рода. Но это не должно относиться къ первой порѣ его пребыванія въ столицѣ Бессарабіи. Вельтманъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ [2]), что „Пушкинъ велъ себя первые дни по пріѣздѣ такъ тихо и скромно.. что объ его пребываніи въ Кишиневѣ узнали,—даже тѣ, которые такъ нетерпѣливо ждали его,—нѣсколько дней спустя“. Вѣроятно болѣе, чѣмъ нѣсколько дней, жилъ поэтъ тихо и скромно: его увлекади въ это время окончательно формировавшіеся въ его душѣ картины и образы поэмы; въ его сердцѣ еще ярко горѣли слѣды впечатлѣній чистой любви въ Крыму. (Ими и объясняется, должно быть, свѣтлая и самобытная сторона „Кавказскаго Плѣнника“). Этой любви, конечно, посвящена прекрасная элегія 1821 года „Желаніе“, въ которой поэтъ воспоминаетъ „край прелестный“, гдѣ онъ любилъ, гдѣ видѣлъ

горъ высокія вершины,
Прозрачныхъ водъ веселыя струи,
И тѣнь, и шумъ, и красныя долины,
Гдѣ бѣдныя простыхъ татаръ семьи,
Среди заботъ и съ дружбою взаимной,
Подъ кровлею живутъ гостепріимной.

---

[1]) Соч. Пушкина 1881 г. т. V, стр. 132.

[2]) „Вѣстн. Европы“ 1881 г. № 3. Изъ воспоминаній Вельтмана о времени пребыванія Пушкина въ Кишиневѣ. Извлеченіе Е. С. Некрасовой.

Элегія (страдающая нѣсколько длиннотою) оканчивается стихами чудной красоты:

И тамъ, гдѣ миртъ шумитъ надъ тихой урной,
Увижу-ль вновь сквозь темные лѣса
И своды скалъ, и моря блескъ лазурный,
И ясныя какъ радость небеса?
Утихнутъ-ли волненья жизни бурной?
Минувшихъ лѣтъ воскреснетъ-ли краса?

Чистое чувство вызывало изъ глубины души поэта чистыя стремленія ранней юности, утишало бурные порывы. Стихи эти напоминаютъ намъ позднѣйшіе, еще высшіе стихи его...

И своды скалъ, и моря блескъ лазурный —

быть можетъ, это зародышъ величайшей элегіи Пушкина— „Для береговъ отчизны дальной".

Въ это-же время, подъ впечатлѣніями природы юга и остатковъ классическаго міра, окончательно формировалось художественное чувство поэта: онъ рисовалъ съ замѣчательнымъ искусствомъ яркія картины Кавказа въ поэмѣ и писалъ антологическія стихотворенія. Между ними слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на очень извѣстное подъ названіемъ „Муза", въ которомъ онъ съ такою поэтическою силой олицетворилъ свое вдохновеніе, и на то, которое онъ назвалъ „Дѣва":

Я говорилъ тебѣ: страшися дѣвы милой!
Я зналъ: она сердца влечетъ невольной силой,
Неосторожный другъ, я зналъ: нельзя при ней
Иную замѣчать, иныхъ искать очей.
Надежду потерявъ, забывъ измѣны слабость,
Пылаетъ близь нея задумчивая младость;
Любимцы счастія, наперстники судьбы
Смиренно ей несутъ влюбленныя мольбы:
Но дѣва гордая ихъ чувства ненавидитъ
И, очи опустивъ, не внемлетъ и не видитъ.

Вельтманъ въ своихъ воспоминаніяхъ предполагаетъ, что это стихотвореніе посвящено Пульхерицѣ Егоровнѣ Варѳоломей (дочери кишиневскаго боярина). Дѣвица Варѳоломей отличалась замѣчательной красотою; но, останавливаясь мыслью на ея характерѣ, Вельтманъ задается вопросомъ— не была ли она, съ своею „бѣлой лайковою кожей", простымъ автоматомъ? — Стихотвореніе „Дѣва" напоминаетъ

другое, позднѣйшее произведеніе Пушкина въ томъ же родѣ хотя и высшее въ художественномъ смыслѣ,—„Красавица“ (1830 г.), посвященное Н. Н. Гончаровой. Оба сочиненія свидѣтельствуютъ о чуткости поэта къ красотѣ и въ то-же время о его наклонности увлечься красотою безъ отношенія ея къ другимъ сторонамъ человѣка: трагическая черта поэзіи и личнаго характера Пушкина. Въ Кишиневѣ онъ былъ еще сравнительно безопасенъ отъ этой черты.

Кишиневское общество, въ которомъ пришлось поэту вращаться по пріѣздѣ изъ Крыма, было весьма разнообразно. Главную массу населенія Кишинева составляли молдаване; но тутъ было и много жидовъ, болгаръ, грековъ, турокъ, малороссіянъ, нѣмцевъ, были и караимы, французы, даже итальянцы [1]). Собственно общество раздѣлялось на три группы: туземное общество (или бояры молдаваны)‘ чиновничье и военное. Пушкинъ былъ знакомъ и даже близокъ со всѣми группами. И это гибельно дѣйствовало, въ нравственномъ смыслѣ, на его впечатлительную душу. — Нравственная атмосфера Кишинева была очень низка; г. Анненковъ справедливо называетъ ее „душной и сладострастной“ и справедливо находитъ, что „мало эстетическія, но своеобразныя наклонности обитателей“ города „дѣйствовали на Пушкина какъ вызовъ“ [2]). — Близко знакомый съ Кишиневымъ Липранди отзывается о туземцахъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. Также относился къ нимъ и Пушкинъ, когда съ ними познакомился; ссорясь съ ними и не вѣря въ ихъ чувство чести, онъ для защиты отъ грубыхъ и тайныхъ нападеній нанятыхъ людей носилъ всюду съ собою сначала пистолетъ, а потомъ просто желѣзную палку въ осмнадцать фунтовъ вѣсу [3]). Впослѣдствіи (въ 1824 году) онъ такъ характеризовалъ мѣсто своей ссылки:

Проклятый городъ Кишиневъ,
Тебя бранить языкъ устанетъ!
Когда нибудь на грѣшный кровъ
Твоихъ запачканныхъ домовъ

---

[1]) „Пушкинъ въ Южной Россіи“. Рус. Арх. 1866 г., стр. 1124—1125.

[2]) Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 189—190.

[3]) Изъ дневника и воспоминаній Липранди. „Рус. Арх.“ 1866 г., *стр. 1423—1424.*

Небесный громъ конечно грянетъ,
И не найду твоихъ слѣдовъ.

Далѣе поэтъ сравниваетъ Кишиневъ съ Содомомъ, отдавая даже предпочтеніе послѣднему [1]). (Справедливость требуетъ замѣтить, что тонъ этого стихотворенія совершенно соотвѣтствуетъ воспѣваемому въ немъ предмету). Въ бытность свою въ Кишиневѣ Пушкинъ писалъ множество эпиграммъ на различныхъ лицъ мѣстнаго общества; онѣ очень характерны, тѣмъ болѣе, что увлекавшійся поэтъ самъ въ нихъ только остроуміемъ своимъ подымался выше изображаемой среды. Вотъ, напримѣръ „Описаніе кишиневскихъ дамъ“ [2]).

Раззѣвавшись, отъ обѣдни
Къ катакази ѣду въ домъ.
Что за Греческія бредни,
Что за Греческій содомъ,
Подогнувъ подъ платье ноги,
За вареньемъ, средь прохладъ,
Какъ Египетскіе боги,
Дамы прѣютъ и молчатъ.

*

Здравствуй, круглая сосѣдка!
Ты бранчива, ты скупа,
Ты неловкая кокетка,
Ты плѣшива, ты глупа.
Говорить съ тобой нѣтъ мочи.
Все прощаю, Богъ съ тобой!
Ты съ утра до темной ночи
Рада въ банкъ играть со мной.

*

Ты наказана сегодня,
И тебя простилъ Амуръ,
О, чувствительная сводня,
О, краса молдавскихъ дуръ!..

Русскіе люди чиновничьяго и военнаго классовъ, обитавшіе въ Кишиневѣ, стояли, конечно, выше туземцевъ; среди нихъ Пушкинъ находилъ, какъ увидимъ, и добрыхъ знакомыхъ и дѣльныхъ собесѣдниковъ; но общій характеръ и ихъ жизни былъ очень не высокъ: карты, танцы, вино и т. д. были обычными средствами убиванія времени.

Предохраняемый нѣкоторое время въ Кишиневѣ отъ низ-

---

1) Соч. т. I, стр. 447 („Городъ Кишиневъ“).
2) Тамъ-же т. V, стр. 494 (Дополненія).

кихъ увлеченій чувствомъ высокой любви, Пушкинъ однако потомъ поддался вліянію окружавшей его среды. Нѣсколько смягчающимъ вину увлеченія обстоятельствомъ служитъ то, что (по справедливому замѣчанію г. Бартенева) [1]) „у него были въ Кишиневѣ добрые пріятели, Алексѣевъ, Горчаковъ, Полторацкій и другіе; но не было настоящаго друга... не было и такихъ людей, какъ Карамзинъ и Жуковскій, къ которымъ-бы онъ могъ придти, разсказать все, требовать совѣта и, не оскорбляясь выслушать упреки и наставленія".— Пылкій и впечатлительный, какъ всегда и вездѣ, онъ въ Кишиневѣ сдѣлался какимъ-то задорнымъ и до безумія увлекающимся, „вспыльчивымъ иногда до изступленія", какъ выразился, вообще сочувствующій ему, какъ человѣку, Липранди [2])—В. П. Горчаковъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ [3]), что поэтъ чуть не поссорился съ нимъ при первомъ-же знакомствѣ изъ-за одного замѣчанія на стихотвореніе „Черная шаль". „Какъ-же вы говорите (передаетъ Горчаковъ свой разговоръ съ поэтомъ): въ глазахъ потемнѣло, я весь изнемогъ, и потомъ: вхожу въ отдаленный покой?—Такъ что-жъ, прервалъ Пушкинъ, съ быстротою молніи, вспыхнувъ самъ, какъ зарница, — это не значитъ, что я ослѣпъ. — Сознаніе мое, что это замѣчаніе придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрывъ Пушкина, и мы пожали другъ другу руки" .— Липранди говоритъ, что въ разговорахъ о своихъ сочиненіяхъ Пушкинъ вообще въ эту пору обнаруживалъ „неограниченное самолюбіе" и „самоувѣренность" [4]). Трудно было предвидѣть—отчего онъ можетъ вспылить; такъ, напр., однажды онъ чуть не вызвалъ на дуэль одного молдаванина за то, что тотъ въ разговорѣ о какомъ-то сочиненіи съ удивленіемъ спросилъ его: какъ! вы поэтъ и не знаете объ этой книгѣ? [5])—Одинъ изъ петербугскихъ знакомыхъ поэта разсказываетъ [6]), что онъ въ Кишиневѣ „при своей раздражительности легко обижался какимъ-нибудь словомъ, въ которомъ рѣшительно не было ничего обиднаго. Иногда онъ

---

[1]) Пуш. въ Юж. Россіи.—Рус. Арх. 1866 г. стр. 1184.

[2]) Изъ Дн. и восп. Липранди—Рус. Арх. 1866 г.. стр. 1412.

[3]) Пуш. въ Юж. Рос.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1133—1134.

[4]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1446. [5]) Тамъ-же стр. 1245. [6]) Тамъ-же стр. 1183 (Пушк. въ Юж. Рос.).

корчилъ лихача, вѣроятно вспоминая Каверина и другихъ своихъ пріятелей-гусаровъ въ Царскомъ Селѣ. При этомъ онъ разсказывалъ про себя самые отчаянные анекдоты, и все вмѣстѣ выходило какъ-то пошло". Какъ ни рѣзокъ этотъ отзывъ, но нельзя не признать его справедливымъ, сопоставляя съ другими извѣстіями и съ стихотвореніями самого поэта этихъ годовъ.—Въ письмѣ къ Я. Н. Толстому (1822 г.) Пушкинъ съ сожалѣніемъ и завистью вспоминаетъ о кутежахъ своихъ петербургскихъ товарищей, членовъ общества „Зеленой лампы".

Горишь-ли ты, лампада наша,
Подруга бдѣній и пировъ?
Кипишь-ли ты, златая чаша,
Въ рукахъ веселыхъ остряковъ?
Все тѣ-же-ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стиховъ?
Часы любви, часы похмѣлья
По прежнему-ль летятъ на зовъ
Свободы, лѣни и бездѣлья?
Въ изгнаньи скучномъ каждый часъ,
Горя завистливымъ желаньемъ,
Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ,
Воображаю, вижу васъ.

Къ Пушкину вернулись дурныя увлеченія петербургской жизни. Въ предшествовавшемъ (1821) году онъ писалъ брату своему объ „Зеленой лампѣ" и своимъ письмомъ ввелъ даже брата въ это пошлое общество. „Скажи ему (Всеволожскому, президенту Зеленой лампы), что я люблю его (писалъ поэтъ Льву Сергѣичу), что онъ забылъ меня, что я помню вечера его, любезность его, V, C. P. его Veuve Cliquot Pontchadrain, шампанское), L. D. (?) его, Овошникову его, лампу его и все елико друга моего" [1]). — Должно быть съ воспоминаніями объ этомъ-же миломъ обществѣ связаны и стихи „Изъ письма къ Дельвигу" (1821 г.), въ которыхъ поэтъ такъ цинически выражается про свою музу:

Теперь я, право, чуть дышу,
Отъ воздержанья муза чахнетъ,
И рѣдко, рѣдко съ ней грѣшу.
Къ молвѣ болтливой я хладѣю,
И изъ учтивости одной
Донынѣ волочусь за нею,
Какъ мужъ лѣнивый за женой.

---

[1]) Пуш. въ Юж. Рос. -Рус. Арх. 1866 г., стр. 1195.

Оканчивается стихотвореніе такимъ грязнымъ сравненіемъ взятымъ изъ петербургской жизни кутящихъ пріятелей поэта, что его невозможно было цѣликомъ напечатать.

Вино, кутежи, карты, волокитство, дуэли,—вотъ на что много уходило жизни и силъ Пушкина въ Кишиневѣ.

Поэтъ охотно посѣщалъ многолюдные вечера богатыхъ бояръ, напр. Варѳоломея, Маврогени; здѣсь онъ много и съ увлеченіемъ танцовалъ. Балы и представляли ему обширное поприще для ухаживаній.

„Пушкинъ любилъ всѣхъ хорошенькихъ, всѣхъ свободныхъ болтуней", разсказываетъ Липранди [1]). Такъ, ему нравилась нѣкто Вакаръ, жена подполковника, женщина маленькаго роста, чрезвычайно живая, недурная собой. „Пушкинъ находилъ удовольствіе съ ней танцовать и вести нестѣсняющій разговоръ. Едва-ли (замѣчаетъ Липранди) онъ не сошелся съ ней ближе, но, конечно, не надолго. Въ этомъ-же родѣ была очень миленькая дѣвица Аника-Сандулаки". Нравилась поэту и жена чиновника горнаго вѣдомства Эльфректъ, слывшая красавицей. Здѣсь Пушкину пришлось соперничать съ Н. С. Алексѣевымъ, своимъ пріятелемъ, на одной квартирѣ съ которымъ онъ жилъ, выѣхавши отъ Инзова, у котораго первоначально поселился. Онъ написалъ Алексѣеву по этому случаю посланіе (1821 г.):

Мой милый, какъ несправедливы
Твои ревнивыя мечты!
Я позабылъ любви призывы
И плѣнъ опасной красоты.

Далѣе въ стихотвореніи онъ полу-шутливо говоритъ о своемъ разочарованіи, высказывая въ сущности мысль, что не-высоко ставитъ самъ свои увлеченія:

Въ толпѣ красавицъ молодыхъ
Я, равнодушный и лѣнивый,
Своихъ боговъ не вижу въ нихъ.

Этой Эльфректъ, которая окружила себя родственниками молдаванами и греками и желала казаться равнодушной къ русскимъ, поэтъ посвятилъ весьма невысокаго достоинства стихотвореніе:

---

[1]) Русск. Арх. 1866 г. Стр. 1234—1235.

Ни блескъ ума, ни стройность платья
Не могутъ васъ обворожить,

оканчивающееся неприличными стихами, которые онъ поэтому и не могъ даже отдать самому предмету пѣснопѣнія [1])—Подобныхъ мимолетныхъ и легкомысленныхъ увлеченій у Пушкина было много; а объ ихъ характерѣ лучше всего свидѣтельствуетъ его собственное легкомысленное стихотвореніе (1821 г.):

Добра чужаго не желать
Ты, Боже, мнѣ повелѣваешь;
Но мѣру силъ моихъ Ты знаешь —
Мнѣ-ль нѣжнымъ чувствомъ управлять?
Обидѣть друга не желаю
И не хочу его села,
Не нужно мнѣ его вола:
На все спокойно я взираю.
Ни домъ его, ни скотъ, ни рабъ —
Не лестна мнѣ вся благостыня...
Но еже его рабыня
Прелестна... Господи, я слабъ!
Но ежели его подруга
Мила какъ ангелъ во-плоти —
О, Боже праведный, прости
Мнѣ зависть ко блаженству друга!
Кто сердцемъ могъ повелѣвать
Кто рабъ усилій безполезныхъ?
Какъ можно не любить прелестныхъ?
Какъ райскихъ благъ не пожелать?

Есть и еще подобное-же, легкомысленное въ религіозномъ смыслѣ, стихотвореніе 1821 г. [2]), гдѣ поэтъ говоритъ какой-то красавицѣ іудейскаго племени, что нынѣ цалуетъ ее по случаю Воскресенія Христова,

А завтра кь вѣрѣ Моисея
За поцѣлуй твой, не робѣя,
Готовъ, еврейка, приступить!..

Изъ многочисленныхъ эротическихъ похожденій Пушкина особенно характерны два: съ женой боярина Балша и съ Д—вой.

Марія Балшъ была женщина лѣтъ подъ-тридцать, довольно острая и словоохотливая. Пушкинъ доходилъ съ нею

---

[1]) „Пушкинъ въ Южной Россіи". Русск. Арх. 1866. Стр. 1157.
[2]) „Еврейка".

(говоритъ Липранди) [1]) „до рѣчей весьма свободныхъ, что ей очень нравилось, и она въ этомъ случаѣ не оставалась въ долгу. Дѣйствительно ли Пушкинъ имѣлъ на нее какіе-либо виды или нѣтъ, сказать трудно: въ такихъ случаяхъ (поясняетъ разсказчикъ) онъ былъ переметчивъ и часто безъ всякихъ цѣлей любилъ болтовню и матеріализмъ“. Появленіе въ обществѣ нѣкой „Албрехтши“ отвлекло вниманіе поэта отъ Балшъ. Оскорбленная кокетка стала дѣлать ему ревнивые намеки. Онъ въ отмщеніе началъ ухаживать за ея 12-ти или 13—лѣтней дочерью Аникой, которую она всюду вывозила съ собою. Липранди думаетъ, что Пушкинъ любезничалъ съ Аникой лишь „такъ, какъ можно было только любезничать съ 12—лѣтнимъ ребенкомъ“. Но дѣйствительно-ли невинны были эти ухаживанія—Богъ вѣсть: мы увидимъ у Пушкина еще подобную-же исторію.—Чтобы отмстить чѣмъ-нибудь измѣннику, Балшъ въ отвѣтъ на его язвительную насмѣшку надъ молдаванами: „экая тоска! хоть-бы кто нанялъ подраться за себя!“ [2]) отвѣтила дерзкимъ и несправедливымъ намекомъ на одну его дуэль: „да вы деритесь лучше за себя, вотъ хоть съ Старовымъ; вы съ нимъ, кажется, не очень хорошо кончили“. Вспыльчивый поэтъ потребовалъ за эти слова удовлетворенія отъ мужа своей оскорбительницы; а когда тотъ, объяснившись съ женой, сказалъ, что Пушкинъ самъ ее оскорбилъ, поэтъ замахнулся на него подсвѣчникомъ. Кончилось дѣло тѣмъ, что Балша уговорили извиниться; но такъ какъ онъ началъ извиненіе въ высокомѣрныхъ выраженіяхъ, то опять вспылившій Пушкинъ далъ ему пощечину.

Д—ва была жена пріятеля Пушкина Александра Львовича Д—ва, человѣка любившаго пожить и покушать, которому Пушкинъ посвятилъ въ 1824 г. стихотвореніе:

Нельзя, мой толстый Аристипъ:
Хоть я люблю твои бесѣды,
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ,
Твой вкусъ и жирные обѣды;
Но не могу съ тобою плыть

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1422—1423.
[2]) Пушкинъ въ Южной Россіи. Рус. Арх. 1866 г., стр. 1168.

Къ брегамъ полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
Любимецъ Вакха и Киприды!

Д—вы были родственники Раевскихъ и владѣли селомъ Каменкой (Кіевск. губ.), куда Пушкинъ пріѣзжалъ изъ Кишинева. Насколько поэтъ не уважалъ этотъ предметъ своей любви, видно изъ грубой эпиграммы („Аглая". 1821 г.), которой онъ наградилъ его. Съ Д—вой поэтъ продѣлалъ, какъ видно, то-же, что съ Балшъ: сталъ ухаживать за ея 12—ти-лѣтней дочкой. Вотъ что объ этомъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ „петербургскій знакомый" Пушкина (имени котораго, къ сожалѣнію, не называетъ приводящій его слова въ своемъ сочиненіи г. Бартеневъ): „Пушкинъ вообразилъ себѣ, что онъ въ нее (т. е. дѣвочку-Д—ву) влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался и, подходя къ ней, шутилъ съ ней очень неловко. Однажды за обѣдомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня и, раскраснѣвшись, смотрѣлъ такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, что она бѣдная не знала, что дѣлать, и готова была заплакать. Мнѣ стало ея жалко, и я сказалъ Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дѣлаете: вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бѣдное дитя. „Я хочу наказать кокетку", отвѣчалъ онъ; „прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня". Съ большимъ трудомъ удалось мнѣ обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться".—Можно-бы, казалось, заподозрить истину такого разсказа, по крайней мѣрѣ подумать, что не въ истинномъ свѣтѣ представлено здѣсь поведеніе Пушкина; но правда приведенныхъ словъ подтверждается собственными стихотвореніями поэта: „Къ Аглаѣ" (1821 г.) и „Адели" (1822 г.). Въ первомъ поэтъ откровенно характеризуетъ легкость и низменность своей привязанности къ Д—вой и рисуетъ характеръ этой послѣдней:

Умы давно въ насъ охладѣли

(говоритъ онъ своей возлюбленной),

Не кстати намъ учиться вновь!
Мы знаемъ: вѣчная любовь
Живетъ едва-ли три недѣли!
. . . .
Я притворился, что влюбленъ.

Вы притворились, что стыдливы...
Мы поклялись... потомъ... увы!
Потомъ забыли клятву нашу:
Себѣ гусара взяли вы,
А я наперстницу Наташу.

Въ концѣ посланія мы встрѣчаемъ такіе стихи:

Оставимъ юный пылъ страстей,
Когда мы клонимся къ закату,
Вы—старшей дочери своей,
Я—своему меньшому брату.
Имъ можно съ жизнію шалить... и т. д.

Стихотвореніе „Адели" и посвящено этой „старшей дочери" Д—вой:

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя вѣнчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Часъ упоенья
Лови, лови!
Младыя лѣта
Отдай любви,
И въ шумѣ свѣта
Люби, Адель,
Мою свирѣль.

Довольно трудно опредѣлить характеръ чувства, вызвавшаго на свѣтъ это, написанное въ Каменкѣ, слабое и легкомысленное стихотвореніе. Пушкинъ совершенно справедливо сказалъ про себя въ „Кишиневскомъ дневникѣ" своемъ 1821 г. [1]), что онъ былъ въ ту пору матерьялистъ по чувству („mon coeur est materialiste").

Другою страстью Пушкина въ эту эпоху была любовь къ карточной игрѣ и кутежамъ. Въ карты играли въ домахъ нѣкоторыхъ молдаванъ, напр. у Маврогени, у Крупянскаго; у послѣдняго игра усилилась особенно послѣ открытія гетеріи въ мартѣ 1821 года, съ наплывомъ въ Кишиневъ множества выходцевъ. Была каждый вечеръ игра (съ слѣдовавшимъ за нею ужиномъ) и у старика Разнована; ужины были и у Крупянскаго. — Игра была въ большомъ ходу и въ военномъ кружкѣ; Пушкинъ съ увлеченіемъ игралъ въ карты и кутилъ съ своими пріятелями-офицерами [2]) О своемъ пристрастіи къ кутежамъ, къ вину онъ оставилъ свидѣтель-

---

[1]) Соч. Пушкина, т. V, стр. 7.

[2]) Изъ Дн. и восп. Липранди.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1238—1239, 1243—1245, 1251.

ство въ стихотворенiи 1822 года „Друзьямъ на отъѣздъ Кека изъ Кишинева)“:

Вчера былъ день разлуки шумной,
Вчера былъ Вакха буйный пиръ,
При кликахъ юности безумной,
При громѣ чашъ, при звукѣ лиръ.

На этомъ пиру поэта отличили „почетной чашей“, которая плѣняла глаза не „честолюбивой позолотой“, не „рѣзьбою“, а однимъ лишь тѣмъ,

Что, жажду скиѳскую поя,
Бутылка полная вливалась
Въ ея широкiе края.

Поэтъ пилъ изъ почетной чаши и вспоминалъ былое петербургское веселье:

Я пилъ, и думою сердечной
Во дни минувшiе леталъ,
И горе жизни скоротечной
И сны любви воспоминалъ.

Играть началъ Пушкинъ, кажется еще въ Лицеѣ [1]); но въ Кишиневѣ онъ пристрастился къ картамъ, и именно къ азартнымъ играмъ; во всю жизнь потомъ онъ не могъ вполнѣ отстать отъ этой страсти. Онъ писалъ послѣ о ней:

Страсть къ банку! Ни любовь свободы
Ни Ѳебъ, ни дружба, ни пиры,
Не отвлекли-бъ въ минувши годы,
Меня отъ карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до свѣта
Бывалъ готовъ я въ эти лѣта
Допрашивать судьбы завѣтъ,
Налѣво-ль выпадетъ валетъ.
Уже раздался звонъ обѣденъ;
Среди разбросанныхъ колодъ
Дремалъ усталый банкометъ,
А я все тотъ-же, бодръ и блѣденъ,
Надежды полнъ, закрывъ глаза,
Гнулъ уголъ третьяго туза.
(„Евг. Онѣг.“, гл. VII).

Обыкновенно играли въ штосъ, въ экарте, но чаще всего въ банкъ, какъ игру наиболѣе азартную. Какъ горячо поэтъ относился къ картамъ, видно изъ того, что онъ впослѣд-

---

[1]) Пушкинъ въ Южной Россiи.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1160--1161.

ствiи сравнивалъ ожиданiе замѣшкавшейся карты съ сномъ передъ поединкомъ.

Поединки были тоже однимъ изъ его горячихъ увлеченiй въ Кишиневѣ. „Дуэли особенно занимали Пушкина", свидѣтельствуетъ Липранди [1]); онъ „всегда восхищался подвигомъ, въ которомъ жизнь ставилась, какъ онъ выражался, на карту". Онъ сильно интересовался и чужими дуэлями, даже слухами о нихъ, и самъ, можно сказать, напрашивался на поединки, безумно рискуя жизнью, не дорожа ею. Поводовъ къ ссорамъ, и притомъ поводовъ ничтожныхъ и низменныхъ, при тогдашнемъ времяпровожденiи поэта, встрѣчалось много, и онъ пользовался ими. Собственно дуэлей у него въ Кишиневѣ было двѣ: съ офицеромъ генеральнаго штаба З. и съ полковникомъ Старовымъ. Третья дуэль, съ Ѳед. Ѳед. Орловымъ и А. П. Алексѣевымъ, не состоялась.—Съ З. дѣло вышло изъ-за картъ. Поэтъ „замѣтилъ (разсказываетъ г. Бартеневъ) [2]), что З. играетъ навѣрное и, проигравъ ему, по окончанiи игры очень равнодушно и со смѣхомъ сталъ говорить другимъ участникамъ игры, что вѣдь нельзя-же платить такого рода проигрыши. Слова эти, конечно, разнеслись, вышло объясненiе и З. вызвалъ Пушкина драться". По свидѣтельству многихъ, и въ томъ числѣ В. П. Горчакова, Пушкинъ явился на поединокъ съ черешнями и завтракалъ ими, пока З. стрѣлялъ. Этотъ эпизодъ внесенъ впослѣдствiи поэтомъ въ повѣсть Бѣлкина „Выстрѣлъ", гдѣ такъ поступаетъ молодой графъ. Но дуэль Пушкина окончилась иначе, чѣмъ въ повѣсти: промахнувшiйся З., не дождавшись выстрѣла противника, бросился къ нему съ объятiями. Пушкинъ замѣтилъ ему, что „это лишнее", и не стрѣляя удалился.—Липранди нѣсколько сомнѣвается въ истинѣ эпизода съ черешнями [3]); но ни малѣйшему сомнѣнiю не подвергаетъ неустрашимость Пушкина. „Я зналъ (говоритъ онъ) Александра Сергѣевича вспыльчивымъ, иногда до изступленiя; но въ минуту опасности, словомъ—когда онъ становился лицемъ къ лицу со смертiю, когда человѣкъ обнаруживаетъ себя вполнѣ, Пушкинъ обладалъ въ высшей степени невозмутимостью". „Эти

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1455, 1453. [2]) Тамъ-же стр. 1161 — 1168 [3]) стр. 1412.

двѣ крайности въ той степени, какъ онѣ соединились у Алекс. Сергѣевича, должны быть чрезвычайно рѣдки". Когда дѣло доходило до барьера, „къ нему онъ являлся холоднымъ какъ ледъ".—Безупречная храбрость Пушкина есть, конечно, свѣтлая черта его характера; но замѣчательно, что въ эту эпоху его жизни и она соединялась съ чѣмъ-то дурнымъ и безнравственнымъ: невозмутимымъ и холоднымъ на поединкѣ оставался поэтъ, по свидѣтельству Липранди, даже при „полномъ сознаніи своей запальчивости, виновности"; онъ не сознавался въ этой виновности,—въ его нравѣ было нѣчто демоническое и злое.

Другая дуэль, съ полковникомъ Старовымъ, произошла по болѣе еще ничтожному поводу, изъ-за танцевъ [1]). На балу въ казино молоденькій офицеръ приказалъ музыкантамъ играть кадриль; Пушкинъ захлопоталъ въ ладоши и потребовалъ мазурки; музыканты послушались его. Старовъ подошелъ къ сконфузившемуся офицеру и посовѣтовалъ потребовать у Пушкина извиненія; тотъ колебался; Старовъ отправился объясняться самъ. Должно быть при этомъ объясненіи Пушкинъ наговорилъ ему дерзостей (по крайней мѣрѣ Старовъ потомъ, сожалѣя уже о своей выходкѣ, говорилъ Липранди: „да онъ, братецъ, такой задорный"). Рѣшена была дуэль. Оба противника плохо стрѣляли; но оба были безупречно смѣлы. Липранди, желая предупредить опасность, уговорился съ секундантомъ поэта, чтобы тотъ не соглашался на барьеръ менѣе 12 шаговъ. Во время дуэли случился страшный морозъ и была сильная метель. Противники промахнулись на 16 шагахъ; они потребовали сближенія барьера до 12 шаговъ; промахнувшись опять, они хотѣли еще уменьшить разстояніе барьера; но секундантамъ удалось уговорить ихъ отсрочить поединокъ. Онъ не возобновлялся впослѣдствіи, — ихъ примирили (что, по словамъ Липранди, было сдѣлать очень не-легко); Пушкинъ какъ будто сожалѣлъ, что не удалось подраться какъ слѣдуетъ съ человѣкомъ, извѣстнымъ своею храбростью; но онъ былъ очень доволенъ, когда Старовъ, примиряясь, сказалъ ему: „вы такъ-же хорошо стоите подъ пулями, какъ

---

[1]) „Пушкинъ въ Южной Россіи" и „Изъ дневн. и воспом. Липранди".—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1165—1167 и 1417—1421.

хорошо пишете". Старовъ впослѣдствіи обвинялъ себя (по свидѣтельству Липранди) за этотъ поединокъ, называя его капитальною глупостью.

Поводъ къ чуть-чуть несостоявшейся третьей дуэли поэта, уже съ двумя лицами, былъ еще низменнѣе поводовъ къ двумъ прежнимъ дуэлямъ. Противниками Пушкина здѣсь были: полковникъ А. П. Алексѣевъ (котораго не должно смѣшивать съ пріятелемъ поэта Алексѣевымъ и Ѳед. Ѳед. Орловъ, человѣкъ извѣстный своимъ удальствомъ, тоже полковникъ, потерявшій ногу въ сраженіи. (Впослѣдствіи Пушкинъ хотѣлъ его изобразить въ замышляемомъ романѣ). Ссора произошла въ билліардной Гольды, послѣ круговой жжонки, которая особенно сильно подѣйствовала на голову Пушкина. Поэтъ началъ смѣшивать шары игравшихъ Орлова и Алексъева; первый назвалъ его школьникомъ, а второй прибавилъ, что школьниковъ проучиваютъ. Пушкинъ вспыхнулъ и, смѣшавъ шары, вызвалъ обоихъ игроковъ драться. Возвращаясь домой съ Липранди, онъ опомнился и началъ бранить себя за свою арабскую кровь, но ни-за-что не соглашался замять дѣло, хотя спутникъ и выставлялъ ему на видъ, что причина поединка нехорошая. Онъ, впрочемъ, созналъ, что все это „скверно, гадко", какъ онъ самъ при этомъ выразился. Дѣло уладилось благодаря лишь тому, что Орловъ и Алексѣевъ первые предложили забыть „вчерашнюю жжонку"; да и то поэтъ сомнѣвался и просилъ Липранди сказать ему откровенно: „не пострадаетъ-ли его честь, если онъ согласится оставить дѣло" [1]). — Легкомысленно и безумно игралъ своей головою уже начинавшій входить въ славу поэтъ.

Въ такомъ напряженіи души и нервовъ жилъ онъ въ Кишиневѣ. Фантазія его была въ это время (по справедливому замѣчанію г. Анненкова) [2]) „въ горячешномъ состояніи", что выразилось, между прочимъ, въ рисункахъ, которыми испещрены его записныя тетради. Знакомый съ этими рисунками, г. Анненковъ разсказываетъ, что они представляютъ казни; пытки, тюрьмы, чертовщину; напр. на одномъ изъ нихъ, съ подписью — Балъ у армянскаго епископа (Bal

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1413—1416.

[2]) Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 175.

chez l'archevêque arménien), подъ скрипку маленькаго бѣса съ хвостикомъ танцуютъ четверо мужскихъ и женскихъ бѣсенятъ, надѣленныхъ тоже хвостиками; на поляхъ картинки двѣ висѣлицы: подъ одной изъ нихъ, съ повѣшеннымъ человѣкомъ, сидитъ задумавшись мужчина въ большой круглой шляпѣ; подъ другой видно колесо и орудія пытки; внизу картинки распростертъ скелетъ. Другой рисунокъ изображаетъ чортика, лежащаго на желѣзной рѣшеткѣ, подъ которую подложенъ огонь, усердно раздуваемый другимъ, приникшимъ къ землѣ чортикомъ.—Должно быть въ связи съ подобными рисунками находился замыселъ Пушкина написать (въ 1821 г.) большую общественную сатиру, дѣйствіе которой должно было происходить въ аду, при дворѣ сатаны. Отъ этой сатиры сохранились лишь небольшіе отрывки (можетъ быть больше и не было написано) [1].

Совершенно подходитъ къ мрачному и чувственному образу жизни поэта въ Кишиневѣ, къ тогдашнему настроенію его духа самое печальное событіе его литературной дѣятельности—написаніе имъ сладострастной и кощунственной поэмы „Гавриліада“ (1823 г.). Въ сочиненіи ея, возбудившемъ противъ него справедливое негодованіе многихъ, онъ горько потомъ раскаявался, и она была предметомъ угрызеній его совѣсти до конца жизни; онъ всячески истреблялъ ея списки, выпрашивая и отнимая ихъ. Даже по напечатаннымъ въ послѣднемъ изданіи сочиненій поэта отрывкамъ видно—какая это грязно-циническая вещь. Замѣчательно, что въ эпоху ея написанія онъ вовсе не былъ невѣрующимъ человѣкомъ, даже не былъ скептикомъ (пору скептицизма онъ пережилъ, какъ увидимъ, позднѣе). „Mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse“ (я матеріалистъ по чувству, но мой разумъ этому противится), записалъ онъ въ своемъ Дневникѣ 9-го апрѣля 1821 года [2]. Съ этимъ совершенно согласуются слова черноваго наброска одного стихотворенія 1822 года:

---

[1]) Соч. Пушкина, 1881 г., т. I, стр. 375 — 376 г. Г. Анненковъ по ошибкѣ причислилъ къ сатирѣ и стихи изъ „Бахчисарайскаго фонтана“: „Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ“, и т. д. Г. Ефремовъ въ текстѣ изданія поэта впалъ въ ту-же ошибку, но оговорился въ примѣчаніяхъ.

[2]) Соч. т. V, стр. 7.

Ты, сердцу непонятный мракъ,
Пріютъ отчаянья слѣпаго,
Ничтожество, простой призракъ,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка,
Я все не вѣрую въ тебя,
Ты чуждо мысли человѣка.
Тебя страшится гордый умъ! [1])

Поэтъ не могъ примириться съ мыслью о несуществованіи духовнаго міра.—Между его замѣтками той-же эпохи есть одна о Байронѣ, въ которой онъ пытается оправдать своего любимаго тогда поэта отъ обвиненій въ безвѣріи: „Вѣра внутренняя (пишетъ Пушкинъ [2]) перевѣшивала въ душѣ Байрона скептицизмъ, высказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки убѣжденію внутреннему". Можетъ быть Пушкина соблазнилъ отчасти этотъ примѣръ, и ему захотѣлось попробывать пойти вопреки внутреннему убѣжденію. Не будучи невѣрующимъ, поэтъ однако въ это время легкомысленно относился къ религіознымъ предметамъ и вѣрованіямъ, свободно внося ихъ въ шутку. Такъ, напр., владѣя даромъ юмористически рисовать физіономіи, онъ на ломберномъ столѣ мѣломъ и на бумагѣ карандашомъ изображалъ [3]) сестру молдаванина Катакази, Тарсису, — Мадонной и на рукахъ у ней младенцемъ генерала Шульмана, съ оригинальной большой головой, въ большихъ очкахъ, съ поднятыми руками". Нѣсколько свысока относился онъ къ Библіи, по крайней мѣрѣ вотъ какъ выразился онъ о пророкѣ Іереміи въ одномъ письмѣ (къ Бестужеву, 21 іюня 1822 г.): „Читалъ стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудакъ! Только въ его голову могла войти жидовская мысль воспѣвать Грецію, великолѣпную, классическую, поэтическую Грецію, Грецію, гдѣ все дышетъ миѳологіей и героизмомъ, славяно-русскими стихами, цѣликомъ взятыми изъ Іереміи" [4]).

Г. Бартеневъ слышалъ отъ П. В. Нащокина, В. П. Гор.

---

[1]) Пушкинъ въ Южной Россіи. Р. Арх. 1866 г. стр. 1189.
[2]) Тамъ-же, стр. 1149.
[3]) Изъ дневн. и восп. Липранди. Р. Арх. 1866 г. стр. 1458.
[4]) Пушкинъ въ Южной Россій. Р. Арх· 1866 г. стр. 1201.

чакова, С. Д. Полторацкаго, людей близко знавшихъ Пушкина, что онъ позволилъ себѣ сочинить „Гавриліаду" „просто изъ молодаго литературнаго щегольства. Ему захотѣлось показать своимъ пріятелямъ, что онъ можетъ въ этомъ родѣ написать что-нибудь лучше стиховъ Вольтера и Парни [1]). По всей вѣроятности изъ грубаго задора нашъ поэтъ хотѣлъ перещеголять Вольтера въ нѣкогда плѣнившей его „Орлеанской дѣвственницѣ", и къ сожалѣнію достигъ цѣли, пошелъ, по послѣдовательности русскаго ума, дальше своего бывшаго учителя. Вольтеръ, дѣйствительно, въ эту эпоху занималъ умъ и сердце Пушкина, какъ свидѣтельствуетъ онъ самъ въ стихотвореніи „къ В. Л. Давыдову" (1821 г.), оканчивающимся словами:

Говѣетъ Инзовъ—и намедни
Я промѣнялъ Вольтера бредни
И лиру, грѣшный даръ судьбы,
На часословъ и на обѣдни
Да на сушеные грибы...

Въ этихъ стихахъ ясно видно и легкомысленное отношеніе къ религіознымъ вѣрованіямъ.

Кстати будетъ замѣтить, что вмѣстѣ съ возвращеніемъ симпатіи къ Вольтеру у Пушкина пробудилось и былое сочувствіе къ цинической поэмѣ даровитаго Майкова — „Елисей": въ письмѣ къ Бестужеву (13 іюня 1823 г.), говоря объ одной критической статьѣ „Полярной звѣзды", поэтъ выражаетъ недовольство, что тамъ хвалятъ „холоднаго, однообразнаго Осипова", а обижаютъ Майкова, „Елисея" котораго онъ называетъ „истинно смѣшнымъ" произведеніемъ, съ удовольствіемъ выписывая при этомъ изъ него нѣсколько сальныхъ стиховъ [2]).

Можно догадываться, что былыя симпатіи Пушкина къ Вольтеру воскресли не только подъ вліяніемъ окружавшей его въ Кишиневѣ среды, но и вслѣдствіе того также, что Байронъ поэтизировалъ личность Вольтера въ своемъ романѣ „Чайльдъ-Гарольдъ", которымъ увлекался, какъ мы знаемъ, Пушкинъ. Вольтеръ, по словамъ Байрона:

---

[1]) Тамъ-же, стр. 1179.
[2]) Тамъ-же, стр. 1209—1210.

непостоянен
Как ветер был, хоть был мудрец:
То весел он, то дик и странен...
Шалун, философ и певец,
Протей таланта, он не мало
Дивил людей, но больше их
Его насмешки острой жало
Всегда казнило в шутках злых.
Насмешки той ужасна сила:
Он с ней повсюду проникал—
И эпиграммой поражал
То тупоумнаго зоила,
То убивал ей пошляка,
То трон покачивал слегка [1]).

Сам Байрон влиял в это время на Пушкина не протестом своим против пошлости и могучим изображением личной энергии, а стороною темной—поэтизированьем чувственности, гордости, ненависти и злобы, т. е. мрачных сторон исключительно-личной жизни.

В воззрениях Пушкина в это время заметно презрение к людям. (Вполне-ли искренно это презрение—другой вопрос). В наставлении брату, Льву Сергеичу, поэт пишет: „Тебе предстоят столкновения с людьми, которых ты не знаешь. Прежде всего постарайся думать об этих людях как можно хуже: тебе не часто придется поправлять свое суждение... Презирай их как можно вежливее: в этом заключается лучшее средство уберечься от ничтожных предразсудков и ничтожных страстишек, которые ждут тебя при появлении в свет... Не будь угодлив и подавляй в себе чувство доброжелательства, к которому может быть склонен“ [2]). — Поэт думал в эту пору, что и великие исторические деятели обыкновенно презирают человечество. В своих „Исторических замечаниях“ 1822 года [3]) он так говорит о Петре Великом: „Петр не страшился народной свободы и неминуемаго действия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон“.

---

[1]) Соч. Байрона, в пер. рус. поэтов.—Чайльд-Гарольд, песть III, стр. CVI.

[2]) Пушк. в Алекс. эпоху, стр. 182.

[3]) Соч. т. V, стр. 14.

Весьма вѣроятно, что подобнымъ идеямъ поэтъ нашъ учился у Байрона, такъ воспѣвшаго Наполеона въ „Чайльдъ-Гарольдѣ“:

Въ дни бѣдствій больше, чѣмъ въ дни счастья.
Ты былъ великъ. Тогда не зналъ
Ты къ людямъ добраго участья
И къ нимъ презрѣнья не скрывалъ.
Ихъ знать нельзя не презирая;
Но ты былъ тѣмъ лишь виноватъ,
Что, это чувство не скрывая,
Его въ глаза бросать былъ радъ.
И ты паденьемъ поплатился! [1])

Сочиняя „Кавказскаго плѣнника“, Пушкинъ, какъ мы видѣли, былъ знакомъ уже съ „Корсаромъ“ Байрона и даже, вѣроятно, увлекался имъ (по крайней мѣрѣ можно думать, что изъ „Корсара“ заимствовалъ онъ часть фабулы своей поэмы); но онъ былъ свободенъ тогда отъ вліянія мрачнаго духа и характера этого произведенія англійскаго генія. подъ дѣйствіемъ частыхъ впечатлѣній, просвѣтленный высокой любовью, поэтъ нашъ нарисовалъ свою Черкешенку личностью совершенно непохожей на героиню „Корсара“ Гюльнару, личностью совершенно противоположной ей. — Гюльнара убила человѣка изъ чувства горячей любви къ корсару Конраду. Когда Конрадъ увидѣлъ на лбу ея каплю крови.

Въ глазахъ его на-вѣкъ та капля черной мглой
Одѣла красоту Бюльнары молодой.

Но эта печать преступленья на челѣ нисколько не останавливаетъ Байрона отъ идеализированія своей героини, напротивъ—даже способствуетъ ея возвеличенію:

Какъ-бы ни были грѣхи ея велики

(говоритъ поэтъ).

Конрадъ не забывалъ, что тотъ ударъ сразилъ
Врага его, и тѣмъ его освободилъ;
Что страсти ею всѣмъ пожертвовано было,
Чѣмъ только красенъ міръ, что въ жизни сердцу мило,
И что изъ-за него, прекрасная, она
Небесной и земной надежды лишена.

---

[1]) „Чайльдъ-Гарольдъ“, пѣс. III, стр. XL.

Принесеніе въ жертву своей страсти и своему милому спокойствія совѣсти на землѣ и надежды блаженства на небѣ — придаютъ въ глазахъ Байрона особую поэтическую прелесть характеру Гюльнары. Пушкинъ такъ не думалъ.

Но послѣ „Кавказскаго плѣнника", поддавшись инымъ впечатлѣніямъ жизни, онъ увлекся и темной стороной байронизма. Наиболѣе яркимъ слѣдомъ этого увлеченія осталась поэма 1821 года „Братья разбойники" [1]). Поводомъ къ ея написанію послужило истинное происшествіе. „Не помню—кто замѣтилъ мнѣ (писалъ Пушкинъ въ 1830 г.) [2]), что не вѣроятно, чтобы скованные вмѣстѣ разбойники могли переплыть рѣку. Все это происшествіе справедливо и случилось въ 1820 г., въ бытность мою въ Екатеринославѣ". То-же самое писалъ поэтъ ранѣе, 11 ноября 1822 г., кн. Вяземскому, прибавивъ еще: „ихъ отдыхъ на островкѣ, потопленіе одного изъ стражей мною не выдуманы" [3]). Но, основанная на дѣйствительно случившемся событіи, поэма тѣмъ не менѣе написана подъ несомнѣннымъ вліяніемъ „Корсара" и быть можетъ—„Шильонскаго узника".

Не мѣшаетъ привести нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ объ интересѣ Пушкина къ этимъ двумъ произведеніямъ Байрона. Въ одномъ письмѣ 1822 г. изъ Кишинева онъ, между прочимъ, говоритъ: „Кстати о стихахъ: то, что я читалъ изъ Ш. У. (т. е. Шильонскаго узника) прелесть". Въ другомъ письмѣ (отъ 6-го окт. того-же года) поэтъ пишетъ: „Другъ мой, попроси И. В. Сленина, чтобы онъ, за вычетомъ остальнаго долга, прислалъ мнѣ 2 экз. Людмилы, 2 экз. Плѣнника, одинъ Шильонскаго узника". Въ позднѣйшемъ письмѣ изъ Одессы (отъ 25 августа 1823 г.) встрѣчаются такія слова: „Кажется и хорошо — да новая печаль мнѣ сжала грудь,—мнѣ стало жаль моихъ покинутыхъ цѣпей" [4]), — поэтическое выраженіе, заимствованное, усвоенное себѣ Пушкинымъ изъ „Шильонскаго узника".— О „Корсарѣ" не разъ упоминается въ „Евгеніи Онѣгинѣ":

---

[1]) Написана въ концѣ 1821 г. См. Соч. т. I, примѣч., стр. 559 (собств. указаніе Пушкина въ письмѣ къ кн. Вяземскому).

[2]) Соч. т. V, Критическія замѣтки, стр. 133.

[3]) Соч. т. I, примѣчанія. стр. 559.

[4]) „Русск. Стар." 1879 г., августъ, стр. 679, 681 и 686.

такъ, рисуя образъ жизни героя романа въ деревнѣ, Пушкинъ разсказываетъ, что Онѣгинъ утромъ

отправлялся на-легкѣ
Къ бѣгущей подъ горой рѣкѣ;
Пѣвцу Гюльнары подражая.
Сей Геллеспонтъ переплывалъ!
(гл. 4, строф. XXXVI, XXXVII).

Говоря о томъ, какія сочиненія увлекали Татьяну, поэтъ называетъ между прочимъ и „Корсара“ (гл. 3, строфа XII).

„Шильонскій узникъ“ повліялъ, кажется, на содержаніе поэмы Пушкина: въ немъ повѣствуется о смерти двоихъ изъ трехъ братьевъ, заключенныхъ въ тюрьму; особенно подробно описываетъ Байронъ чувства старшаго брата при видѣ смерти младшаго. Таково-же содержаніе и „Братьевъ разбойниковъ“, съ тою лишь разницею, что тутъ являются два, а не три брата, и младшій болѣетъ и умираетъ не въ тюрьмѣ, а послѣ побѣга, на волѣ, въ лѣсу (внѣшнее измѣненіе, внесенное Пушкинымъ въ произведеніе Байрона изъ дѣйствительнаго событія). Должно замѣтить, что горе старшаго брата о младшемъ анализировано у Байрона глубже и выражено сильнѣе, чѣмъ у нашего поэта. — Форму изложенія своей поэмы Пушкинъ, можетъ быть, заимствовалъ изъ „Корсара“: начинается произведеніе тѣмъ, что разбойники пируютъ, чарка цѣннаго вина переходитъ изъ рукъ въ руки, и одинъ изъ собесѣдниковъ разсказываетъ съ сокрушеннымъ сердцемъ о смерти своего брата, товарища по разбою. Это сильно напоминаетъ два послѣдніе куплета пѣсни разбойниковъ, начинающей собою поэму Байрона [1]).

Насъ море покроетъ своей пеленой,
Любовь подаритъ неподкупной слезой,
А дружба товарищей чашей помянетъ,
Когда обходить ихъ вспѣненная станетъ.
И скажутъ, добычу дѣля межь собой,
Добытую сталью, рѣшающей бой,
Съ горящими тихой печально очами:
Погибшіе братья, зачѣмъ вы не съ нами?

Но главнымъ образомъ вліяніе „Корсара“ на Пушкина сказалось не въ этомъ, а въ выборѣ имъ героевъ своего произведенія и въ очеркѣ ихъ характеровъ.

---

[1]) Соч. Байрона въ пер. рус. поэтовъ, т. III, стр. 6.

Поэма Байрона есть выраженіе рѣзкаго протеста противъ общества. Герой ея, Конрадъ,—человѣкъ съ высокой душою, съ глубокимъ чувствомъ, сильный волею; но онъ обманутъ людьми „въ благихъ своихъ мечтахъ“, — и потому мститъ людямъ:

Онъ созданъ былъ

(говоритъ поэтъ)

для нѣгъ и мирныхъ наслажденій,
Но увлеченъ былъ зломъ въ пучину преступленій:
Онъ слишкомъ рано ядъ предательства узналъ,
И слишкомъ много зла и горя испыталъ [1])

Самъ Конрадъ такъ выражается про себя:

Давно я сталъ другимъ—и сердцемъ, и душою!
Растоптанный, какъ червь, я здѣлался змѣею [2]).

Онъ возсталъ зломъ на зло: онъ сдѣлался разбойникомъ, чтобы отплатить людямъ за ихъ безсердечіе. Его образъ— одинъ изъ многихъ примѣровъ, какъ Байронъ въ своей поэзіи казнитъ безнравственность общества безнравственностью-же.

У Пушкина тоже герои поэмы сдѣлались разбойниками вслѣдствіе озлобленія на порочное общество.

Нашу младость

(разсказываетъ одинъ изъ нихъ)

Вскормила чуждая семья.
Намъ, дѣтямъ, жизнь была не въ радость:
Уже мы знали нужды гласъ,
Сносили горькое презрѣнье,
И рано волновало насъ
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сиротъ
Ни бѣдной хижинки, ни поля,
Мы жили въ горѣ, средь заботъ.
Наскучила намъ эта доля,
И согласились межь собой
Мы жребій испытать иной:
Въ товарищи себѣ мы взяли
Булатный ножъ да темну ночь;
Забыли радость и печали,
А совѣсть отогнали прочь.

Подобно Байрону, и Пущкинъ идеализируетъ своихъ

[1]) Тамъ-же, стр. 59.
[2]) Тамъ-же, стр. 18.

героевъ. Его братья разбойники — не простые грабители и убійцы, а—люди, любящіе свободу, красоту Божьяго міра. Они — отважные юноши, у которыхъ

Душа рвалась къ лѣсамъ и волѣ,
Алкала воздуха полей.

Одинъ изъ нихъ говоритъ:

Ахъ, юность, юность удалая!
Житье въ то время было намъ.
Когда, погибель презирая,
Мы все дѣлили пополамъ.
. . . .
Зимой, бывало, въ ночь глухую
Заложимъ тройку удалую,
Поемъ и свищемъ, и стрѣлой
Летимъ надъ снѣжной глубиной.

Другой братъ такъ вспоминаетъ въ предсмертномъ бреду о своей прошлой жизни:

Зачѣмъ мой братъ меня оставилъ
Средь этой смрадной темноты?
Не онъ-ли самъ отъ мирныхъ пашенъ
Меня въ дредучій лѣсъ сманилъ,
И ночью тамъ, могущъ и страшенъ,
Убійству первый научилъ?
Теперь онъ безъ меня на волѣ
Одинъ гуляетъ въ чистомъ полѣ,
Тяжелымъ машетъ кистенемъ,
И позабылъ въ завидной долѣ
Онъ о товарищѣ своемъ!..

Въ этихъ, вдохновенныхъ къ сожалѣнію, словахъ мы видимъ—какъ ни странно сказать, но это несомнѣнно—идеализированіе убійства и чувствъ убійцы. По безтрепетной послѣдовательности русской души въ ея увлеченіяхъ, Пушкинъ, подражая Байрону, пошелъ здѣсь дальше своего оригинала. (Можно замѣтить кстати, что онъ пошелъ въ этомъ случаѣ и дальше Шиллера въ его „Разбойникахъ“). У Байрона Конрадъ по крайней мѣрѣ грабитъ и рѣжетъ своихъ враговъ, мусульманъ; у Пушкина его герои не щадятъ никого.

Идеализированіе Байрономъ корсара понятно: англійскому поэту жизнь не дала идеала, во имя котораго онъ могъ-бы казнить зло, и онъ возстаетъ противъ безнравственности

общества зломъ-же. Но онъ дѣлаетъ это (по справедливому замѣчанію нашего критика) съ горькой ироніей и тоской по идеалѣ. — Пушкинъ былъ въ иномъ положеніи: возвеличивать разбойниковъ онъ могъ не по недостатку въ русской жизни идеаловъ, а лишь вслѣдствіе увлеченія подражаніемъ, и потому въ его поэмѣ не слышится ни горькой ироніи, ни тоски безнадежной. Его произведеніе есть, вслѣдствіе этого, явленіе съ нравственной стороны болѣзненное, съ логической точки зрѣнія—нелѣпое.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что если русская природа Пушкина выразилась въ безпощадной послѣдовательности сочувственнаго изображенія зла, то она-же сказалась и въ другомъ, можетъ быть, пока помимо воли самого поэта, по крайней мѣрѣ бозсознательно. Корсара Байрона не мучитъ совѣсть, или, если и мучитъ, то тѣмъ не менѣе онъ убѣжденъ, что иначе поступать, какъ поступаетъ, онъ не можетъ, что мученія совѣсти — неизбѣжная его судьба. У Пушкина, напротивъ, пробужденіе совѣсти въ душѣ умираюшаго разбойника сопровождается яснымъ сознаніемъ, что онъ могъ-бы въ жизни своей и не идти противъ нея. Вопль совѣсти умирающаго, просившаго брата въ предсмертномъ бреду сжалиться надъ старикомъ, не смѣяться надъ его сѣдинами, не мучить его,—

авось мольбами
Смягчитъ за васъ онъ Божій гнѣвъ!..

этотъ вопль пробудилъ совѣсть и въ другомъ братѣ:

иногда щажу морщины—

(говоритъ онъ своимъ товарищамъ)

Мнѣ страшно рѣзать старика,
На беззащитныя сѣдины
Не подымается рука.

Въ затаенной глубинѣ души своей Пушкинъ не вѣрилъ, самъ того не сознавая, своему идеализированію зла и смутно чувствовалъ, что его герои достойны нравственной кары. Впослѣдствіи, когда онъ это созналъ, онъ прибавилъ къ поэмѣ нѣсколько стиховъ [1]), противорѣчащихъ ея общему тону и содержанію:

---

[1]) Соч. т. I, примѣч., стр. 559. Послѣдніе 16 стиховъ поэмы впервые явились въ посмертномъ изд. Соч. Пушкина.

Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть,
Она проснется въ черный день.

Въ письмѣ къ кн. Вяземскому (отъ 11-го ноября 1823 г.) [1]) Пушкинъ называетъ „Братьевъ разбойниковъ“—отрывкомъ. Изъ другаго его письма (къ Бестужеву, отъ 13-го іюля 1823 г.) [2]) мы узнаемъ, что была цѣлая поэма „Разбойники“ и что онъ ее сжегъ. „Разбойниковъ я сжегъ (говоритъ поэтъ) и по дѣломъ. Одинъ отрывокъ уцѣлѣлъ въ рукахъ у Николая Раевскаго“. Художественной-ли стороною своего произведенія, или его нравственнымъ смысломъ недоволенъ былъ Пушкинъ—мы не знаемъ. Но дорого-бы далъ поэтъ впослѣдствіи за возможность такъ-же сжечь свою кощунственную поэму,—только для нея было упущено время.

Какъ объяснить непостижимую странность противорѣчія между чувственной жизнью Пушкина въ Кишиневѣ и возбужденными этой жизнью нечистыми произведеніями его пера съ одной стороны — и чистыми вдохновеніями его въ Крыму и въ первое время пребыванія въ Бессарабіи съ другой стороны? На разстояніи нѣсколькихъ мѣсяцевъ цѣлый рядъ прямо противорѣчащихъ другъ другу созданій поэта. Отчего идеально-чистая любовь не удержала его отъ грубѣйшихъ увлеченій?

Многое объясняютъ въ Пушкинѣ, и отчасти, конечно, основательно, его огненной натурой, арабской кровью. Но нельзя ставить духъ, его жизнь и развитіе въ полную зависимость отъ какой-бы то ни было крови.—Не было-ли въ самой любви поэта, въ его отношеніяхъ къ любимому существу чего-нибудь такого, что его мучило, что не давало ему возможности сосредоточиться на чистыхъ помыслахъ и идеалахъ? Не былъ-ли его кишиневскій разгулъ сознательной или безсознательной попыткой забыться, смутнымъ порывомъ нѣкотораго отчаянія? — Трудно положительно отвѣтить на такіе вопросы, потому что поэтъ скрылъ отъ насъ всю фактическую сторону своей чистой любви. Онъ даже скрылъ—была-ли это любовь къ одному лицу, или по-

---

[1]) Соч. т. I, примѣч., стр. 559. Послѣдніе 16 стиховъ поэмы впервые явились въ посмертномъ изд. Соч. Пушкина.

[2]) Пушкинъ въ Южной Россіи.—Рус. Арх. 1866 г. стр. 1210.

слѣдовательно къ двумъ лицамъ (на что указывалъ впослѣдствіи самъ, какъ увидимъ). Но стихотворенія его даютъ однако-жь нѣкоторые намеки, позволяющіе думать, что былъ какой-то разладъ, вышло какое-то несогласіе или непониманіе другъ друга между имъ и любимымъ человѣкомъ.

Поэтъ хотѣлъ оставить для насъ тайною—былъ-ли онъ любимъ:

есть одна межъ ихъ толпою...
Я долго былъ плѣненъ одною...
Но былъ-ли я любимъ, и кѣмъ,
И гдѣ, и долго-ли?.. Зачѣмъ
Вамъ это знать? не въ этомъ дѣло!

говоритъ онъ въ пропущенной изъ „Евгенія Онѣгина“ 3-й строфѣ 4-й главы. Но онъ былъ любимъ,—это несомнѣнно и изъ приведенныхъ уже раньше стихотвореній и изъ всего вообще ряда элегій его, вдохновленныхъ этимъ чувствомъ. Самъ онъ любилъ искренно и глубоко,—это тоже не подлежитъ сомнѣнію. Вотъ, напр., какъ цѣломудренно-просто, сдержанно, и вмѣстѣ горячо выразилась его любовь въ коротенькой элегіи 1821 года:

Зачѣмъ безвременную скуку
Зловѣщей думою питать
И неизбѣжную разлуку
Въ уныньи робкомъ ожидать?
И такъ ужь близокъ день страданья!
Одинъ, въ тиши пустыхъ полей,
Ты будешь знать воспоминанья
Потерянныхъ тобою дней:
Тогда изгнаньемъ и могилой,
Несчастный, будешь ты готовъ
Купить хоть слово дѣвы милой,
Хоть легкій шумъ ея шаговъ.

Но что-то такое помѣшало счастью любящихъ другъ друга людей, что-то прошло между ними. Съ глубокой тоскою говоритъ объ этомъ Пушкинъ въ позднѣйшемъ (1824 г.) стихотвореніи „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“.

Одна была—предъ ней одной
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ
Любви поэзіи святой.
Тамъ, тамъ, гдѣ тѣнь, гдѣ листъ чудесный,
Гдѣ льются вѣчныя струи,

Я находилъ огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ахъ, мысль о той душѣ завялой
Могла-бы юность оживить,
И сны поэзіи бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна-бы разумѣла
Стихи неясные мои;
Одна-бы въ сердцѣ пламенѣла
Лампадой чистою любви.
Увы! напрасныя желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земныхъ восторговъ изліянья,
Какъ божеству, не нужно ей.

Она одна могла разумѣть вполнѣ творческія думы поэта, одна могла вполнѣ понимать и любить его (и любила, какъ можно догадываться) — и она отвергла́ его. Дополненіемъ къ этому его признанію можетъ служить одно четверостишіе 1825 года, неотдѣланное, должно быть, но́ вылившееся изъ сердца:

„Все кончено: межь нами связи нѣтъ“.
Въ послѣдній разъ обнявъ твои колѣни,
Произносилъ я горестныя пѣни;
„Все кончено“—я слышу твой отвѣтъ.

Когда послѣдовалъ этотъ разрывъ—послѣ отъѣзда поэта изъ Кишинева или раньше—мы не знаемъ. Но возможность его замѣтна уже въ стихотвореніяхъ 1821 года, и самъ Пушкинъ это чувствовалъ. Эти стихотворенія намекаютъ и на причины разрыва.

Не бойся вѣтренныхъ невѣждъ,
Не бойся клеветы ревнивой,
Не обмани моихъ надеждъ
Своею скромностью пугливой.

Такими словами высказалъ онъ свою ревнивую боязнь за любимую женщину, т. е. недостатокъ вѣры въ нее, а слѣдовательно и то, что онъ стоялъ ниже ея. Свое сознаніе въ этомъ послѣднемъ, свою боязнь за себя, за то, что былыя нравственныя паденія могутъ помѣшать чистому чувству и чистому счастью, онъ выразилъ въ глубокой элегіи:

Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о томъ, чего ужь нѣтъ,

Что было мнѣ дано въ печаль и въ наслажденье
  Что я любилъ, что измѣнило мнѣ;
Пускай я радости вкушаю не вполнѣ;
Но ты, невинная, ты рождена для счастья,
Безпечно вѣрь ему, летучій мигъ лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
  Для поцѣлуевъ сладострастья.
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Свѣтла, какъ ясный день, младенческая совѣсть.
Къ чему тебѣ внимать безумства и страстей
  Незанимательную повѣсть?
Она твой тихій умъ невольно возмутитъ.
Ты слезы будешь лить, ты сердцемъ содрогнешься;
Довѣрчивой души безпечность улетитъ,
И ты моей любви, быть можетъ, ужаснешься.
Быть можетъ навсегда... Нѣтъ, милая моя,
Лишиться я боюсь послѣднихъ наслажденій,—
Не требуй отъ меня опасныхъ откровеній:
Сегодня я люблю, сегодня счастливъ я!

Сегодня счастливъ я!“ — поэтъ хочетъ воспользоваться хоть однимъ днемъ истинной радости, боясь, что открытіе тайнъ его прошлой жизни лишитъ его счастья, какъ будто счастье можно строить на тайнѣ и какъ будто можно отъ той, кто все понимаетъ въ насъ и „требуетъ откровеній“, скрыть наше прошлое.—Было темное прошлое... но оно-ли послужило причиной разрыва? Едва-ли. Прошлое можетъ быть прощено и забыто. Да и одна позднѣйшая элегія намекаетъ намъ, что разрывъ былъ не полный, не „навсегда“, какъ поэтъ боялся; слѣдовательно, отъ него ждали возрожденія. Его мольба—не прерывать „томленья страшнаго разлуки“ этой разлуки не остановила; но любимый человѣкъ звалъ его въ „край иной“, говорилъ ему:

въ день свиданья,
Подъ небомъ вѣчно голубымъ,
Въ тѣни оливъ любви лобзанья
Мы вновь, мой другъ, соединимъ.

Не крылась-ли причина разлуки (сначала временной, а потомъ обратившейся въ вѣчную) не въ прошломъ, а въ настоящемъ поэта, въ связяхъ его съ прошлымъ, въ неумѣньи его въ ту пору бурнаго кипѣнія силъ, въ 20-хъ годахъ, порвать связи съ порочными увлеченіями былой жизни? Онъ самъ, кажется, свидѣтельствуетъ объ этомъ въ стихотвореніи 1821 г.

Ты правъ, мой другъ! напрасно я презрѣлъ
Дары природы благосклонной.

Эта элегія служила отвѣтомъ на сдѣланные ему кѣмъ-то упреки; она оканчивается стихами:

Я зналъ и трудъ и вдохновенье,
И сладостно мнѣ было жаркихъ думъ
Уединенное волненье!
Но все пропало!.. рѣзвый нравъ...
Душа часъ отъ часу нѣмѣетъ.
Въ ней чувства нѣтъ. Такъ легкій листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменѣетъ.

Пушкинъ чувствовалъ поэтической душою своей чистоту ожидавшаго его счастья; но онъ не могъ подняться до этой чистоты: его чувство не просвѣтилось настолько, чтобы не быть „изліяніемъ“ „земныхъ восторговъ“, какъ онъ выразился. Да и въ самой элегіи „Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ“, несмотря на всю нѣжность и кротость ея чувства, на всю искренность раскаянія въ прошломъ, слышится нѣкоторая рисовка этимъ прошлымъ, своей горькой опытностью, своими страданіями отъ паденій и самыми паденіями, слышится нѣчто байроновское и демоническое, то, что впослѣдствіи съ такою страшной силой выразилось въ Лермонтовѣ, подорвавши его титаническій геній.—Поэтъ стоялъ въ ту пору ниже овладѣвшаго душой его свѣтлаго чувства; оно вдохновляло его, оно осталось и потомъ душою его творчества до конца жизни; но въ Кишиневѣ онъ не смогъ самъ стать въ уровень съ своимъ чувствомъ. Вотъ почему и не удержался онъ на высотѣ идеала.

Это обстоятельство и зависѣвшій отъ него разрывъ— съ одной стороны возбуждали въ немъ мечты о смерти, съ другой стороны—можетъ быть вели его къ попыткамъ забыться въ окружавшей дѣйствительности. Отсюда главнымъ образомъ его кишиневскій (тогда непонятный, должно быть, для него самого) задоръ и разгулъ.

Два стихотворенія 1821 года свидѣтельствуютъ о желаніи поэтомъ смерти: элегія „Умолкну скоро я“ и „Гробъ юноши“. Въ первой онъ говоритъ о „долгихъ мученьяхъ“ своей любви, о томъ, что „прощальный звукъ“ его лиры будетъ одушевленъ

Завѣтнымъ именемъ любовницы прекрасной,

выражаетъ надежду, что любимое существо съ „умиленьемъ промолвитъ“ надъ его урной:

Онъ мною былъ любимъ; онъ мнѣ былъ одолженъ
И пѣсенъ и любви послѣднимъ вдохновеньемъ.

Другая элегія, „Гробъ юноши“, по мнѣнію г. Анненкова, вызвана извѣстіемъ о смерти лицейскаго товарища Пушкина—Корсакова, скончавшагося во Флоренціи. Но въ это стихотвореніе поэтъ внесъ субъективное чувство,—оно слышится въ словахъ:

Изъ милыхъ женъ его любившихъ,
Одна, быть можетъ, слезы льетъ,
И память радостей почившихъ
Привычной думою зоветъ.
Къ чему?

Гораздо больше было личнаго начала въ прекрасномъ стихотвореніи 1822 г. „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный“. Въ первоначальномъ своемъ видѣ [1]) элегія начиналась съ того, что поэту чужда и противна идея о смертности духа; затѣмъ говорилось, что онъ не можетъ примириться съ мыслью, будто въ вѣчномъ мірѣ „нетлѣнной славы и красы“ онъ забудетъ тоску любви своей. Если не любовь, то что-же еще можетъ пережить меня за могилой? спрашиваетъ поэтъ.

Но если духъ безсмертенъ мой...
Онъ мой, онъ вѣченъ образъ милой,
Что безъ него душа моя?...

И оттого ему милы мечты поэтовъ, что тѣни умершихъ слетаютъ на землю, утѣшаютъ въ сновидѣніяхъ

Сердца покинутыхъ друзей

и, вкушая безсмертіе, поджидаютъ ихъ въ свой блаженный міръ.—Затѣмъ Пушкинъ измѣнилъ идею, порядокъ мыслей и затемнилъ смыслъ произведенія: въ послѣдней редакціи элегіи [2]) онъ говоритъ въ началѣ, что любитъ мечты поэтовъ, увѣрившихъ насъ въ сношеніяхъ загробнаго міра съ міромъ земнымъ; далѣе высказываетъ мысль, что мо-

---

[1]) Соч. т. I, стр. 559—561 и т. V, стр. 499.
[2]) Соч. т. I, стр. 397.

жетъ быть съ „гробовой ризой“ человѣкъ бросаетъ всѣ земныя чувства, и душа тамъ,

> гдѣ все блистаетъ
> Нетлѣнной славой и красой,

не сохранитъ „минувшихъ впечатлѣній“ земной жизни. Быть можетъ за гробомъ, говоритъ поэтъ,

> Не буду вѣдать сожалѣній,
> Тоску любви забуду я...

Стало неясно—забвенія-ли своего чувства хочетъ онъ, или желалъ-бы и по смерти навѣщать

> Мѣста, гдѣ было все милѣй?

Вѣрнѣе—первое, т. е. хочетъ смерти любви своей, смерти въ высшей жизни духа. Только, кажется, этой высшей жизнью духа онъ себя обманываетъ, и за жаждою ея у него въ данную минуту кроется просто отчаянье.

Несправедливо было-бы думать, что въ эпоху увлеченій своихъ пошлой и матерьяльной жизнью Кишинева поэтъ весь отдавался этой жизни, всею душою. По справедливому замѣчанію г. Бартенева, Пушкинъ „былъ неизмѣримо выше и несравненно лучше того, чѣмъ казался, и чѣмъ даже выражалъ себя въ своихъ произведеніяхъ“. Близкіе друзья его отзывались, что „его задушевныя бесѣды стоили многихъ его печатныхъ сочиненій, и что нельзя было его не полюбить, покороче узнавши“ [1]. Со всѣмъ этимъ совершенно соглашается Липранди [2], который, не понимая (по собственному сознанію) поэзіи Пушкина, высоко ставилъ поэта какъ человѣка, такъ высоко, что даже въ своихъ запискахъ не придаетъ особеннаго значенія его увлеченіямъ картами, кутежами, балами, объясняя ихъ пылкостью натуры. Липранди думаетъ, что „Пушкинъ всему предпочиталъ бесѣду съ людьми, его понимающими“ [3]. Пушкинъ самъ (въ статьѣ своей о Байронѣ) объясняетъ причину противорѣчія между тѣмъ, чѣмъ онъ казался, и тѣмъ, чѣмъ

---

[1]) Пушкинъ въ Южной Россіи.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1170.
[2]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1412 и 1445—1447.
[3]) Тамъ-же, стр. 1239.

былъ на самомъ дѣлѣ. „Какъ судить о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по наружнымъ его дѣйствіямъ? (пишетъ— поэтъ). Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя при— творную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто по какому-либо своенравному убѣжденію ума своего, онъ мо— жетъ выставлять на позоръ толпѣ на самую лучшую сто— рону своего нравственнаго бытія; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни однѣми своими странностями“ [1]). Такъ дѣйствовалъ Байронъ, такъ, увлеченный отчасти его примѣромъ, поступалъ и Пушкинъ. Нельзя сказать, что онъ совсѣмъ не былъ такимъ, какимъ казался; но онъ несомнѣнно преувеличивалъ свои недостатки во внѣшнемъ образѣ своихъ дѣйствій. Это-же было замѣтно и въ его одеждѣ, въ его манерахъ. Кишиневское общество никакъ не могло простить ему его небрежнаго наряда, его архалука и бархатныхъ шароваровъ, въ которыхъ разгуливалъ онъ съ генералами, неприбранный и нечесаный, размахивая желѣзною дубинкою, готовый всякую минуту сказать дерзость кому угодно [2]). И въ то-же время вотъ какъ описываетъ его наружность В. П. Горчаковъ, впервые увидѣвшій поэта въ ноябрѣ 1820 года въ Кишиневскомъ театрѣ: „въ числѣ многихъ особенно обратилъ мое вниманіе вошедшій молодой человѣкъ, небольшаго роста, но довольно плечистый и сильный, съ быстрымъ и наблюдательнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто смѣющійся въ избыткѣ непринужденной веселости, и вдругъ неожиданно переходящій къ думѣ, возбуждающей участіе. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выраженіе думы до того было увлекательно, что невольно хотѣлось-бы спросить: что съ тобою? какая грусть мрачитъ твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фракъ, застегнутый на всѣ пуговицы, и такого-же цвѣта шаровары“.

Мы уже видѣли настоятельно указываемую близко знавшимъ Пушкина въ Кишиневѣ Липранди свѣтлую черту характера поэта—безукоризненную смѣлость и самообладаніе въ рѣшительную минуту жизни. Тотъ-же свидѣтель говоритъ, что Пушкинъ постоянно искалъ случаевъ обогатить

---

[1]) Тамъ-же, стр. 1170.

[2]) Пушкинъ въ Южной Россіи.—Стр. 1185 (Рус. Арх. 1866 г.)

себя познаніями. Запальчивый и рѣзкій, особенно въ спорахъ, „онъ смирялся, когда шелъ разговоръ о какихъ-либо наукахъ, въ особенности географіи и исторіи, и легкимъ, ловкимъ споромъ какъ-бы вызывалъ противника на обогащеніе себя свѣдѣніями... Въ такихъ бесѣдахъ, особенно съ В. Ѳ. Раевскимъ, Пушкинъ хладнокровно переносилъ иногда довольно рѣзкія выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя свѣдѣніями, продолжалъ обсужденіе предмета“ [1]). Петербургскій знакомый Пушкина, цитируемый г. Бартеневымъ (Якушкинъ?), встрѣтившій поэта въ Каменкѣ и рѣзко отозвавшійся объ его поведеніи, прибавляетъ однако: „зато, когда заходилъ разговоръ о чемъ-нибудь дѣльномъ, Пушкинъ тотчасъ просвѣтлялся. О произведеніяхъ словесности онъ судилъ вѣрно и съ особеннымъ какимъ-то достоинствомъ. Не говоря почти никогда о собственныхъ сочиненіяхъ, онъ любилъ разбирать произведенія современныхъ поэтовъ, и не только отдавалъ каждому изъ нихъ справедливость, но въ каждомъ изъ нихъ умѣлъ отыскивать красоты, какихъ другіе не замѣтили [2]).

Военный кружокъ, въ которомъ вращался Пушкинъ въ Бессарабіи, былъ весьма разнообразенъ: кромѣ товарищей— кутежа и игроковъ въ карты, поэтъ находилъ между офицерами и людей дѣльныхъ, просвѣщенныхъ, даже ученыхъ, съ которыми онъ и велъ серьезные бесѣды и споры. Такими людьми были напр. упомянутый Раевскій, Вельтманъ, Охотниковъ, Липранди. Раевскій отличался горячностью въ спорахъ съ Пушкинымъ; но поэтъ смирялъ свою „строптивость“, когда желалъ удовлетворить своей любознательности. Вельтманъ, напротивъ, былъ хладнокровенъ; но „онъ (говоритъ Липранди) безусловно не ахалъ каждому произнесенному стиху Пушкина, могъ и дѣлалъ свои замѣчанія, входилъ съ нимъ въ разборъ, и это не нравилось Александру Сергѣевичу, не смотря на неограниченное его самолюбіе“. Охотниковъ извѣстенъ былъ своими странностями, молчаливостью; вѣчно углубленный въ книги, онъ былъ „въ полномъ смыслѣ слова человѣкъ высшаго обра-

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г.—Стр. 1446—1447.
[2]) Рус. Арх. 1866 г.—Стр. 1183—1184.

зованія и начитанности". Пушкинъ шутилъ иногда надъ нимъ, но уважалъ его и „не разъ обращался къ нему съ серьезнымъ разговоромъ". Пушкинъ встрѣчалъ его у М. Ѳ. Орлова, а чаще у Липранди, у котораго сбирались названныя лица и другіе его знакомые еженедѣльно и по нѣскольку разъ въ недѣлю; на этихъ вечернихъ собраніяхъ не было ни картъ, ни танцевъ, а шли бесѣды и споры, и обыкновенно о дѣльныхъ предметахъ; Пушкинъ принималъ въ нихъ очень дѣятельное участіе, и результатомъ всего этого было его влеченіе къ занятію исторіей и географіей. Липранди разсказываетъ, что Пушкинъ неоднократно, послѣ такихъ споровъ, на другой или третій день бралъ у него книги, „касавшіяся до предмета, о которомъ шла рѣчь". [1]) Обогащенію поэта познаніями и дальнѣйшему ходу его умственнаго развитія способствовалъ также домъ Мих. Ѳед. Орлова, начальника 16 дивизіи, стоявшей въ Кишиневѣ; Пушкинъ былъ принятъ здѣсь какъ свой человѣкъ. Орловъ, носившій въ обществѣ лестное названіе „цвѣта русскихъ генераловъ", участникъ 1812 года и заграничныхъ войнъ, первый изъ русскихъ вступившій въ Парижъ и договаривавшійся объ его сдачѣ, былъ человѣкъ просвѣщенный и гуманный. Онъ женился въ 1821 году на Екатеринѣ Николаевнѣ Раевской, пріятельницѣ Пушкина по Юрзуфу, что еще болѣе сблизило поэта съ его домомъ, гдѣ онъ встрѣчался и съ Раевскими и съ Давыдовыми.—Наконецъ полезенъ былъ для Пушкина, если не въ умственномъ, то въ нравственномъ отношеніи, добрый старикъ Инзовъ, начальникъ его, чувствовавшій къ поэту искреннюю симпатію. „Инзовъ, меня очень любилъ и за всякую ссору съ молдаванами объявлялъ мнѣ комнатный арестъ и присылалъ мнѣ скуки ради — французскіе журналы... Генералъ Инзовъ — добрый, почтенный... Онъ русскій въ душѣ", писалъ Пушкинъ въ своихъ запискахъ въ 1825 или 1826 году [2]). Онъ и жилъ у Инзова въ домѣ до переѣзда (по случаю пострадавшей отъ землетрясенія квартиры) къ Н. С. Алексѣеву.

Самообразованіемъ, чтеніемъ поэтъ поправлялъ въ Кишиневѣ недостатки своего лицейскаго воспитанія. О сво-

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г. стр. 1248—1250, 1251, 1252—1253, 1255—1256.

[2]) Соч. т. V, стр. 46—47.

ихъ серьезныхъ занятіяхъ онъ самъ говоритъ въ прекрасномъ посланіи „Чадааеву“ (1821 г.): вспомнивъ о Петербургѣ, гдѣ оставилъ

шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,

онъ продолжаетъ:

сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

Г. Анненковъ справедливо замѣчаетъ [1]), что „спокойный тонъ“ этого посланія „находится въ совершенномъ противорѣчіи со всѣмъ, что мы знаемъ о бѣшенной жизни Пушкина въ эту эпоху“.

Пушкинъ много читалъ, особенно въ первую половину своей жизни въ Кишиневѣ; во вторую половину, съ наплывомъ въ городъ различныхъ выходцевъ съ юга, онъ, знакомясь съ ними, собиралъ отъ нихъ преданія, пѣсни. — Книги поэтъ бралъ у Инзова, Орлова, Пущина, у Липранди [2]). Послѣдній занимался тогда „розысканіями и сводомъ повѣствованій разныхъ историковъ, древнихъ и имъ послѣдовавшихъ, вообще о пространствѣ, занимающемъ Европейскую Турцію“; у него была большая спеціальная библіотека по этому предмету. Пушкинъ, по словамъ Липранди, интересовался многими сочиненіями, которыя и бралъ у него. Первое, имъ взятое, былъ—Овидій (во французскомъ переводѣ), потомъ Валерій Флаккъ (Аргонавты), Страбонъ, Мальтебрюнъ, и другія, „особенно относящіяся до исторіи и географіи“. Иныя сочиненія онъ возвращалъ скоро, другія держалъ долго [3]). Должно быть Пушкинъ читалъ и русскія лѣтописи; на это указываетъ сочиненіе имъ „Пѣсни о вѣщемъ Олегѣ“ и письмо къ брату (въ началѣ 1823 года), гдѣ онъ осуждаетъ Рылѣева за помѣщеніе, въ одной изъ

[1]) Пушкинъ въ Алекс. эпоху, стр. 156.
[2]) Пушкинъ въ Южной Россіи. Р. Арх. 1866 г., стр. 1140.
[3]) Р. Арх. 1866 г., стр. 1261.

его думъ, герба Россіи на щитѣ Олега: „Во время Олега герба русскаго не было, а двуглавый орелъ есть гербъ византійскій и значитъ раздѣленіе имперіи на зап. и вост.; у насъ же онъ ничего не значитъ“. Черезъ два года, когда Рылѣевъ выпустилъ въ свѣтъ собраніе своихъ думъ, Пушкинъ писалъ ему: „Древній гербъ, св. Георгій, не могъ находиться на щитѣ язычника Олега. Новѣйшій, двуглавый орелъ, есть гербъ византійскій и принятъ у насъ во время Іоанна III-го, не прежде. Лѣтописецъ говоритъ: тоже повѣси щитъ свой на вратѣхъ, на показаніе побѣды“ [1]). Здѣсь кстати будетъ сказать, что быть можетъ это настоятельное указаніе Пушкина на историческую ошибку Рылѣева, указаніе, подкрѣпляемое выпискою изъ лѣтописи, выражаетъ вообще его взглядъ на декабристовъ: поэтъ подмѣтилъ въ одномъ изъ главныхъ дѣятелей тайнаго общества диллетантизмъ въ вопросахъ русской исторіи. — Древніе, классическіе писатели интересовали Пушкина; мы это знаемъ не только потому, что онъ бралъ ихъ у Липранди, но и изъ другихъ обстоятельствъ; такъ, наприм., пришлось ему однажды, проѣзжая съ Липранди черезъ Измаилъ, познакомиться съ генераломъ Тучковымъ, у котораго въ библіотекѣ онъ увидѣлъ „всѣхъ классиковъ и выписки изъ нихъ“; это привело его въ пасмурное настроеніе, онъ сказалъ своему спутнику, что охотно „остался бы здѣсь на мѣсяцъ, чтобы просмотрѣть все то, что ему показывалъ генералъ“ [2]).

Очень естественно, что изъ древнихъ писателей болѣе всѣхъ занималъ его воображеніе поэтъ Овидій, тѣмъ болѣе, что Пушкинъ видѣлъ нѣкоторое сходство въ своей судьбѣ съ его судьбою, и одинъ и тотъ-же край былъ мѣстомъ ссылки обоихъ. Свой интересъ къ римскому изгнаннику Пушкинъ выразилъ въ нѣсколькихъ изъ своихъ поэтическихъ созданій. Но едва-ли можно думать, что Овидій (какъ у насъ часто говорятъ) сильно повліялъ на развитіе генія Пушкина и на его творчество. Самъ поэтъ говоритъ объ Овидіи въ стихотвореніи „Желаніе“ (1821 г.), сравнивая свою „лиру“ съ лирой римскаго писателя:

---

[1]) Пушкинъ въ Южной Россіи. Р. Арх. 1866, стр. 1203, прим. 107.
[2]) Р. Арх. 1866 г., стр. 1281.

Въ моихъ рукахъ Овидіева лира,
Счастливая пѣвица красоты,
Пѣвица нѣгъ, изгнанья и разлуки,
Найдетъ-ли вновь свои живые звуки?

Но не-трудно замѣтить, что указываемое сходство—чисто внѣшнее и временное. Затѣмъ Пушкинъ посвятилъ древнему поэту большую и прекрасную элегію „Къ Овидію (1821 г.). По справедливому замѣчанію г. Бартенева, стихотвореніе это вышло плодомъ изученія. Пушкинъ любилъ его. „Каковы стихи къ Овидію? (писалъ онъ брату). Душа моя, и Русланъ, и Плѣнникъ, и Noël, и все дрянь въ сравненіи съ ними" [1]). Въ стихотвореніи онъ вспоминаетъ участь римскаго изгнанника, сравнивая ее со своею, выражаетъ сочувствіе его горю и удивляется его генію, скромно ставя свой даръ ниже.

Увы, среди толпы затерянный пѣвецъ,
Безвѣстенъ буду я для новыхъ поколѣній
И, жертва темная, умретъ мой слабый геній
Съ печальной жизнію, съ минутною молвой!..
Но если обо-мнѣ потомокъ поздній мой
Узнавъ, придетъ искать въ странѣ сей отдаленной
Близь праха славнаго мой слѣдъ уединенный,
Бреговъ забвенія оставя хладну сѣнь,
Къ нему слѣтитъ моя признательная тѣнь,
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье.
Да сохранится же завѣтное преданье.
Какъ ты, враждующей покорствуя судьбѣ,
Не славой, участью я равенъ былъ тебѣ.

Но здѣсь-же поэтъ указываетъ и различіе между собой и Овидіемъ; передавая его мольбы и горькія жалобы друзьямъ на свою судьбу, онъ говоритъ:

Чье сердце хладное, презрѣвшее харитъ,
Твое уныніе и слезы укоритъ?
Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья
Сіи элегіи—послѣднія творенья,
Гдѣ ты свой тщетный стонъ потомству передалъ?
   Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ,
Но понимаю ихъ.

Далѣе идетъ сравненіе впечатлѣній обоихъ поэтовъ въ новомъ для нихъ краю, — и впечатлѣнія оказываются совершенно различны:

---

[1]) Р. Арх. 1866 г., стр. 1164.

Здѣсь, ожививъ тобой мечты воображенья,
Я повторилъ твои, Овидій, пѣснопѣнья,
И ихъ печальныя картины повѣрялъ;
Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ измѣнялъ.
Изгнаніе твое плѣняло втайнѣ очи,
Привыкшія къ снѣгамъ угрюмой полуночи.

Наконецъ, образъ Овидія является въ прекрасномъ, поэтическомъ преданіи о немъ, которое разсказываетъ старикъ-цыганъ въ поэмѣ „Цыганы". Можетъ быть Пушкинъ дѣйствительно въ народѣ подслушалъ эту повѣсть о римскомъ изгнанникѣ. Овидій изображенъ здѣсь безнадежно тоскующимъ о своей родинѣ, кроткимъ, незлобивымъ старцемъ, съ душою полной еще жизни, плѣняющемъ людей своими разсказами, своимъ „дивнымъ даромъ пѣсенъ"; слабый и робкій какъ дѣти, онъ не можетъ привыкнуть къ заботамъ той бѣдной жизни, въ которую бросила его судьба (черта, замѣтимъ мимоходомъ, совершенно не свойственная Пушкину). Вотъ и все, или почти все, что можно найти у нашего поэта объ Овидіи [1]). Къ этому можно еще прибавить, что онъ интересовался опредѣленіемъ мѣста ссылки римскаго писателя [2]). — Конечно, пластическая красота поэзіи древняго автора не осталось безъ вліянія на музу Пушкина и способствовала усиленію художественности его поэзіи. Но нельзя даже и сравнивать силы этого вліянія съ вліяніемъ Байрона.

Кромѣ чтенія книгъ Пушкинъ интересовался и народной поэзіей и историческими преданіями и памятниками. Такъ, онъ записывалъ сербскія пѣсни, пользуясь знакомствомъ своимъ, черезъ Липранди, съ сербскими воеводами, поселившимися въ Кишиневѣ: Вучичемъ, Ненадовичемъ, Живковичемъ, двумя братьями Македонскими и другими; Липранди говоритъ, что поэтъ часто при немъ спрашивалъ ихъ „о значеніи тѣхъ или другихъ словъ для перевода" [3]). Въ бытность свою (проѣздомъ) въ Измаилѣ, поэтъ записалъ со словъ свояченицы негоціанта Славича, у котораго останавливался, какую-то славянскую пѣсню, разсказываетъ

---

[1]) См. еще: „Чадааеву" (1821 г.). „Баратынскому изъ Бессарабіи" (1822 г.), „Изъ письма къ Н. И. Гнѣдичу" (1821).

[2]) Изъ дневн. и восп. Липранди. Р. Арх. 1866 г., стр. 1267 — 1269 1276).

[3]) *Тамъ-же,* стр. 1266—1267.

Липранди [1]); онъ не понималъ нѣкоторыхъ словъ иллирійскаго нарѣчія въ этой пѣснѣ, а продиктовавшая ее не могла ихъ объяснить, потому что, кромѣ роднаго языка, знала лишь итальянскій; и Пушкинъ хлопоталъ найти человѣка, который-бы ихъ растолковалъ.—Вотъ съ какихъ поръ Пушкинъ интересовался славянской поэзіей и вотъ гдѣ объясненіе удивительной вѣрности написанныхъ имъ впослѣдствіи „Пѣсенъ западныхъ славянъ" духу народности.—Очень извѣстное, хотя довольно слабое, стихотвореніе „Черная шаль", пріобрѣвшее славу въ Кишиневѣ и нравившееся въ то время самому поэту, было переложеніемъ одной изъ пѣсенъ молодой молдаванки Маріониллы [2]).—Знаменитая пѣсня Земфиры (въ „Цыганяхъ")—„Рѣжь меня, жги меня" — есть подражаніе молдавско-цыганской пѣснѣ „ардема фридема"; поэтъ слышалъ ее, вмѣстѣ съ другими пѣснями, отъ цыганъ, домашнихъ музыкантовъ боярина Варѳоломея, славившихся въ Кишиневѣ и приглашавшихся на всѣ вечера, гдѣ они, въ промежуткахъ между танцами, пѣли, акомпанируя себѣ на скрипкахъ, кобзахъ и тростянкахъ, которыя Пушкинъ называлъ цѣвницами. Поэтъ попросилъ кого-то положить эту цыганскую пѣсню на ноты, которыя и были напечатаны впослѣдствіи (въ 1825 г.) въ „Московск. Телеграфѣ" съ примѣчаніемъ: „прилагаемъ ноты дикаго напѣва сей пѣсни, слышаннаго самимъ поэтомъ въ Бессарабіи" [3]). — Липранди разсказываетъ [4]), что поэтъ записалъ еще двѣ современныя историческія народныя пѣсни, которыя въ 1821 году безпрерывно слышались на улицахъ Кишинева и особенно занимали Пушкина. Въ одной изъ нихъ аллегорически разсказывалось о предательскомъ умерщвленіи главы пандурскаго возстанія Тодора Владимірески по распоряженію князя Ипсиланти; въ другой—о такой-же предательской смерти храбраго Бимъ-баши-Саввы, родомъ Болгарина, подготовившаго движеніе болгаръ, которымъ Ипсиланти не умѣлъ воспользоваться.—Поэтъ составилъ въ

---

[1]) Тамъ-же, стр. 1279.

[2]) Изъ Зап. В. Г. Теплякова (Пушк. въ Южн. Рос. — Русск. Арх. 1866 г., стр. 1130).

[3]) Разсказъ В. П. Горчакова.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1158.

[4]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1407—1408.

это время и двѣ историческія повѣсти изъ молдавскихъ преданій, по разсказамъ гетеристовъ (Каравія, Дуки и Пендадеки). Онъ обработалъ ихъ позже, уже въ Одессѣ; онѣ назывались: „Дука, молдавское преданіе XVII вѣка“ и „Дафна и Дабижа, молдавское преданіе 1663 года“ [1]. — Должно замѣтить, что, интересуясь народной поэзіей, Пушкинъ сталъ, кажется, съ тѣхъ поръ и вообще наблюдать сознательно народную жизнь; такъ, въ стихотвореніи 1821 года „Примѣты“ онъ указываетъ, какъ напримѣръ, достойный подражанія, на народное умѣнье узнавать погоду по небу, облакамъ, по солнцу, по крику и плесканью въ водѣ лебедей.

Историческія мѣстности очень занимали Пушкина, по свидѣтельству Липранди; такъ напр. его волновали Бендеры, Измаилъ, Кагульское поле. Однажды темною ночью ему пришлось проѣзжать мимо послѣдняго; онъ дремалъ; но когда спутникъ назвалъ ему знаменитое поле, онъ встрепенулся и горячо пожалѣлъ, что не день и что ничего не видно; онъ заговорилъ о битвѣ при Кагулѣ, и оказалось, что онъ читалъ о всѣхъ подробностяхъ ея. Станція Клушаны (близь Бендеръ) „взбудоражила Пушкина (говоритъ Липранди): это бывшая до 1806 года столица Буджацкихъ хановъ“; поэтъ „никакъ не хотѣлъ вѣрить, что тутъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ, все разнесено, не то, что въ Бакчи-Сараѣ; года черезъ полтора онъ могъ убѣдиться и самъ въ томъ, что ему всѣ говорили; до того-же времени оставался неспокойнымъ“ [2].

О серьезности умственныхъ интересовъ Пушкина въ эту эпоху свидѣтельствуетъ между прочимъ и то обстоятельство, что онъ началъ въ 1821 году свою автобіографію, которою и продолжалъ заниматься нѣсколько лѣтъ сряду. Эта автобіографія, къ сожалѣнію, истреблена [3].

Въ нравственномъ отношеніи поэтъ стоялъ тоже гораздо выше, чѣмъ какимъ выказывался и порой рисовался. — Мы видѣли, какъ онъ совѣтовалъ брату презирать людей; но въ томъ-же самомъ наставленіи, подрывая самъ подобные

---

[1] Тамъ-же, 1408—1411. Г. Бартеневъ почему-то говоритъ въ примѣч.: отъ себя Пушкинъ ничего не прибавилъ тутъ.

[2] Рус. Архивъ 1866 г., стр. 1271, 1279, 1281 и 1282.

[3] Рус. Арх. 1866 г., стр. 1141 (Пушкинъ въ Юж. Рос.).

совѣты, онъ писалъ: „хотѣлъ-бы я предостеречь тебя отъ обольщеній дружбы, но у меня не хватаетъ духу черствить твою душу въ пору ея сладчайшихъ мечтаній. Все, что я могъ-бы сказать тебѣ относительно женщинъ, было-бы совершенно безполезно. Замѣчу только, что чѣмъ менѣе любятъ женщину, тѣмъ вѣрнѣе обладаніе ею. Но такое наслажденіе прилично старой обезьянѣ XVIII вѣка“ [1]. — Видя величіе Петра въ томъ, между прочимъ, что онъ будто-бы „презиралъ человѣчество“, и сочувствуя, подобно Байрону, этому презрѣнію къ людямъ въ Наполеонѣ, Пушкинъ въ превосходномъ стихотвореніи „Наполеонъ“ (1821 г.) вдохновенно выражаетъ совершенно иныя идеи, рисуя гордаго властителя совсѣмъ не по-байроновски. Онъ понимаетъ обаятельную красоту его личной энергіи и силы:

Давно-ль орлы твои летали
Надъ обезславленной землей?
Давно-ли царства упадали
При громахъ силы роковой?
Послушны волѣ своенравной,
Бѣдой шумѣли знамена,
И налагалъ яремъ державный
Ты на земныя племена.

Но онъ обвиняетъ Наполеона именно за презрѣніе его къ человѣчеству, за его гордое самовластіе; онъ говоритъ съ возвышеннымъ негодованіемъ:

въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удѣлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человѣчество презрѣлъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой вѣровалъ душой...
Тебя плѣнило самовластье
Разочарованной красой.

Военную славу, данную Наполеономъ Франціи, онъ называетъ „блистательнымъ позоромъ“; онъ сочувствуетъ народной Немезидѣ, покаравшей тирана:

Европа свой расторгла плѣнъ;
Во слѣдъ тирану полетѣло,
Какъ громъ, проклятіе племенъ,

---

[1] „Рус. Старина“ 1879 г. авг., стр. 683.

И длань народной Немезиды
Подъяту видитъ великанъ.
И до послѣдней всѣ обиды
Отплачены тебѣ, тиранъ!

Но, считая низкимъ презрительно гордиться надъ падшимъ, поэтъ высказываетъ великодушную мысль примиренія и забвенія прошлаго:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душною изгнанья
Подъ сѣнью чуждою небесъ.
. . . .
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!.. Онъ Русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

Простымъ и добрымъ русскимъ человѣкомъ является намъ Пушкинъ въ этомъ своемъ сочиненіи. — Такимъ сознавалъ онъ себя и самъ порою; простымъ и добродушнымъ рисуетъ онъ себя, напр., въ стихотвореніи „Къ моей чернильницѣ“ (1821 г.):

Я весело клеймилъ
Зоила и невѣжду
Пятномъ твоихъ чернилъ...
Но ихъ не разводилъ
Ни тайной злости пѣной,
Ни ядомъ клеветы —
И сердца простоты
Ни лестью, ни измѣной
Не замарала ты.

Далѣе онъ съ сердечной теплотой вспоминаетъ друзей своихъ и переписку съ ними. — Въ Кишиневѣ настоящихъ друзей у него не было, и это его тяготило. Въ 1821 г. онъ написалъ:

Всегда такъ будетъ и бывало,
Таковъ издревле бѣлый свѣтъ:
Ученыхъ много, умныхъ мало:
Знакомыхъ тьма, а друга нѣтъ.

Въ письмѣ къ брату, 24 января 1822 года [1]), онъ жалуется на молчаніе своихъ петербургскихъ друзей:

„письма твои слишкомъ коротки: ты или не хочешь, или не можешь мнѣ говорить открыто обо всемъ. Жалѣю: болтливость братской дружбы была-бы мнѣ большимъ утѣшеніемъ. Представь себѣ, что до моей пустыни не доходитъ ни одинъ дружескій голосъ, что друзья мои какъ нарочно рѣшились оправдать мою элегическую мизантропію,—и это состояніе несносно“.

Вопреки Байрону, безконечно высоко поднимавшему гордую силу личности, Пушкинъ въ превосходной балладѣ „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“ проводитъ идею, что личная гордость человѣка должна уступать нравственному закону, волѣ Бога. Доблестный, могучій, и гордый этимъ, Олегъ встрѣчаетъ кудесника, проситъ его предсказать ему судьбу и находитъ нужнымъ высокомѣрно ободрить служителя боговъ словами:

Открой мнѣ всю правду—не бойся меня,
Въ награду любаго возьмешь ты коня.

Кудесникъ наноситъ ударъ его гордости спокойнымъ, полнымъ возвышеннаго достоинства отвѣтомъ:

Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
А княжескій даръ имъ не нуженъ;
Правдивъ и свободенъ ихъ вѣщій языкъ
И съ волей небесною друженъ.

Онъ предсказываетъ князю смерть отъ любимаго коня. Олегъ гордо усмѣхается, считая унизительнымъ для себя повѣрить, что судьба восторжествуетъ надъ его могучею силой. Онъ, правда, сдерживаетъ сейчасъ-же свое высокомѣріе — и отдаетъ коня отрокамъ; но когда онъ узнаетъ потомъ, что конь умеръ раньше его, онъ даетъ полную волю своему тщеславію, и, гордо наступивши на черепъ своего былаго „слуги“ и „товарища“, говоритъ съ презрительной насмѣшкой:

Такъ вотъ гдѣ таилась погибель моя?
Мнѣ смертію кость угрожала!

Но въ эту самую минуту кажущагося торжества его гордости сбывается воля боговъ: князь вскрикиваетъ, смертельно ужаленный выползшей изъ черепа змѣей.

---

[1]) Рус. Арх. стр. 1195.

Въ „Пѣснѣ о вѣщемъ Олегѣ“ и въ одѣ „Наполеонъ“ Пушкинъ является намъ совершенно самостоятельнымъ, самобытнымъ поэтомъ и вполнѣ русскимъ человѣкомъ. Онъ и былъ въ эту пору русскимъ въ глубинѣ души, не смотря на свои увлеченія байронизмомъ. Онъ любилъ все русское, хотя иногда и казалось иначе, хотя можетъ быть изъ кишиневской его жизни и не мало можно привести случаевъ, повидимому свидѣтельствующихъ о противномъ; напр. онъ никакъ не могъ согласиться съ В. Ѳ. Раевскимъ, что въ русской поэзіи не должно приводить именъ изъ миѳологіи и изъ древней исторіи Греціи и Рима, потому что у насъ и то и другое есть свое [1]). Но онъ-же въ 1822 году писалъ брату: „хочу съ тобою побраниться,—какъ тебѣ не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо; ты не московская кузина“ [2]). Еще раньше (въ іюнѣ 1821 года), тоже въ письмѣ къ брату, онъ выразился: „пиши мнѣ по-русски, потому что, слава Богу, съ моими конституціонными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку“ [3]). Нѣсколько позже, въ Одессѣ, Пушкинъ пришелъ въ восторгъ, когда генералъ Сабанѣевъ явился на маскарадный вечеръ графа Воронцова во фракѣ, на который нацѣпилъ всѣ имѣвшіеся у него иностранные ордена и ни одного русскаго, что возбудило неудовольствіе иностранныхъ консуловъ, увидѣвшихъ въ этомъ желаніе оскорбить значеніе ихъ орденовъ въ глазахъ русскихъ. Пушкинъ восторгался (можетъ быть нѣсколько и легкомысленно) именно тѣмъ, что иностранные ордена употреблены какъ маскарадный костюмъ.—О любви Пушкина къ родинѣ и ея обычаямъ поэтически свидѣтельствуетъ коротенькое стихотвореніе 1822 г. „Птичка“.

Въ чужбинѣ свято наблюдаю
Родной обычай старины;
На волю птичку выпускаю
При свѣтломъ праздникѣ весны.
Я сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать.

---

[1]) Изъ Дн. и восп. Липранди.—Рус. Арх. 1866 г., стр. 1256.
[2]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1195.
[3]) Рус. Стар. 1879 г., авг., стр. 674.

Въ соблюденіи прекраснаго и простаго народнаго обычая нашелъ отраду

изгнанникъ самовольный,
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный [1])

Весною 1821 года началось греческое возстаніе. Пылкое и благородное сердце Пушкина отозвалось горячимъ сочувствіемъ на народное движеніе. Онъ враждебно относился къ Турціи еще ранѣе, напр. въ 1820 году, когда писалъ стихотвореніе „Дочери Карагеоргія“.

Гроза луны, свободы воинъ,
Покрытый кровію святой,
Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой,
И ужаса людей и славы былъ достоинъ.

Теперь онъ вѣрилъ въ успѣхъ возстанія, можетъ быть болѣе самихъ грековъ, по крайней мѣрѣ многихъ изъ нихъ. Въ своемъ дневникѣ 1821 года онъ записалъ:

„2-го апрѣля вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная гречанка. Говорили объ А. Ипсиланти; между пятью греками я одинъ говорилъ какъ грекъ; всѣ отчаявались въ успѣхѣ предпріятія этеріи. Я твердо увѣренъ, что Греція восторжествуетъ, и 2.500,000 турокъ оставятъ цвѣтущую страну Эллады законнымъ наслѣдникамъ Гомера и Ѳемистокла“ [2]).

Пушкинъ съ глубокимъ интересомъ слѣдилъ за ходомъ движенія и велъ дневникъ его [3]). Въ „Письмѣ о началѣ греческой революціи“ [4]). въ спокойномъ, объективномъ разсказѣ поэта слышится его внутреннее одушевленіе. „Я видѣлъ (говоритъ онъ) письма одного инсургента. Съ жаромъ описываетъ онъ обрядъ освященія знаменъ и меча князя Ипсиланти, восторгъ духовенства и народа: прекрасная минута надежды и свободы“. Съ глубокимъ сочувствіемъ разсказываетъ Пушкинъ далѣе о волненіи и приготовленіяхъ грековъ въ Одессѣ, о томъ, какъ „всѣ продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; всѣ говорили о Леонидѣ, о Ѳемистоклѣ, всѣ

---

[1]) „Къ Овидію“, т. I, стр. 386.
[2]) Соч., т. V, стр. 6.
[3]) Матер. г. Анненкова, стр. 95.—Соч. т. V, стр. 11—12.
[4]) Соч., т. V, стр. 8- 10.

шли въ войско счастливца Ипсиланти". Описавъ возникновеніе тайнаго общества, имѣвшаго цѣлью освобожденіе Греціи, поэтъ прибавляетъ свое замѣчаніе: „съ одной стороны просвѣщеніе, съ другой глубокое невѣжество — все покровительствовало вольнолюбимымъ патріотамъ. Всѣ купцы, все духовенство, до послѣдняго монаха, считались въ обществѣ, которое нынѣ торжествуетъ... Странная картина! Два народа [1]), давно падшихъ въ презрительное ничтожество, въ одно время возстаютъ отъ долгаго усыпленія и и возобновляются, являются на политическомъ поприщѣ міра. Первый шагъ Ипсиланти прекрасенъ и блистателенъ! Онъ счастливо началъ: — 28 лѣтъ, оторванная рука, цѣль великодушная! отнынѣ онъ принадлежитъ исторіи. Завидная участь!" Письмо оканчивается вопросомъ: „что станетъ дѣлать Россія?.. перейдемъ-ли мы за Дунай союзниками грековъ и врагами ихъ враговъ?" — Поэту очень хотѣлось вмѣшательства Россіи; онъ мечталъ о войнѣ и самъ хотѣлъ принять въ ней участіе; онъ даже написалъ стихотвореніе „Война", въ которомъ обращается къ судьбѣ своей съ такими вопросами:

Родишься-ль ты во мнѣ, слѣпая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирѣпый жаръ героевъ?
Вѣнокъ-ли мнѣ двойной достанется на часть,
Кончину-ль темную судилъ мнѣ жребій боевъ?

Можно подумать, что все это подтверждаетъ мысль Липранди, что Пушкинъ „созданъ былъ для поприща военнаго, и на немъ, конечно, былъ-бы лицемъ замѣчательнымъ" [2]). Но, вникнувъ въ стихотвореніе, не трудно увидѣть, что жажда Пушкина участвовать въ бою—напускная, вызванная, должно быть, подражаніемъ Байрону: стихотвореніе въ сущности холодно и напыщенно; да и окончаніе его обнаруживаетъ совсѣмъ не то, что поэтъ хотѣлъ въ немъ выразить. Онъ задается въ послѣднихъ стихахъ вопросомъ—неужели умретъ съ нимъ и любовь его?

Ужель ни бранный шумъ,
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой славы —
Ничто не заглушитъ моихъ привычныхъ думъ?

---

[1]) Греки и итальянцы.
[2]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1454.

Я таю, жертва злой отравы:
Покой бѣжитъ меня. . . . .
. . . .
Что-жь медлитъ ужасъ боевой?
Что-жь битва первая еще не закипѣла!

Въ этихъ слабыхъ стихахъ (довольно явномъ подражаніи монологу Орлеанской дѣвы Шиллера) сказывается (безсознательно, конечно) не одушевленіе дѣломъ свободы, а субъективное желаніе смерти, недовольство своей судьбою, то самое, что, какъ мы видѣли, вызвало у поэта стихотвореніе „Умолкну скоро я“ и другія.

Скоро Пушкину пришлось разочароваться въ надеждахъ на успѣхъ возстанія, потому что онъ разочаровался въ нравственной доблести его дѣятелей. Вотъ что писалъ онъ объ этихъ послѣднихъ въ 1823 или 1824 г.: „Константинопольскіе нищіе, карманные воришки (coupeurs des bourses), бродяги безъ смѣлости, которые не могли выдержать перваго огня даже плохихъ турецкихъ стрѣлковъ — вотъ что они... Что касается до офицеровъ, то они еще хуже солдатъ... ни малѣйшей идеи о военномъ искусствѣ, никакого понятія о чести, никакого энтузіазма... французы и русскіе, которые здѣсь живутъ, не скрываютъ презрѣнія къ нимъ, вполнѣ ими заслуженнаго; да они все и переносятъ, даже палочные удары, съ хладнокровіемъ, по истинѣ достойнымъ Ѳемистокла. Я не варваръ и не апостолъ Корана (заключаетъ поэтъ), дѣло Греціи меня живо трогаетъ: вотъ почему я и негодую, видя, что на долю этихъ несчастныхъ (misérables) выпала священная обязанность быть защитниками свободы“ [1]). Должно быть подобныя мысли Пушкинъ высказывалъ открыто, и онѣ были перетолкованы въ смыслѣ несочувствія его дѣлу свободы Греціи. По крайней мѣрѣ ему пришлось оправдываться въ этомъ передъ кѣмъ-то изъ своихъ друзей: „что̀-бъ тебѣ ни говорили (писалъ поэтъ), ты не долженъ былъ вѣрить, чтобы когда-нибудь сердце мое не доброжелательствовало благороднымъ усиліямъ возрождающагося народа“. И онъ совершенно правъ: онъ искренно написалъ въ посланіи „Къ Овидію“ стихъ—

Великодушный грекъ свободу вызывалъ,

---

1) Соч. т. V, стр 18—19.

искренно назвалъ Грецію, въ письмѣ къ брату (въ 1822 г.), „великолѣпной, классической, поэтической“ страной, гдѣ „все дышетъ миѳологіей и героизмомъ“ [1]). Позднѣе, въ Одессѣ, въ 1823 году, онъ написалъ опять одушевленное воззваніе къ ней:

Возстань, о Греція, возстань!
Не даромъ напрягаешь силы,
Не даромъ потрясаетъ брань
Олимпъ и Пиндъ, и Ѳермопилы,
. . . .
Страна героевъ и боговъ,
Расторгни рабскія вериги,
При пѣньи пламенныхъ стиховъ
Тиртея, Байрона и Риги:

Греческое возстаніе, участіе въ немъ Байрона одушевленное сочувствіе Байрона свободѣ вообще, тайное общество у насъ на югѣ Россіи, съ представителями котораго поэтъ былъ близко знакомъ, встрѣчаясь главнымъ образомъ въ Каменкѣ [2]), все это вызывало въ немъ вольнолюбивыя идеи и мечты, выразившіяся въ цѣломъ рядѣ литературныхъ произведеній.

Въ 1822 г. Пушкинъ написалъ (не для печати) весьма интересныя „Историческія замѣчанія“. Здѣсь онъ развѣнчиваетъ отъ окружавшей ее тогда громкой славы дѣятельность императрицы Екатерины II. Онъ говоритъ, что Екатерина „заслуживаетъ удивленія потомства“ лишь въ томъ случаѣ, „если царствовать значитъ знать слабость души человѣческой и ею пользоваться“. Онъ считаетъ знаменитую императрицу человѣкомъ хитрымъ и лицемѣрнымъ. „Современемъ исторія оцѣнитъ (говоритъ поэтъ) вліяніе ея царствованія на нравы, откроетъ жестокую дѣятельность ея деспотизма подъ личиной кротости и терпимости; народъ угнетенный намѣстниками; казну расхищенную любимцами... ничтожность въ законодательствѣ, фиглярство въ сношеніяхъ съ философами“. Фарса нашихъ депутатовъ (прибавляетъ онъ), столь непристойно разыгранная, имѣла въ Европѣ свое дѣйствіе. „Наказъ“ ея читали вѣздѣ и на всѣхъ языкахъ. Довольно было, чтобы поставить ее на-ряду съ

---

[1]) Русскій Архивъ 1866 г., стр. 1201.
[2]) Имѣніе Давыдовыхъ въ Кіевской губ.

Титами и Траянами. Но, перечитывая сей лицемѣрный Наказъ, нельзя воздержаться отъ праведнаго негодованія". (Интересно, что дальше Пушкинъ обвиняетъ русскихъ писателей въ „подлости" за преклоненіе передъ Наказомъ, выгораживая Вольтера, потому что ему будто-бы „простительно было превозносить добродѣтели Тартюфа", лицемѣріемъ котораго онъ былъ „обольщенъ", — слѣдъ увлеченія поэта Вольтеромъ: онъ готовъ признать „Фернейскаго философа" наивнымъ, только-бы не обвинить его). Пушкинъ уличаетъ имп. Екатерину въ возмутительныхъ противорѣчіяхъ: уничтоживъ названіе рабства, она „раздарила около милліона государственныхъ крестьянъ, т. е. свободныхъ хлѣбопащцевъ, и закрѣпостила вольную Малороссію и польскія провинціи"; она „уничтожила пытку, а тайная канцелярія процвѣтала подъ ея патріархальнымъ правленіемъ"; она „любила просвѣщеніе, а Новиковъ, распространившій первый лучъ его, перешелъ изъ рукъ Шешковскаго (домашній палачъ кроткой Екатерины) въ темницу, гдѣ и находился до самой ея смерти; Радищевъ былъ сосланъ въ Сибирь, Княжнинъ умеръ подъ розгами". (Здѣсь поэтъ впалъ въ извѣстную ошибку относительно автора осужденной пьесы „Вадимъ"). Наконецъ Пушкинъ обвиняетъ императрицу и за-то, что она, „угождая духу вѣка" и изъ властолюбія „гнала духовенство"; „ограничивъ монастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвѣщенію народному; семинаріи пришли въ совершенный упадокъ". Послѣдняя мысль не совсѣмъ ясна и отзывается парадоксомъ; но по поводу ея Пушкинъ высказываетъ весьма замѣчательную по своему времени идею: бѣдность и невѣжество духовенства лишаютъ его вліянія на народъ, а это очень печально, потому что „въ Россіи вліяніе духовенства столь-же было благотворно, сколько пагубно въ земляхъ римско-католическихъ"; тамъ духовенство, подчиненное папѣ, не завися отъ гражданскихъ законовъ, „вѣчно полагало суевѣрныя преграды просвѣщенію"; у насъ, напротивъ, завися, какъ и всѣ сословія, отъ единой власти, но „огражденное святыней религіи", оно было всегда „посредникомъ между народомъ и государствомъ". Пушкинъ подозрѣваетъ, что императрица знала, что „мы обязаны монахамъ нашей исторіей, слѣдственно и просвѣщеніемъ", потому и гнала ихъ, имѣя „свои виды".

(Здѣсь поэтъ, увлекаясь, придаетъ Екатеринѣ слишкомъ ужь большую прозорливость). Тутъ-же высказываетъ онъ и еще замѣчательную мысль о нашемъ народѣ: „напрасно почитаютъ русскихъ суевѣрными; можетъ быть нигдѣ болѣе, какъ между нашимъ простымъ народомъ, не слышно насмѣшекъ насчетъ всего церковнаго. Жаль! (замѣчаетъ поэтъ) ибо греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ особенный національный характеръ". Пушкинъ высказываетъ, такимъ образомъ, еще въ Кишиневѣ, одну изъ важнѣйшихъ идей будущаго славянофильства.— Замѣтимъ мимоходомъ, что интересно, по своему остроумію, еще одно соображеніе Пушкина: „самое сластолюбіе" Екатерины „утверждало ея владычество. Производя слабый ропотъ въ народѣ, привыкшемъ уважать и пороки своихъ властителей, оно возбуждало — соревнованіе въ высшихъ состояніяхъ, ибо не нужно было ни ума, ни заслугъ, ни талантовъ для достиженія втораго мѣста въ государствѣ. Много было званныхъ и много избранныхъ". — Впрочемъ, поэтъ признавалъ и заслуги за царствованіемъ Екатерины: „униженная Швеція и уничтоженная Польша—вотъ великія права Екатерины на благодарность русскаго народа"; Потемкинъ (по справедливому его замѣчанію) „раздѣлитъ съ Екатериною часть воинской ея славы, ибо ему обязаны, мы Чернымъ моремъ" [1]).

Не мало вѣрнаго въ приведенныхъ мысляхъ Пушкина, хотя онъ и преувеличиваетъ темныя стороны дѣятельности знаменитой императрицы.—Во всякомъ случаѣ всѣ эти историческія разсужденія Пушкина несомнѣнно свидѣтельствуютъ о серьезности его размышленій и чтеній въ Кишиневѣ. Передъ нами, очевидно, не тотъ легкомысленный юноша, какимъ былъ поэтъ, выѣзжая въ маѣ 1820 года изъ Петербурга, а серьезно образованный человѣкъ. Быстрая перемѣна объясняемая могучими умственными силами его и его доброю волей и любовью къ просвѣщенію!

Писатели, упомянутые Пушкинымъ въ „Историческихъ замѣчаніяхъ", — Радищевъ, Княжнинъ, очень его занимали. Такъ, въ письмѣ къ Бестужеву (отъ 13-го іюня 1823 года) онъ говоритъ: „какъ можно въ статьѣ о русской словесно-

---

[1]) Соч. Пушкина, т. V, стр. 13—18.

сти забыть Радищева? Кого-же мы будемъ помнить? Это молчанiе непростительно ни тебѣ, ни Гречу, а отъ тебя его не ожидалъ“ [1]).

Преслѣдуемый при Екатеринѣ „Вадимъ“ Княжнина навелъ поэта, быть можетъ, на мысль самому избрать это лице героемъ своего поэтическаго сочиненiя. Впрочемъ, Вадимъ и возстанiе Новгорода противъ власти первыхъ князей могли интересовать еще Пушкина и вслѣдствiе сношенiй его съ членами тайнаго общества, которые, какъ мы знаемъ, занимались вопросами древней русской исторiи. На это есть и фактическое указанiе 5-го февраля 1822 года былъ арестованъ въ Кишиневѣ В. Ѳ. Раевскiй и отвезенъ въ Тираспольскую крѣпость. Онъ прислалъ оттуда Пушкину, черезъ Липранди, довольно длинную пьесу въ стихахъ: „Пѣвецъ въ темницѣ“. Липранди разсказываетъ, что Пушкинъ очень много разспрашивалъ его о Раевскомъ и, „начавъ читать „Пѣвца въ темницѣ“, замѣтилъ, что Раевскiй упорно хочетъ брать все изъ русской исторiи, что и тутъ онъ нашелъ возможность упоминать о Новгородѣ и Псковѣ, о Марѳѣ Посадницѣ и Вадимѣ“. Особенно понравились Пушкину въ пьесѣ Раевскаго стихи:

Какъ истуканъ нѣмой народъ
Подъ игомъ дремлетъ въ тайномъ страхѣ:
Надъ нимъ бичей кровавый родъ
И мысль и взоръ казнитъ на плахѣ.

„Какъ это хорошо, какъ сильно! (воскликнулъ поэтъ) мысль эта мнѣ нигдѣ не встрѣчалась; она давно вертѣлась въ моей головѣ; но это не въ моемъ родѣ, это въ родѣ Тираспольской крѣпости, а хорошо“. Повторивъ послѣднюю строчку приведеннаго отрывка, онъ прибавилъ вздохнувъ: „послѣ такихъ стиховъ не скоро-же мы увидимъ этого Спартанца [2]). Ему представился вскорѣ случай повидаться съ Раевскимъ въ заключенiи; но поэтъ отказался отъ этого, боясь, что Раевскiй при свиданiи будетъ говорить неосторожно, и тѣмъ повредитъ себѣ [3]).

„Это не въ моемъ духѣ“ — сказалъ Пушкинъ. Но во-

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1209.
[2]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1450—1451.
[3]) Тамъ-же, стр. 1470.

ображеніе его не могло разстаться съ образами Вадима, древняго Новгорода Великаго, и онъ задумалъ трагедію „Вадимъ“, для которой и написалъ, дошедшія до насъ, программу и одну сцену. Трагедія, должно быть, не удавалась, и поэтъ перешелъ къ поэмѣ того-же названія. Для нея онъ тоже оставилъ программу [1]). Какъ видно, ему хотѣлось изобразить картину заговора и возстанія славянскихъ племенъ противъ иноплеменнаго ига. Но и поэма не пошла на-ладъ; мы имѣемъ отъ нея только отрывокъ, довольно впрочемъ значительнаго объема. Не трудно догадаться о причинахъ неудачи Пушкина: во 1-хъ, онъ не былъ готовъ къ изображенію исторической жизни древней Руси, не настолько еще былъ знакомъ съ исторіей, чтобы переносить ее въ свое творчество; во 2-хъ, сама исторія выбранной имъ эпохи не могла дать ему достаточныхъ матерьяловъ для ея воспроизведенія въ трагедіи или поэмѣ. Потому поэтъ сразу попалъ на ложную дорогу. Характеръ Вадима (насколько онъ виденъ изъ сохранившихся отрывковъ) оказывается байроническимъ. Вотъ наружность вождя славянскаго заговора:

Блистаетъ младость
Въ его лицѣ; какъ вешній цвѣтъ
Прекрасенъ онъ; но мнится, радость
Его не знала съ дѣтскихъ лѣтъ;
Въ глазахъ потупленныхъ кручина.

Какъ Корсаръ или какой другой герой Байрона, Вадимъ презираетъ людей; онъ говоритъ про Новгородцевъ:

Безумные! Давно-ль они въ глазахъ моихъ
Встрѣчали съ торжествомъ властителей чужихъ,
И вольныя главы подъ иго преклоняли?
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь...
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна ихъ любовь.

Народныя массы, какъ видно изъ этихъ словъ, представлялись еще Пушкину, въ эпоху сочиненія неудавшейся трагедіи, легкомысленными, слѣпыми и неразумными, а отдѣльныя личности, въ родѣ Вадима, стояли, по его представленію, высоко надъ толпою своимъ сознаніемъ и твердою волею. Это замѣтно отчасти и въ приведенномъ выше

---

[1]) См. примѣч. г. Ефремова къ I т. Соч. Пушкина, стр. 561—562.

мнѣніи его объ императрицѣ Екатеринѣ: она (какъ мы видѣли) является у него ужъ слишкомъ сознательно-хитрой.

Свою любовь къ свободѣ поэтъ выражалъ, при случаѣ, мимоходомъ, и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ. Такъ, въ стихотвореніи „Изъ письма къ Н. И. Гнѣдичу" (1821 г.) мы читаемъ стихи:

Все тотъ-же я, какъ былъ и прежде:
Съ поклономъ не хожу къ невѣждѣ.
Съ Орловымъ спорю, мало пью,
Октавію — въ слѣпой надеждѣ —
Молебномъ лести не пою.

Въ одѣ „Наполеонъ" Пушкинъ назвалъ день торжества французской революціи „великимъ, неизбѣжнымъ, свѣтлымъ днемъ свободы", днемъ —

Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,
И галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ.

Вольнолюбивыя мечты и чувство недовольства развивались, конечно, въ душѣ Пушкина и подъ вліяніемъ его тяжелаго гражданскаго положенія ссыльнаго, хотя онъ и не терпѣлъ притѣсненій, какъ мы знаемъ, отъ своего ближайшаго начальства. Но все-таки онъ не могъ, напр., уѣхать въ Петербургъ, хотя бы на короткое время; а ему этого хотѣлось сильно, особенно лѣтомъ и осенью 1822 года, когда онъ задумалъ издать свои стихотворенія [1]. Почти все время своей кишиневской жизни онъ разсчитывалъ, и постоянно тщетно, что ссылка скоро кончится, какъ это видно изъ его писемъ брату [2]. Онъ хлопоталъ объ этомъ, писалъ письмо къ гр. Нессельроде (министръ иностран. дѣлъ), — и все было безуспѣшно. А между тѣмъ въ Кишиневѣ онъ (по выраженію князя Вяземскаго въ одномъ письмѣ къ Тургеневу) [3] „пропадалъ отъ тоски, скуки и нищеты". Что онъ нуждался въ матерьяльныхъ средствахъ, мы это знаемъ и изъ словъ Липранди, которому поэтъ поручилъ, когда тотъ ѣхалъ въ февралѣ 1822 года въ Петербургъ,

---

1) Рус. Арх. 1866 г. стр. 1174—1175.
2) Пушкинъ въ Южной Россіи. — Рус. Арх. 1866 г. стр. 1190.
3) „А. С. Пушкинъ по докум. остаф. архива", I, стр. 53.

дать понять отцу о его нуждѣ въ деньгахъ. Тогда же Пушкинъ поручилъ Липранди передать довольно толстый пакетъ, заключавшій въ себѣ нѣсколько писемъ, брату Льву Сергѣичу, но передать не иначе, какъ лично, точно такъ-же, какъ и два письма, Вяземскому и Чаадаеву, въ Москвѣ, такъ какъ Липранди предполагалъ проѣзжать черезъ этотъ городъ, Когда-же Липранди неожиданно долженъ былъ измѣнить путь и не могъ быть въ Москвѣ, то Пушкинъ, котораго онъ извѣстилъ объ этомъ, писалъ ему въ Кіевъ, прося привезти письма къ Чаадаеву и Вяземскому назадъ въ Кишиневъ, если ему не случится на возвратномъ пути побывать въ древней столицѣ. Изъ этого видно, что поэтъ былъ стѣсненъ и въ перепискѣ, по крайней мѣрѣ не рѣшался довѣряться почтѣ [1]). Все это волновало его и бѣсило, и вызывало порой изъ души такіе стихи, какъ „Узникъ“:

Сижу за рѣшоткой въ темницѣ сырой.
Вскормленный на волѣ орелъ молодой [2]).
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ,
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,
Какъ будто со мною задумалъ одно.
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ,
И вымолвить хочетъ: „давай улетимъ!
„Мы вольныя птицы; пора, братъ, пора!
„Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
„Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
„Туда, гдѣ гуляемъ... лишь вѣтеръ да я!“

Свои вольнолюбивыя идеи Пушкинъ въ обыкновенной жизни, конечно, при живости своего характера, высказывалъ, вольно и невольно, въ разговорахъ, въ письмахъ. Онѣ и составляли, зачастую, истинную соль его извѣстнаго остроумія. Липранди передаетъ [3]), напр., такой анекдотъ: однажды за обѣдомъ у Орлова зашелъ разговоръ о георгіевскихъ крестахъ (такъ какъ случайно замѣтили, что три четверти изъ числа присутствующихъ были георгіевскіе ка-

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1481—1482.

[2]) Въ изд. соч. Пушкина подъ ред. г. Ефремова напечатано „на волѣ“. Едва-ли это вѣрно, хотя г. Ефремовъ и имѣлъ въ рукахъ подлинную рукопись поэта. (Соч. I, 562). Не правильнѣе-ли было-бы: „въ неволѣ?“

[3]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1260.

валеры), заговорили о значенiи этого ордена. Пушкинъ вдругъ, указавъ на есаула и Липранди, имѣвшихъ только солдатскаго Георгiя, сказалъ, что ихъ кресты имѣютъ болѣе преимуществъ, чѣмъ всѣ другiе, и когда его спросили — почему, отвѣтилъ: „потому что избавляютъ отъ тѣлеснаго наказанiя". Это вызвало общiй смѣхъ; но послѣ обѣда поэтъ созналъ всю неосторожность своей выходки. Подобные же примѣры остроумiя встрѣчаются и въ его письмахъ. „Кланяйся отъ меня цензурѣ, старинной моей прiятельницѣ (писалъ Пушкинъ Бестужеву 21 iюня 1822 г.). Кажется, голубушка еще не поумнѣла. Не понимаю, что могло встревожить ея цѣломудренность въ моихъ элегическихъ отрывкихъ... Старушку, повидимому, настращали моимъ именемъ; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого вамъ угодно... Главное дѣло, чтобъ имя мое до нея не дошло, и все будетъ слажено" [1]). Параллельно съ такими остротами поэта въ разговорахъ и письмахъ ходили по рукамъ его эпиграммы, вродѣ написанной немного позднѣе, въ 1824 году, въ Одессѣ:

Тимковскiй [2]) царствовалъ—и всѣ твердили вслухъ,
Что врядъ-ли гдѣ ословъ найдешь подобныхъ двухъ.
Явился Бируковъ, за нимъ во слѣдъ Красовскiй:
Ну, право, ихъ умнѣй покойный былъ Тимковскiй.

Неосторожность рѣзкаго остроумiя была, вѣроятно, одною изъ причинъ, почему Пушкину не удалось и на югѣ попасть, какъ прежде въ Петербургѣ, въ члены тайнаго общества: недовѣряли сдержанности его пылкой, впечатлительной натуры (быть можетъ считая такою натуру всякаго поэта).

Липранди, оправдывая Мих. Ѳед. Орлова отъ обвиненiй въ участiи въ заговорѣ, говоритъ, что Пушкинъ съ его неосторожнымъ языкомъ уцѣлѣлъ отъ обвиненiй и ареста благодаря именно тому, что попалъ въ общество Орлова, у котораго въ бесѣдахъ не „питали молодежь заразительными утопiями", какъ, напр., это было въ Тульчинѣ. Липранди думаетъ, что Пушкинъ могъ-бы пострадать именно только за невоздержность языка: „благородныя правила Пушкина

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1200.

[2]) Цензоръ.

(говоритъ онъ), его умъ несомнѣнно не сдѣлали-бы его дѣятелемъ [1]). Фактической сторонѣ этого предположенія противорѣчитъ свидѣтельство декабриста И. Д. Якушкина. Онъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ [2]), что Пушкинъ присутствовалъ въ деревнѣ Каменкѣ, у Давыдовыхъ, на совѣщаніи членовъ революціоннаго общества, когда обсуждался вопросъ о томъ, нужны или нѣтъ тайныя общества въ Россіи. Не смотря на то, что поэтъ далъ утвердительный отвѣтъ, онъ не былъ принятъ въ число членовъ; тогда онъ въ сильномъ волненіи чувства воскликнулъ: „я уже видѣлъ жизнь свою облагороженной, и все это оказалось злой шуткой!“ Трудно согласовать съ этимъ разсказомъ мнѣніе Липранди о поэтѣ; но его нельзя и отвергнуть. По всей вѣроятности истина на-серединѣ: по впечатлительности своей и способности увлекаться Пушкинъ могъ вступить въ общество, если-бы его приняли: но едва-ли бы онъ сдѣлался тамъ дѣятельнымъ членомъ: есть основанія цумать, что онъ, по-временамъ по крайней мѣрѣ, скептически относился къ будущимъ декабристамъ. Выше приведены были его отзывы о думахъ Рылѣева и его ироническое выраженіе въ письмѣ къ брату: „слава Богу, съ моими конституціонными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку“ [3]). Прибавимъ теперь къ этому, что ему не понравился Пестель, игравшій въ обществѣ такую роль, хотя онъ и призналъ его умнымъ человѣкомъ. Въ дневникѣ своемъ въ 21 году онъ записалъ: „9 апрѣля. Утро провелъ съ Пестелемъ; умный человѣкъ во всемъ смыслѣ этого слова. Mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse. (Можно догадываться, замѣтимъ мимоходомъ, что эта мысль была вѣроятно однимъ изъ предметовъ ихъ разговора и спора). Мы съ нимъ имѣли разговоръ метафизической, политической, нравственной и проч. Онъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я знаю...“ [4]) Таково впечатлѣніе, произведенное

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1443—1444.

[2]) Пушк. въ алексан. эпоху, г. Анненкова, стр. 180.

[3]) „Рус. Стар.“ 1878 г., стр. 674.—Интересно, что поэтъ заподозрилъ присутствіе народности въ характерахъ заговорщиковъ. Въ этомъ, говорятъ, сошелся съ нимъ въ наше время гр. Л. Н. Толстой.—Такъ, должно быть, думалъ и авторъ „Го отъ ума“.

[4]) Соч. т. V, стр. 7.

Пестелемъ на поэта, съ одной стороны; а вотъ его другая сторона: „Я очень хорошо помню (говоритъ Липранди)[1]), что когда Пушкинъ въ первый разъ увидѣлъ Пестеля, то, разсказывая о немъ, говорилъ, что онъ ему не нравится и, не смотря на его умъ, который онъ искалъ вызывать философскими сентенціями, никогда-бы съ нимъ не могъ сблизиться“.

Идеи Пушкина о вольности, о свободѣ съ одной стороны граничатъ съ темной стороной байронизма, съ оправданіемъ ненависти и кровавой расправы во имя свободы; съ другой стороны сближаются съ его былыми, русской деревней, русской народной жизнью навѣянными мыслями объ освобожденіи крестьянъ.

Непріятнымъ диссонансомъ среди возвышенныхъ сочувственныхъ отношеній поэта греческому освободительному движенію, звучатъ слова, сказанныя имъ по поводу мысли объ опасности для князя Ипсиланти отъ измѣнническаго кинжала Али-паши: „признаюсь, я-бы посовѣтовалъ кн. Ипсиланти предупредить престарѣлаго злодѣя: нравы той страны, гдѣ онъ теперь дѣйствуетъ, оправдываютъ политическія убійства“ [2]). Эти слова — предложеніе въ чистое дѣло (какимъ тогда представлялось Пушкину дѣло Ипсиланти) вмѣшать низкій способъ расправы съ врагами. — Такъ-же мало сочувственно и стихотвореніе 1821 года „Кинжалъ“, написанное въ честь Занда, убійцы Коцебу. Нѣкоторыя строки его, дѣйствительно, звучатъ энергіей, какъ напр.:

Шумитъ подъ Кесаремъ завѣтный Рубиконъ,
Державный Римъ упалъ. главой поникъ законъ,
Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый...

или послѣдній куплетъ:

Въ твоей Германіи ты (т. е. Зандъ) вѣчной тѣнью сталъ,
Грозя бѣдой преступной силѣ—
И на торжественной могилѣ
Горитъ безъ надписи кинжалъ.

Но въ-цѣломъ стихотвореніе нѣсколько напыщенно, потому

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1258.
[2]) Соч. т. V, стр. 10.

что проводитъ ложную идею, будто кинжалъ—„свершитель проклятій и надеждъ“, „тайный стражъ свободы“,

Послѣдній судія позора и обиды—

тамъ,

Гдѣ Зевса громъ молчитъ, гдѣ дремлетъ мечъ закона.

Съ другой стороны мысли о свободѣ, появившіяся въ душѣ Пушкина подъ вліяніемъ политическихъ событій и замысловъ, напомнили ему его былое сочувствіе къ тяжелому положенію русскаго крестьянина, сочувствіе, которое онъ съ такою силою высказалъ въ 1819 г. въ стихотвореніи „Деревня“.—Поэтъ задумалъ теперь написать комедію изъ крѣпостническаго и шулерскаго міра, которая должна была изображать ужасы крѣпостнаго права. Къ сожалѣнію комедія не была написана (вѣроятно потому, что поэтъ не могъ еще совладать съ подобнымъ сюжетомъ). Изъ дошедшей до насъ программы ея [1]) мы видимъ, что тамъ предполагалась сцена, въ которой дворянинъ проигрываетъ въ карты своего стараго слугу, въ его присутствіи. — Отвлеченно свои мысли о крѣпостномъ правѣ Пушкинъ высказалъ въ 1822 г. въ „Историческихъ замѣчаніяхъ“ [2]). Мысли эти достойны полнаго вниманія. Сочиненіе начинается съ сочувственнаго отзыва о реформѣ Петра; далѣе поэтъ высказываетъ мысль о ничтожествѣ его преемниковъ, которые съ „суевѣрною точностію“, безсознательно подражали ему во всемъ, и только благодаря этому „производили добро“, „ненарочно“; затѣмъ переходитъ къ разсужденію о попыткахъ у насъ аристократіи ограничить самодержавіе.

„Къ счастію (говоритъ онъ) хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами за-

---

[1]) Соч. т. V, стр. 7 — 8. Г. Анненковъ предполагаетъ (и по всей вѣроятности справедливо), что къ этой именно комедіи относится одинъ сохранившійся стихотворный отрывокъ комедіи (см. Соч. I, 399).

[2]) Соч. т. V, стр. 14.

труднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостнаго состоянія, ограничили-бы число дворянъ и заградили-бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло-бы уничтожить въ Россіи закорѣнелое рабство; ныньче-же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы".

Таковы мысли Пушкина въ Кишиневѣ о крѣпостномъ правѣ, объ аристократіи и феодализмѣ. Какъ противорѣчитъ все это мнѣнію объ аристократическихъ тенденціяхъ великаго поэта и его высокомѣрномъ отношеніи къ народу [1]).

Пушкинъ высказалъ въ своихъ „Историческихъ замѣчаніяхъ", еще задолго до разцвѣта славянофильскаго ученія, одно изъ его важнѣйшихъ и справедливыхъ положеній. Можетъ быть, нѣкоторыя изъ этихъ мыслей появились въ его умѣ подъ вліяніемъ чтенія Радищева, Новикова, писателей, которыхъ онъ тогда такъ уважалъ; во всякомъ случаѣ онѣ свидѣтельствуютъ о его знакомствѣ съ русской исторіей и о серьезности его размышленій.

Между тѣмъ какъ поэтъ отдавался самымъ разнообразнымъ увлеченіямъ, дурнымъ и хорошимъ, и задумывалъ большія произведенія такого рода, которыя потомъ приходилось сжигать, или которыя онъ еще не въ силахъ былъ выполнить, въ душѣ его зрѣло, можетъ быть долгое время невѣдомо для него самого, сочиненіе, зерно котораго запало въ нее еще давно, въ Крыму, въ эпоху перваго разцвѣта его чистой любви. Это сочиненіе—„Бахчисарайскій

---

[1]) Насколько онъ былъ далекъ отъ аристократизма, видно даже въ мелочахъ, напр. въ (довольн , впрочемъ, странномъ) стихотвореніи „Къ портрету кн. Вяземскаго" (1821 г.):

Судьба свои дары явить желала въ немъ,
Въ счастливомъ баловнѣ соединивъ ошибкой
Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ,
И простодушіе съ язвительной улыбкой.

„Соединеніе возвышеннаго ума съ богатствомъ и знатнымъ родомъ поэтъ считаетъ здѣсь случайной ошибкой судьбы.

фонтанъ"; на немъ и лежитъ отпечатокъ чистаго чувства. Фонтанъ въ развалинахъ Бахчисарайскаго дворца, когда поэтъ увидалъ его, поразилъ и плѣнилъ его воображеніе.

Фонтанъ любви, фонтанъ живой!
Принесъ я въ даръ тебѣ двѣ розы.
Люблю немолчный говоръ твой
И поэтическія слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропитъ росою хладной:
Ахъ, лейся, лейся, ключъ отрадный!
Журчи, журчи свою мнѣ быль... [1]).

Эта быль, поэтическое преданіе о Маріи и Заремѣ, связанное съ фонтаномъ, до глубины души взволновало поэта. Воображеніе, сердце и мысль его увлекъ идеально-чистый образъ Маріи.

Фонтанъ любви, фонтанъ печальный!
И я твой мраморъ вопрошалъ:
Хвалу странѣ прочелъ я дальной;
Но о Маріи ты молчалъ...
Свѣтило блѣдное гарема!
И здѣсь ужель забвенно ты?
Или Марія и Зарема
Однѣ счастливыя мечты?
Иль только сонъ воображенья
Въ пустынной мглѣ нарисовалъ
Свои минутныя видѣнья,
Души неясный идеалъ?

Преданіе о Маріи Пушкинъ слышалъ (по его словамъ) [2]) отъ одной женщины. Кто была она? „Я прежде слыхалъ о странномъ памятникѣ влюбленнаго хана. К* поэтически описывала мнѣ его, называя „la fontaine des larmes" (говоритъ поэтъ въ письмѣ изъ Тавриды). „Радуюсь, что мой Фонтанъ шумитъ (писалъ онъ позднѣе, въ 1824 году). Недостатокъ плана не моя вина. Я суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины:

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve...

Впрочемъ я писалъ его единственно для себя, а печатаю

---

[1]) Соч. т. I, стр. 320—321.

[2]) Соч. т. I, примѣч. стр. 564—565. См. также матер. г. Анненкова *стр. 97—98.*

потому, что деньги нужны". Въ этихъ небрежныхъ (и должно быть намѣренно небрежныхъ) словахъ поэта слышится намекъ на его душевную тайну. Можно догадываться, что та, чей разсказъ онъ „суевѣрно", т. е. благоговѣйно, переложилъ въ свои стихи, не измѣняя его и не передѣлывая, была — тотъ самый человѣкъ, одной мыслью котораго онъ дорожилъ, по его словамъ, болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ, тотъ человѣкъ, котораго одного онъ любилъ свято и неизмѣнно, про кого онъ сказалъ позднѣе:

Одна была... Предъ ней одной
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ
Любви поэзіи святой.

Она и вдохновила его изобразить чистѣйшій идеалъ человѣка въ образѣ Маріи „Бахчисарайскаго фонтана".—Поэма эта страдаетъ многими недостатками. Самъ Пушкинъ сказалъ про нее впослѣдствіи: „Бахчисарайскій фонтанъ" слабѣе „Плѣнника" [1]). Она (опять-таки по справедливому замѣчанію самого поэта) [2]), „отзывается чтеніемъ Байрона", отъ котораго онъ тогда „съ-ума сходилъ". Въ ней неопредѣленно, нереально еще очерчены характеры, и характеры эти далеки, какъ и въ „Кавказскомъ плѣнникѣ", отъ русской дѣйствительности. Но не только правъ кн. Вяземскій, выразившійся про нее въ одномъ письмѣ: „Фонтанъ брызнетъ на васъ поэзіей" [3]); а можно даже сказать, что, при всѣхъ недостаткахъ поэмы, рѣдко потомъ Пушкинъ, и въ своихъ болѣе совершенныхъ въ художественномъ смыслѣ созданіяхъ, подымался до такой поэзіи, до такого высокаго идеала, до такой гармоніи и прелести стиха.

На „Бахчисарайскомъ фонтанѣ" замѣтно вліяніе Байрона, по признанію самого поэта. Можно даже опредѣлительно указать—какое изъ произведеній англійскаго генія отразилось на поэмѣ Пушкина: это — „Гяуръ". — Обѣ поэмы повѣствуютъ о гаремной жизни, о любви, нарушившей ея законы, объ измѣнѣ, ревности, страданіяхъ, объ убійствѣ и мщеніи. Только у Байрона измѣняетъ владыкѣ гарема одна изъ женъ, полюбившая гяура; а у Пушкина измѣняетъ самъ

[1]) Соч. т. V, 132, Критич. замѣтки (1830 г.).
[2]) Тамъ-же.
[3]) „А. С. Пушкинъ. По документамъ Остафьевск. архива", ч. I, стр. 55.

властелинъ, полюбившій христіанку Марію.—Оба поэта рисуютъ роскошь южной природы, ея сады, розы, соловьиныя пѣсни; сходными чертами изображаютъ они дворецъ, запустѣвшій послѣ разыгравшейся въ немъ драмы; у обоихъ разсказывается, какъ сокрушенный сердцемъ властелинъ ищетъ забвенія горя въ бурной жизни (у Байрона—въ охотѣ, у Пушкина—въ войнѣ). Оба сходно обрисовываютъ наружность одалисокъ:

Кто красоту ея очей
Опишетъ? Что сравнится съ ней?
Газели очи не чернѣй
И не прекраснѣе: порой
Они темнѣе мглы ночной,
Порою томны, какъ печаль,
Порою искры сыплютъ въ даль,
И въ искрахъ тѣхъ ея душа
Горитъ, какъ Джамшидъ хороша [1]).

Такъ изображаетъ Байронъ свою Леилу. Зарема Пушкина напоминаетъ ее:

кто съ тобою,
Грузинка, равенъ красотою!
Вокругъ лилейнаго чела
Ты косу дважды обвила;
Твои плѣнительныя очи
Яснѣе дня, чернѣе ночи.
Чей голосъ выразитъ сильнѣй
Порывы пламенныхъ желаній?
Чей страстный поцѣлуй живѣй
Твоихъ язвительныхъ лобзаній?

Но главное сходство поэмъ—въ характерахъ Гяура и Заремы. Оба они—люди огненной страсти, не знающей предѣла, не останавливающейся ни передъ чѣмъ, не отступающей передъ преступленіемъ. Когда погибла Леила, любившій ее Гяуръ не можетъ не упиться кровавымъ мщеніемъ: оно дороже ему душевнаго спасенія. Любовь моя (исповѣдуется онъ монаху передъ смертью),

какъ жаркая струя
Изъ груди Этны огневой,
Испепеляетъ все собой.
Я не умѣю говорить,
О нѣжной страсти слезы лить,

[1]) Соч. Байрона, въ пер. русск. поэтовъ, т. I, стр. 104. Джамшидъ—*знаменитый* рубинъ султана Джамшида.

Но если блѣдность на щекахъ
И дрожь порою на устахъ,
Но если сердца страстный жаръ,
И мозгъ въ огнѣ, и смѣлость дѣлъ,
И стали мстительный ударъ,
И все, что сдѣлать я хотѣлъ,
И что я чувствовалъ, чѣмъ жилъ—
Была любовь, то я любилъ.

—

Она мнѣ сердце отдала—
Одно, чего у ней отнять
Чужая воля не могла;
Я отдалъ все, что могъ отдать;
Я далъ могилу палачу.
Онъ вѣчнымъ сномъ въ долинѣ спитъ;
Но смерть его не тяготитъ
Моей души—и я молчу... [1])

Такой-же безпредѣльной, безпощадной страстью дышетъ и знойная любовь Заремы: „Я для страсти рождена“ (говоритъ она Маріи),

ты любить, какъ я, не можешь,
Зачѣмъ-же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мнѣ—онъ мой,
На мнѣ горятъ его лобзанья,
Онъ клятвы страшныя мнѣ далъ;
Давно всѣ думы, всѣ желанья
Гирей съ моими сочеталъ;
Меня убьетъ его измѣна...
Я плачу!.. Видишь, я колѣна
Теперь склоняю предъ тобой,
Молю, винить тебя не смѣя,
Отдай мнѣ радость и покой,
Отдай мнѣ прежняго Гирея!..
Не возражай мнѣ ничего—
Онъ мой; онъ ослѣпленъ тобою,
Презрѣньемъ, просьбою, тоскою,
Чѣмъ хочешь, отврати его.
Клянись...

и она требуетъ отъ Маріи клятвы вѣрою, она грозитъ:

слушай: если я должна
Тебѣ... кинжаломъ я владѣю,—
Я близь Кавказа рождена.

---

[1]) Тамъ-же, стр. 114, 113.

Она потомъ и исполняетъ свою угрозу, быть можетъ сознавая, что заплатитъ за это жизнью. Все это — сходство поэмъ Пушкина и Байрона.

Справедливость требуетъ сказать, что страсть сильнѣе, ярче, огненнѣе выражена у Байрона, чѣмъ у нашего поэта. Вотъ, напр., съ какою глубиной и силой нарисовано чувство Гяура, когда страданія любви довели его до самозабвенія и до видѣній: онъ обращается къ умершей со словами:

Ужели правда, ангелъ мой,
Что ты являешься ко мнѣ
Изъ грота темнаго на днѣ
Просить о мѣстѣ подъ землей,
Чтобъ тамъ найти себѣ покой?
Коснись холодною рукой
Моихъ пылающихъ ланитъ—
И жаръ мгновенно съ нихъ сбѣжитъ;
Иль положи, мой другъ, ее
На сердце бѣдное мое.
Но кто-бъ ты ни былъ, ангелъ дня,
Молю, не покидай меня,
Иль унеси меня съ собой
Туда, гдѣ царствуетъ покой,
Въ твой вѣчно-тихій, свѣтлый кровъ,
Гдѣ нѣтъ ни вѣтра, ни валовъ... [1]).

Сердце замираетъ при чтеніи этихъ строкъ. У Пушкина мы не найдемъ въ поэмѣ такого тонкаго анализа ощущеній, такого пламеннаго ихъ выраженія. — „Гяуръ“ стоитъ выше „Бахчисарайскаго фонтана“ и еще въ одномъ отношеніи: онъ свободенъ отъ того недостатка, на который указалъ въ своемъ произведеніи самъ Пушкинъ. „Молодые писатели (читаемъ мы въ „Критическихъ замѣткахъ“ поэта, написанныхъ въ 1830 г.) [2]) вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрагаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама“. Слова эти относятся къ стихамъ, повѣствующимъ о томъ, какъ Гирей послѣ смерти Маріи

---

[1]) Тамъ-же, стр. 117.
[2]) Соч. т. V, стр. 133.

часто въ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ, будто полный страха... и т. д.

въ „Гяурѣ“ Байрона нѣтъ мелодраматизма [1]).

Но есть въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ такая черта, которая, при всѣхъ недостаткахъ поэмы, ставитъ ее безконечно выше „Гяура“ Байрона; это—изображеніе свѣтлаго образа Маріи. Байронъ не зналъ такихъ образовъ. Чистая и кроткая, полная глубокой вѣры, Марія чужда вполнѣ той жизни, которая ее окружаетъ въ гаремѣ; „и мнится“ (говоритъ поэтъ), что въ ея жилищѣ, гдѣ позволено ей быть одинокой, гдѣ она „плачетъ и груститъ“,

Сокрылся нѣкто неземной.
Тамъ день и ночь горитъ лампада
Предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Тамъ упованье въ тишинѣ
Съ смиренной вѣрой обитаетъ,
И сердцу все напоминаетъ
О близкой, лучшей сторонѣ...
Тамъ дѣва слезы проливаетъ
Вдали завистливыхъ подругъ;
И между тѣмъ какъ все вокругъ
Въ безумной нѣгѣ утопаетъ,
Святыню строгую скрываетъ
Спасенный чудомъ уголокъ.

Въ знойномъ чувствѣ Заремы, которымъ однимъ живетъ она, вполнѣ ему отдавшись, есть нѣчто темное, сладострастное, жестокое. Жизнь Маріи—совершенно духовная. Когда Зарема открываетъ ей свою страсть, свою ревность, ея невольная исповѣдь ужасаетъ Марію:

Невинной дѣвѣ непонятенъ
Языкъ мучительныхъ страстей,
Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ,
Онъ страненъ, онъ ужасенъ ей.

Не угрозъ смерти испугалась она, а чистая душа ея оскорб-

---

[1]) Впрочемъ, этотъ недостатокъ нашего поэта объясняется его молодостью.

лена присутствіемъ страсти въ человѣкѣ; ее пугаетъ грозящая ей участь, ужасаетъ ожидающее ее поруганье. Она хотѣла-бы умереть, уйти отъ земнаго, грязнаго міра.

Съ какою-бъ радостью Марія
Оставила печальный свѣтъ!
Мгновенья жизни дорогія
Давно прошли, давно ихъ нѣтъ!
Что дѣлать ей въ пустынѣ міра?
Ужь ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса, на лоно мира,
Родной улыбкою зовутъ.

Глубокое увлеченіе поэта чистотою Маріи сказалось въ томъ, что эта чистота составляетъ духъ всего произведенія, основную идею поэмы. Предъ нею преклоняется все. Суровый и сладострастный татаринъ Гирей перерождается подъ ея могучимъ дѣйствіемъ; онъ, считающій обычнымъ дѣломъ безпрекословное ему повиновенье, привыкшій къ насилію, смиряется передъ плѣнною дѣвушкой:

Ея унынье, слезы, стоны
Тревожатъ хана краткій сонъ,
И для нея смягчаетъ онъ
Гарема строгіе законы.

Сама Зарема побѣждена чистотой своей соперницы; прійдя къ Маріи, она застаетъ ее спящей:

Спорхнувшій съ неба, сынъ Эдема,
Казалось, Ангелъ почивалъ,
И сонный слезы проливалъ
О бѣдной плѣнницѣ гарема...

и одалиска смутилась —

Стѣснилась грудь ея тоской,
Невольно клонятся колѣни,
И молитъ: сжалься надо мной
Не отвергай моихъ моленій!

А между тѣмъ она пришла не умолять, а упрекать и грозить, — мольбы явились неожиданно для нея самой, пораженной свѣтлой невинностью той, кого она злобно и завистливо ненавидѣла.

Не жгучая страсть Заремы, а чистота, нѣжная грусть Маріи даютъ общій тонъ поэмѣ, и оттого она вся чиста съ перваго стиха до послѣдняго. Чисты въ ней и изобра-

женіе гаремной жизни, и картины сна и купанья ханскихъ женъ, — во всемъ этомъ нѣтъ ничего сладострастнаго и мутнаго, все свѣтло и ясно. Этому способствуетъ, конечно, и необычайная красота картинъ и музыка стиха. Но до такой красоты и гармоніи поэтъ могъ дойти опять-таки потому, что идеально чиста идея произведенія.

Эта идея—просвѣтлѣніе и возрожденіе человѣка, погрузившагося въ матерьяльную, животную жизнь, силою чистой, духовной любви. Въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ" Пушкинъ, по молодости своей и незрѣлости таланта, еще неумѣло выразилъ эту идею (такъ въ образѣ Маріи есть что-то романтическое, мечтательное, напоминающее Жуковскаго); но, заставивши въ своей поэмѣ татарина, чувственнаго по обычаямъ своего племени, по своей вѣрѣ и привычкамъ жизни, пощадить чистоту дѣвушки и благоговѣйно преклониться передъ нею, поэтъ поднялся этимъ до такой вѣры въ духовность человѣка, до такой высоты идеала, до какой потомъ, въ зрѣлые годы, при полномъ разцвѣтѣ таланта, стремился, горячо и съ душевной тоской порывался, но рѣдко могъ подниматься.

Высота идеала въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ" тѣсно связана съ субъективной стороной этого произведенія. Изобразивъ чистое уединенное жилище Маріи среди сладострастной роскоши гарема, Пушкинъ прибавляетъ поэтическое сравненіе:

Такъ сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній
Хранитъ одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство!
. . . .

Едва-ли можно сомнѣваться въ личномъ, по отношенію къ поэту, характерѣ этихъ стиховъ, тѣмъ болѣе, что въ концѣ поэмы онъ и говоритъ о своемъ собственномъ чувствѣ. Во дворцѣ Бахчисарая передъ его взволнованнымъ воображеніемъ „летучей тѣнью" мелькалъ нѣжный образъ дѣвы,

Неотразимый, неизбѣжный.

Онъ вызвалъ изъ души другой образъ...

Я помню

(говоритъ поэтъ)

столь-же милый взглядъ
И красоту еще земную;
Всѣ думы сердца къ ней летятъ,
Объ ней въ изгнаніи тоскую...
Безумецъ! полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежнымъ снамъ любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись долго-ль, узникъ томной,
Тебѣ оковы лобызать,
И въ свѣтѣ лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Эти стихи, при отсылкѣ поэмы въ печать, Пушкинъ исключилъ („выкинулъ весь любовный бредъ", какъ онъ выразился) [1], — внѣшнее обстоятельство, указывающее, что они относятся именно къ той его чистой любви, которую онъ хранилъ какъ тайну.

Всѣ думы сердца къ ней летятъ,
Объ ней въ изгнаніи тоскую...

Это — очевидно — не кишиневская любовь. Въ слѣдующихъ стихахъ поэтъ не остерегся указать и мѣсто, куда летятъ его думы:

Приду на склонъ приморскихъ горъ,
Воспоминаній тайныхъ полный,
И вновь таврическія волны
Обрадуетъ мой жадный взоръ.

На берегахъ „таврическихъ волнъ" и загорѣлось въ душѣ Пушкина то „божественное чувство", которое потомъ въ Кишиневѣ такъ мучительно боролось съ соблазнявшими его „порочными упоеніями", которое влекло его постоянно къ чистому идеалу, вызвало изъ его творческаго воображенія созданіе „Бахчисарайскаго фонтана", спасло его геній отъ погибели въ окружавшей его грязи, но не могло, однако, спасти отъ того, чтобы онъ не дѣлался по-временамъ втеченіи всей жизни „жертвой заблужденій", изъ которыхъ вырывался благодаря ему-же, но въ которыя впадалъ потомъ опять.

Насколько тяжела была для поэта внутренняя борьба въ его душѣ свѣтлаго чувства съ мутными потоками кишинев-

---

[1]) *Соч. I, примѣч.* стр. 564.

ской его жизни, видно изъ того, что и послѣ „Бахчисарайскаго фонтана" онъ не смогъ удержаться на высотѣ чистаго идеала и въ слѣдующемъ-же году упалъ, правда не надолго, но за то глубоко: „Бахчисарайскій фонтанъ" написанъ въ 1822 году, сочиненіе „Гавриліады" относится къ 1823 году.

Чистое чувство, не уходя никогда изъ души поэта, но скрываясь порой въ ея тайную глубину, когда онъ увлекался мутными страстями, однажды въ эту эпоху уступило первое мѣсто чувству болѣе благородному и серьезному, чѣмъ кишиневскія привязанности: поэтъ полюбилъ какую-то гречанку, какъ это видно изъ написаннаго имъ въ 1822 году стихотворенія „Гречанкѣ". На этомъ сочиненіи, оканчивающемся выраженіемъ грусти

(. . . тайной грустію томимъ,
Боюсь: невѣрно все, что мило),

лежитъ даже отблескъ чистаго чувства. Быть можетъ онъ вызванъ связанными съ этой любовью двумя обстоятельствами: во-первыхъ, глубокимъ сочувствіемъ поэта возставшей Греціи (предметъ его любви, должно быть, и есть та „прелестная гречанка" „Н. Д.", у которой онъ, мы видѣли въ его запискахъ, бесѣдуя съ пятью греками, одинъ говорилъ какъ грекъ); во-вторыхъ, воспоминаніемъ о Байронѣ: поэтъ высказываетъ въ стихотвореніи предположеніе, что Байронъ съ этой женщины рисовалъ образъ Леилы.

Быть можетъ, въ дальной сторонѣ.
Подъ небомъ Греціи священной,
Тебя страдалецъ вдохновенный
Узналъ иль видѣлъ какъ во снѣ,
И скрылся образъ незабвенный
Въ его сердечной глубинѣ.

Г. Бертеневъ говоритъ, что эта гречанка была красавица Калипсо Полихрони, про которую ходили слухи, что въ нее былъ влюбленъ Байронъ. Чувство Пушкина къ ней продолжалось недолго, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Вигель (источникъ, замѣтимъ мимоходомъ, сомнительнаго достоинства) [1]. Липранди не отвергаетъ въ своихъ запискахъ [2]) что Пушкинъ могъ увлечься Калипсо, но лишь на короткое

---

[1]) Рус. Арх. 1866 г. Стр. 1187—1188.

[2]) Тамъ-же, стр. 1246.

время; онъ говоритъ, что Калипсо не была и красавицей [1]); онъ прибавляетъ притомъ, что она пѣла на восточный тонъ, въ носъ, турецкія сладострастныя заунывныя пѣсни, съ акомпаниментомъ своихъ огненныхъ глазъ, которымъ „еще болѣе придавала сладострастія употребленіемъ сурьме".

Такъ все это или нѣтъ, но стихотвореніе, довольно высокаго поэтическаго достоинства, несомнѣнно свидѣтельствуетъ объ искреннемъ и сильномъ увлеченіи Пушкина. И грустная черта этого увлеченія та, что чувству, вызванному, какъ можно догадываться, внѣшней красотой и внѣшними обстоятельствами и продолжавшемуся недолго (по крайней мѣрѣ въ дальнѣйшей жизни поэта мы не находимъ никакихъ слѣдовъ его), этому чувству онъ легкомысленно готовъ былъ пожертвовать своею высокой любовью: онъ мечталъ найти ей замѣну въ новой любви,—предположивъ, что увлекшая его теперь женщина платила чувству Байрона взаимностью, онъ говоритъ:

Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, мечты ревнивой,
Питать я пламя не хочу:
Мнѣ долго счастье чуждо было,
Мнѣ ново наслаждаться имъ,
И, тайной грустію томимъ,
Боюсь: невѣрно все, что мило.

Должно еще замѣтить, что въ этой новой любви поэта было и много нечистаго, мутнаго: онъ говоритъ въ стихотвореніи о „нескромной ножкѣ" своей красавицы, о томъ, что она

рождена для нѣги томной,
Для упоенія страстей.

И на чувство Пушкина къ своей гречанкѣ Кишиневъ наложилъ свою темную печать.

Бѣжать изъ омута Бессарабіи, бѣжать, чтобы спасти свой поэтическій геній,—вотъ что долженъ былъ сдѣлать Пушкинъ. Онъ въ душѣ не прочь былъ отъ этого; и ему помогла сама судьба. Съ назначеніемъ гр. Воронцова новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ и намѣстникомъ Бессарабіи Пушкина перевели на службу въ Одессу, гдѣ Воронцовъ сосредоточилъ свое управленіе. Въ Одессу поэтъ

[1]) Впрочемъ Липранди говоритъ съ субъективной точки зрѣнія; онъ могъ и не понимать красоты, какъ по собственному сознанію, не понималъ поэзіи.

стремился и ѣзжалъ и раньше. Такъ, онъ былъ въ ней въ маѣ 1821 года [1]). Въ ней-же застало его и назначеніе новаго Бессарабскаго намѣстника. Вотъ что писалъ онъ брату объ этой послѣдней своей поѣздкѣ и о переселеніи своемъ въ новый городъ: „здоровье мое давно требовало морскихъ ваннъ; я насилу уломалъ Инзова, чтобъ онъ отпустилъ меня въ Одессу. Я оставилъ мою Молдавію и явился въ Европу. Ресторацiи и итальянская опера напоминали мнѣ старину и, ей Богу, обновили мнѣ душу. Между тѣмъ прiѣзжаетъ Воронцовъ, принимаетъ меня очень ласково; объявляютъ мнѣ, что я перехожу подъ его начальство, что остаюсь въ Одессѣ. Кажется и хорошо, да новая печаль мнѣ сжала грудь; мнѣ стало жаль моихъ покинутыхъ цѣпей. Прiѣхавъ въ Кишеневъ на нѣсколько дней, провелъ ихъ неизъяснимо элегически, и выѣхавъ оттуда навсегда, о Кишеневѣ я вздохнулъ" [2]). Интересно противорѣчіе чувствъ въ этомъ письмѣ: съ одной стороны мы видимъ самое искреннее желаніе поэта раздѣлаться съ азіатской Молдавіей, бѣжать изъ нея, чтобы обновить душу; съ другой стороны несомнѣнно и то, что сильны еще симпатіи его къ Кишиневу, къ его душной нравственной атмосферѣ, хотя правда, онъ называетъ свое пребываніе въ этомъ городѣ—жизнью въ цѣпяхъ, а самый городъ—тюрьмою (пародируя стихъ „Шильонскаго узника": „и о тюрьмѣ своей вздохнулъ").

Кромѣ нравственныхъ и матерьяльныхъ удобствъ европейскаго города, кромѣ морскихъ ваннъ, Одесса должно быть влекла къ себѣ поэта и по другимъ еще, личнымъ причинамъ: въ ней онъ всегда могъ видѣть волны того самаго моря, которое омываетъ берега родной душѣ его Тавриды. Въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ" есть намекъ, что онъ мечталъ побывать и въ самомъ Крыму:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира,
Забывъ и славу, и любовь,
О, скоро васъ увижу вновь,
Брега веселые Салгира!

Поэтъ переѣхалъ въ Одессу въ началѣ іюля 1823 года [3]).

---

[1]) Пушкинъ въ Южн. Россіи. Рус. Арх. 1866 г., стр. 1151—1152.
[2]) Рус. Арх. 1866 г., стр. 1211—1212.
[3]) Изъ днев. и восп. Липранди. Рус. Арх. 1866 г. Стр. 1445.

3.

Переселеніе въ европейскій городъ повліяло, разумѣется, на внѣшнюю жизнь Пушкина, облагородило ея характеръ; но вообще эта внѣшняя жизнь осталась такою-же, какъ прежде: съ одной стороны мы видимъ въ поэтѣ неугомонное стремленіе къ развлеченіямъ всякаго рода (зачастую весьма сомнительнымъ); съ другой стороны онъ попрежнему читаетъ, думаетъ, интересуется исторіей, общественной жизнью; въ головѣ его бродятъ вольнолюбивыя идеи.

Въ письмѣ къ брату поэтъ упомянулъ ресторацiи и итальянскую оперу. То и другое его очень занимало въ Одессѣ, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ. Мы это узнаемъ изъ отрывковъ путешествія Онѣгина, выкинутаго поэтомъ изъ романа. Вотъ что говоритъ здѣсь Пушкинъ о своей жизни въ Одессѣ:

Бывало, пушка заревая
Лишь только грянетъ съ корабля,
Съ крутаго берега сбѣгая,
Ужь къ морю отправляюсь я.
Потомъ за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Какъ мусульманъ въ своемъ раю,
Съ Восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Ужь благосклонный
Открытъ casino; чашекъ звонъ
Тамъ раздается; на балконъ
Маркеръ выходитъ полусонный
Съ метлой въ рукахъ, и у крыльца
Уже сошлися два купца
. . . .
Дитя разсчета и отваги,
Идетъ купецъ взглянуть на флаги,
Провѣдать, шлютъ-ли небеса
Ему знакомы паруса?
. . . .
Но мы, ребята безъ печали,
Среди заботливыхъ купцовъ,
Мы только устрицъ ожидали
Отъ цареградскихъ береговъ.
Что устрицы? Пришли! О радость!
Летитъ обжорливая младость
Глотать изъ раковинъ морскихъ
Затворницъ жирныхъ и живыхъ,
Слегка обрызнутыхъ лимономъ.
Шумъ, споры, легкое вино

Изъ погребовъ принесено
На столъ услужливымъ Отономъ;
Часы летятъ, а грозный счетъ
Межъ тѣмъ невидимо растетъ.
Но ужь темнѣетъ вечеръ синій;
Пора намъ въ оперу скорѣй.
Тамъ упоительный Россини,
Европы баловень—Орфей.
. . . .
А только-ль тамъ очарованій?
А розыскательный лорнетъ?
А закулисныя свиданья?
А prima donna? а балетъ?
А ложа, гдѣ, красой блистая,
Негоціантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабовъ окружена?
Она и внемлетъ, и не внемлетъ
И каватинѣ, и мольбамъ,
И шуткѣ съ лестью пополамъ...
А мужъ въ углу за нею дремлетъ,—
Въ просонкахъ „фора“ закричитъ
Зѣвнетъ—и снова захрапитъ.

И такъ—морскія купанья и музыка, и въ то же время обжорство устрицами въ шумной бесѣдѣ съ пріятелями за виномъ и увлеченія балетомъ и закулисными свиданіями. Это повыше Кишинева, но не много. Есть и еще свидѣтельство о невысокомъ характерѣ внѣшней жизни поэта въ это время: два-три стихотворенія изъ небольшаго числа, написанныхъ имъ втеченіи года пребыванія въ Одессѣ. О двухъ изъ нихъ говорилось уже выше. (Одно, изъ письма къ Вигелю, характеризуетъ городъ Кишиневъ; другое—посланіе любящему покушать А. Л. Давыдову).—Припомнимъ еще стихотвореніе, называемое „Веселый пиръ“:

Я люблю веселый пиръ,
Гдѣ веселье предсѣдатель,
А свобода, мой кумиръ,
За столомъ законодатель,
Гдѣ до утра слово „пей“
Заглушаетъ крики пѣсенъ,
Гдѣ просторенъ кругъ гостей,
А кружокъ бутылокъ тѣсенъ!

Такое воспѣваніе попойки подъ-стать хоть-бы и Кишиневу.—По свидѣтельству Липранди, Пушкинъ „находилъ,

что положеніе его во всѣхъ отношеніяхъ было гораздо выносимѣе тамъ, нежели въ Одессѣ“ [1]). Допустимъ, что поэтъ, высказывая такія мысли, намекалъ главнымъ образомъ на свои служебныя непріятности; но служба не заключала въ себѣ всѣхъ его отношеній. Да кромѣ того Липранди прибавляетъ и отъ себя, что онъ замѣтилъ недовольство Пушкина своимъ пребываніемъ въ Одессѣ именно „относительно общества, въ которомъ онъ... болѣе или менѣе вращался“. Липранди не могъ этого понять и недоумѣвалъ, почему поэтъ чуждался не только домовъ высшаго круга, напр. гр. Воронцова, Л. А. Нарышкина, Башмакова и другихъ, но и литературныхъ своихъ знакомствъ; такъ, онъ „безъ видимой охоты посѣщалъ литературные вечера Казначеевой“, на которыхъ встрѣчалъ одесскаго своего знакомца поэта Туманскаго, родственницу Жуковскаго писательницу Зонтагъ и т. д.—Очень возможно, что въ эту эпоху уже начало смутно зарождаться въ Пушкинѣ то возвышенное недовольство суетою общества, которое такъ сильно было въ немъ впослѣдствіи. Но нельзя не допустить, что онъ тосковалъ нѣсколько и о разнузданной свободѣ кишиневскихъ собраній; не даромъ-же циническое письмо къ Вигелю оканчивается поставленіемъ Одессы ниже „проклятаго города Кишинева“.

Интересно, что въ описаніе въ „Онѣгинѣ“ своей легкомысленной жизни въ Одессѣ Пушкинъ включилъ и изображеніе молодой, „самолюбивой и томной“ негоціантки, окруженной въ своей ложѣ въ оперѣ толпой „рабовъ“, мольбамъ и льстивымъ шуткамъ которыхъ „она и внемлетъ и не внемлетъ“. Эта негоціантка, конечно, та самая Ризничъ, которой поэтъ посвятилъ прекрасное стихотвореніе „Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты“. Странно, что свое увлеченіе ею поэтъ поставилъ на-ряду съ „закулисными свиданіями“ и „балетомъ“; странно, потому что принято думать, будто къ этой-же женщинѣ относится одна изъ вдохновеннѣйшихъ элегій его—„Подъ небомъ голубымъ страны своей родной“, также „Заклинаніе“ и даже стихотвореніе „Для береговъ отчизны дальной“.

Все это требуетъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія. Свѣдѣнія о Ризничъ собралъ въ Одессѣ отъ различныхъ

[1]) *Рус. Арх.* 1866 г., стр. 1471—1474.

лицъ проф. Зеленецкій [1]).—Еще до 1823 года, во время пріѣздовъ своихъ въ Одессу, Пушкинъ познакомился съ негоціантомъ Ризничемъ, который былъ родомъ изъ адріатическихъ славянъ. Въ 1822 году Ризничъ уѣхалъ въ Вѣну и весной слѣдующаго года воротился съ молодой женой, дочерью вѣнскаго банкира Риппъ, полу-нѣмкой, полу-итальянкой съ примѣсью, быть можетъ, еврейскаго въ крови. Молодая Ризничъ, съ пламенными очами и черной косой, была прекрасна собою. Живая и развязная, она вела у себя въ домѣ одушевленныя бесѣды съ гостями и играла съ страстною охотой въ вистъ. У нея было много поклонниковъ, и она легкомысленно кокетничала съ ними; она всегда носила длинное платье, чтобы скрыть свои большія ноги, ходила въ мужской шляпѣ и одѣвалась въ нарядъ полу-амазонки. Всѣхъ болѣе ухаживали за нею—Пушкинъ и нѣкто Исидоръ Собаньскій, не молодой, но богатый помѣщикъ изъ западныхъ губерній; оба они пользовались ея вниманіемъ и довѣріемъ „На сторонѣ Пушкина (говоритъ Зеленецкій) были молодость и пылъ страсти, на сторонѣ его соперника—золото". Весною 1824 года Ризничъ уѣхала заграницу, одна со своимъ ребенкомъ, безъ мужа; вслѣдъ за нею поѣхалъ и Собаньскій, который настигъ ее на пути, проводилъ до Вѣны и вскорѣ оставилъ навсегда. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 1825 году (по всей вѣроятности въ началѣ) она умерла, кажется въ бѣдности и кажется въ Генуѣ, призрѣнная матерью мужа. Поэтъ Туманскій написалъ, въ іюлѣ 1825 года, стихотвореніе „На кончину Ризничъ", гдѣ между прочимъ говоритъ:

> Ты на землѣ была любви подруга,—
> Твои уста дышали слаще розъ,
> Въ живыхъ очахъ, несозданныхъ для слёзъ,
> Горѣла страсть, блистало небо юга.

Зеленецкій весьма основательно доказываетъ, что элегія „Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты" посвящена Пушкинымъ именно ей: въ элегіи есть и намеки на Собаньскаго, и упоминаніе матери красавицы, которая, дѣйствительно, нѣкоторое время жила съ нею въ Одессѣ, и т. д.

---

[1]) „Г-жа Ризничъ и Пушкинъ" „Рус. Вѣстн." 1856 г., кн. 11.

Окружена поклонниковъ толпой,
Зачѣмъ для всѣхъ казаться хочешь милой,
И всѣхъ даритъ надеждою пустой
Твой чудный взоръ, то нѣжный, то унылой?
. . . .
Не видишь ты, когда въ толпѣ ихъ страстной,
Бесѣды чуждъ, одинъ и молчаливъ,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мнѣ, ни взгляда... другъ жестокой!
. . . .
Скажи еще: соперникъ вѣчный мой,
Наединѣ заставъ меня съ тобой,
Зачѣмъ тебя привѣтствуетъ лукаво?....
Что-жь онъ тебѣ? Скажи, какое право
Имѣетъ онъ блѣднѣть и ревновать?..
Въ нескромный часъ, межь вечера и свѣта,
Безъ матери, одна, полуодѣта,
Зачѣмъ его должна ты принимать?..

Кромѣ этихъ частныхъ намековъ на лица, отношенія и событія, общая характеристика въ стихотвореніи красавицы, возбудившей страсть поэта, совершенно подходитъ къ личности Ризничъ, какою ее изобразилъ Зеленецкій.—Послѣдній дѣлаетъ еще остроумное и весьма вѣроятное предположеніе, что Пушкинъ, считавшій себя въ моментъ написанія стихотворенія любимымъ безраздѣльно, потомъ убѣдился въ противномъ; оттого и случилось, что въ одномъ изъ послѣднихъ стиховъ элегіи выраженіе „но ты вѣрна" онъ замѣнилъ, при вторичномъ напечатаніи, словами „но я любимъ". Очень можетъ быть, что къ этому обстоятельству относится разсказъ Льва Серг. Пушкина [1]) про брата: „однажды въ бѣшенствѣ ревности онъ пробѣжалъ 5 верстъ, съ обнаженной головой, подъ палящимъ солнцемъ по 35-градусному жару".

По всей вѣроятности основательна догадка Зеленецкаго, что и стихотвореніе „Иностранкѣ" (1824 г.) посвящено той-же Ризничъ:

На языкѣ тебѣ невнятномъ
Стихи прощальные пишу...

Она дѣйствительно уѣхала въ 1824 году и не могла научиться по-русски въ короткое время своего пребыванія

---

[1]) *Въ Москвитянинѣ* 1853 г.

въ Россіи, — въ домѣ ея говорили (кромѣ развѣ прислуги) по-итальянски и по-французски. Братъ Пушкина говоритъ: „иностранка, которая, отъѣзжая заграницу, просила поэта написать ей что-нибудь въ память ихъ самыхъ близкихъ двухлѣтнихъ (?) отношеній, и которой написано стихотвореніе „Иностранкѣ“, очень удивилась, узнавши, что стихи собственнаго его сочиненія“. Это соотвѣтствуетъ (поясняетъ справедливо Зеленецкій) характеру Ризничъ, настроенію ея чувства и мысли.

Послѣ всего этого спрашивается — какимъ образомъ можно думать, что воспоминаніе о легкомысленной кокеткѣ сомнительнаго поведенія могло вдохновить Пушкина на созданіе такихъ возвышенныхъ и чистыхъ стихотвореній, какъ „Подъ небомъ голубымъ“ и „Для береговъ отчизны дальной?“ — Первое изъ нихъ оканчивается словами:

Увы, въ душѣ моей
Для бѣдной легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Здѣсь ничто не подходитъ къ Ризничъ: ужъ если кто былъ „легковѣренъ“ (или довѣрчивъ) въ этой любви, то конечно Пушкинъ, а не она; и какая-же „сладкая память“ могла остаться у него объ измѣнявшей ему лекгомысленной, а можетъ быть и корыстной женщинѣ? — Фактическія доказательства Зеленецкаго, что эта элегія относится именно къ Ризничъ, тоже не выдерживаютъ критики: Ризничъ умерла въ 1825 году (даже въ его началѣ), а Пушкинъ пишетъ стихи на ея кончину 29 іюля 1826 года (какъ подписано подъ ними его рукою). Неужели онъ больше года не зналъ о смерти любимаго человѣка? это тѣмъ болѣе странно, что Туманскій свою элегію „На кончину Ризничъ“, которую онъ написалъ вовремя, т. е. вскорѣ послѣ смерти красавицы, посвятилъ именно ему. Предположеніе Зеленецкаго, что Туманскій могъ посвятить свое стихотвореніе Пушкину не тогда, когда написалъ его, а позднѣе, при отсылкѣ въ печать, причемъ и извѣстилъ поэта о самомъ фактѣ смерти, эти предположенія слишкомъ натянуты, равно какъ и догадка, что Пушкинъ, напечатавъ въ собраніи своихъ сочиненій эту элегію подъ 1825 годомъ, хотѣлъ такимъ образомъ отнести ее къ эпохѣ событія, или что слова подъ нею

„усл. о см... 25“ означаютъ—услыхалъ о смерти въ 1825 году. (Гораздо проще: услыхалъ 25 іюля, сочинилъ элегію 29-го).— О стихотвореніи „Для береговъ отчизны дальной“, въ которомъ является такой чистый и свѣтлый женскій образъ, нечего и говорить. Въ немъ упоминается о скорбныхъ слезахъ разлуки, о горькой тоскѣ поэта; это все такъ противорѣчитъ холодному тону стиховъ „Иностранкѣ“. — То-же можно сказать и о стихотвореніи „Заклинаніе“, совершенно неподходящемъ къ характеру Ризничъ.

Если что еще посвятилъ ей Пушкинъ, такъ это одинъ изъ мадригаловъ, предназначавшихся въ „альбомъ Онѣгина“:

Туманскій правъ, когда такъ вѣрно васъ
Сравнилъ онъ съ радугой живою:
Вы милы, какъ она, для глазъ,
И, какъ она, премѣнчивы душою.
. . . .
Но болѣе всего сравненіе съ ключомъ
Мнѣ нравится: я радъ ему сердечно!
Да, чисты вы, какъ онъ, и сердцемъ и умомъ,
И такъ-же холодны, конечно!

Эти стихи выражаютъ, можетъ быть, истинное (и весьма невысокое) мнѣніе Пушкина о предметѣ своего увлеченія (да еще до полнаго ознакомленія съ образомъ дѣйствій красавицы) и совершенно гармонируютъ съ тѣмъ, что онъ нашелъ возможнымъ говорить о ней одновременно съ повѣствованіемъ про свои симпатіи къ балету.

Поэтъ увлекся опять, какъ это было разъ съ нимъ въ Кишиневѣ, блескомъ внѣшней красоты. Печально-же особенно здѣсь то обстоятельство, что онъ, какъ въ предшествовавшей кратковременной любви своей къ гречанкѣ, обратилъ на это увлеченіе часть своего чистаго и вѣчнаго чувства: отблескъ его лежитъ на элегіи: „Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты“,—оттого она такъ прекрасна и тепла.

Впрочемъ въ этомъ-же году въ Одессѣ, несмотря на увлеченіе ложной любовью, истинное чувство вызвало изъ души Пушкина нѣсколько чудныхъ стихотвореній. Самое замѣчательное изъ нихъ, и по своему поэтическому достоинству, и по отношенію къ жизни поэта, — элегія „Ненастный день потухъ“ [1]).

[1]) Г. Ефремовъ, въ примѣч. къ I т. соч. Пушкина, относитъ это стих., какъ и „Ночь“, къ Ризничъ. Предположеніе невозможное: во 1-хъ по противорѣчію ихъ съ характеромъ этого лица, во 2-хъ по не*имѣнію основаній* для такого отнесенія.

Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ,

говоритъ онъ. Та, кому принадлежитъ его сердце, далеко отъ него, въ странѣ, гдѣ

море движется роскошной пеленой
Подъ голубыми небесами.

Воображеніе поэта рисуетъ ее сидящею печально и одиноко „подъ завѣтными скалами".

Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ;
Никто ея колѣнъ въ забвеньи не цѣлуетъ;
Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ.
. . . .
. . . .
Никто ея любви небесной не достоинъ.

Чудныя и скорбныя строки эти свидѣтельствуютъ, что совершилось горькое событіе въ любви поэта, произошла уже та разлука, о которой онъ сказалъ впослѣдствіи:

Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладнѣющія руки
Тебя старались удержать,
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.

Послѣдніе стихи элегіи показываютъ — и какъ высоко ставитъ поэтъ ту, кого любитъ, какъ онъ благоговѣетъ передъ нею, какъ вѣритъ въ нее, и въ то-же время, какъ зарождаются въ его душѣ ревнивыя сомнѣнія,—

Никто ея любви небесной не достоинъ.
Не правда-ль: ты одна... ты плачешь.,. я спокоенъ;
. . . .
Но если . . . .

Бурный вихрь мыслей и чувствъ, тревожное состояніе потрясенной души, облеченное въ гармоническое теченіе почти спокойной художественной рѣчи!

Должно быть къ тому-же любимому лицу относится и стихотвореніе „Ночь".

Близь ложа моего печальная свѣча
Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча,
Текутъ, ручьи любви, текутъ, полны тобою.

Въ тяжеломъ горѣ разлуки поэтъ вспоминаетъ дни счастья:

Во тьмѣ твои глаза блистáютъ предо мною,
Мнѣ улыбаются, и звуки слышу я:
Мой другъ, мой нѣжный другъ... люблю... твоя... твоя.

Любовь невольно примирила поэта съ тяжелой участью изгнанника и привязывала могучими узами къ мѣсту ссылки. Онъ тяготился и въ Одессѣ своей судьбой невольника: въ началѣ 1824 года онъ писалъ брату, что „дважды просилъ объ отпускѣ... и два раза воспослѣдовалъ всемилостивѣйшій отказъ. Осталось одно—писать прямо на имя Государя... не то взять тихонько трость и шляпу и поѣхать посмотрѣть на Константинополь“ [1]); но онъ и не попытался привести въ исполненіе подобный замыселъ. Почему? — это объясняютъ двѣ строфы прощальнаго съ югомъ стихотворенія „Къ морю“; поэтъ обращается къ океану:

Не удалось на вѣкъ оставить
Мнѣ скучный, неподвижный брегъ,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтамъ твоимъ направить
Мой поэтическій побѣгъ.
Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ окованъ,
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарованъ,
У береговъ остался я.

Загадочное стихотвореніе „Давно объ ней воспоминанье“ (1823),появившееся въ посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина подъ сокращеннымъ заглавіемъ „М. А. Г.“, можетъ быть проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на тайну поэта. Впервые напечатано оно въ „Карманной книжкѣ для любителей русской старины“ 1830 года, подъ заглавіемъ „Кн. Голицыной, урожденной Суворовой“. Такимъ образомъ таинственныя буквы „М. А. Г.“, соединенныя и съ элегіей 1821 г. „Умолкну скоро я“, а слѣдовательно, и съ написанной на другой день послѣ нея „Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ“, означаютъ, вѣроятно,—Марія

---

[1]) Рус. Стар. 1879 г., авг., стр. 687. Далѣе слѣдуютъ слова: „Святая Русь мнѣ становится не въ терпежъ. Ubi bene, ibi patria“. Ихъ, конечно, нельзя считать проявленіемъ нелюбви поэта къ родинѣ; въ нихъ просто сказалось минутное личное раздраженіе его.

Аркадьевна Голицына [1]). — Поэтъ оканчиваетъ стихотвореніе словами:

Въ гордости моей
Я мыслить буду съ умиленьемъ:
Я славой былъ обязанъ ей,
А можетъ быть—и вдохновеньемъ.

Серьезность тона всего произведенія, сдержаннаго, но далеко не холоднаго, показываетъ, что слова эти сказаны не на-вѣтеръ, не въ видѣ простой любезности, мадригала. Но они не совсѣмъ понятны, потому что темно (и должно быть Пушкинъ сдѣлалъ это съ намѣреніемъ), темно выраженіе:

Вновь лирѣ слезъ и тайной муки
Она съ участіемъ вняла —
И нынѣ ей передала
Свои плѣнительные звуки [2]).

Присутствіе въ душѣ чистаго и высокаго чувства не давало Пушкину вполнѣ погрузиться въ трактирно-театральную жизнь. Какъ и въ Кишиневѣ, онъ въ Одессѣ продолжалъ серьезныя занятія чтеніемъ. По словамъ г. Анненкова, большая часть его денегъ уходила на пріобрѣтеніе книгъ; въ это время возникло у него стремленіе къ собиранію библіотеки, и онъ самъ живописно сравнилъ себя со стекольщикомъ, раззоряющимся на покупку необходимыхъ ему алмазовъ. Въ Одессѣ онъ принялся за изученіе итальянскаго языка, и, по словамъ отца его, учился вмѣстѣ и поиспански [3]).

Къ изученію языковъ его могло побудить обстоятельство, указанное имъ самимъ въ описаніи (въ „Онѣгинѣ“) Одессы:

---

[1]) См. прим. г. Ефремова къ этимъ стихотвореніямъ (Соч. Пушкина, т. 1).

[2]) Весьма вѣроятно, что французское письмо Пушкина къ неизвѣстному лицу (написанное, должно быть, осенью 1823 г. въ Одессѣ. См. Соч. Пушкина, т. V, стр. 500—501) подъ буквами „M. S.“ также разумѣетъ Марію Аркадьевну Суворову. Письмо говоритъ, что она еще не вернулась въ Одессу,—внѣшнее обстоятельство, позволяющее, быть можетъ, къ ней-же отнести и стихотвореніе „Ночь“, помѣченное „26-мъ октября“, и элегію „Ненастный день потухъ“,—сочиненія по духу вполнѣ подходящія къ несомнѣнно посвященнымъ ей вдохновеннымъ и чистымъ созданіямъ поэта.

[3]) Матер. г. Анненкова, стр. 89.

Тамъ все Европой дышетъ, вѣетъ,
Все блещетъ югомъ и пестрѣетъ
Разнообразностью живой.
Языкъ Италіи златой
Звучитъ по улицѣ веселой,
Гдѣ ходитъ гордый Славянинъ,
Французъ, Испанецъ, Армянинъ,
И Грекъ, и Молдаванъ тяжелый...

На занятія Пушкина испанскимъ языкомъ быть можетъ указываетъ и написанный въ Одессѣ въ 1824 г. „Испанскій романсъ“:

Ночной зефиръ
Струитъ эфиръ,
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.

Очень возможно, что „Испанскій романсъ“ есть зародышъ „Каменнаго гостя“. Въ немъ видна уже та изумительная художественность, доступная одному Пушкину, которая сказалась впослѣдствіи въ его драматическихъ произведеніяхъ, содержаніе которыхъ онъ бралъ изъ иностранной жизни, перевоплощаясь въ эту жизнь и оставаясь въ то-же время русскимъ человѣкомъ и самимъ собою.

Продолжали занимать поэта и историческіе памятники, историческія мѣстности, слѣды замѣчательныхъ событій.

Такъ, онъ былъ сильно взволнованъ, когда узналъ отъ Липранди [1]), что одинъ бендерскій казакъ Искра, древній старикъ, хорошо помнитъ Карла XII. Поэтъ ѣздилъ съ Липранди въ Бендеры, взявши съ собою сочиненія, спеціально говорящія о пребываніи Карла XII около Бендеръ въ Варницѣ, познакомился съ Искрой, распрашивалъ его, и былъ очень огорченъ, что тотъ ничего не помнилъ о Мазепѣ, хотя очень обстоятельно описывалъ Карла, его лагерь и укрѣпленія. Искра говорилъ даже, что не знаетъ, кто такой Мазепа. Пушкинъ тщетно пытался пробудить его воспоминанія, поясняя, что Мазепа былъ казачій генералъ и православный, а не басурманъ; поэтъ надѣялся узнать отъ Искры мѣсто могилы Мазепы. Должно быть въ это время въ головѣ его уже мелькала смутная идея будущей поэмы

[1]) Р. Арх. 1866 г., стр. 1459—1464, 1469).

о Петрѣ, Мазепѣ и Карлѣ XII. На возвратномъ пути изъ Бендеръ Пушкинъ, также тщетно, пробовалъ отыскать въ Каушанахъ слѣды ханскихъ дворцовъ съ фонтанами.

Ближайшимъ результатомъ чтеній и размышленій поэта была выработка въ его умѣ критическихъ воззрѣній. Вообще въ эту пору его стала сильно занимать литературная критика. Изъ сохранившихся отрывковъ его записокъ, а также изъ переписки съ братомъ, друзьями и знакомыми (Дельвигомъ, княземъ Вяземскимъ, Бестужевымъ, Рылѣевымъ и другими) мы узнаемъ его критическіе взгляды одесской эпохи. — Такъ, въ отрывкѣ одной замѣтки [1]), въ которой онъ хотѣлъ говорить о причинахъ, замедлившихъ ходъ нашей словесности, онъ высказываетъ общій взглядъ на нашу литературу. „У насъ нѣтъ еще (говоритъ поэтъ) ни словесности, ни книгъ“. Мы почерпнули познанія наши изъ сочиненій иностранныхъ, и даже привыкли мыслить на чужомъ языкѣ. „Проза наша еще такъ мало обработана, что даже въ простой перепискѣ мы принуждены создавать обороты для понятій самыхъ обыкновенныхъ, и лѣность наша охотнѣе выражается на языкѣ чужомъ, механическія формы котораго давно уже извѣстны“. Поэтъ сомнѣвается въ томъ, что наша поэзія достигла высокой степени; такія сомнѣнія возникли въ немъ, вѣроятно, вслѣдствіе близкаго ознакомленія съ иностранными литературами, чему способствовало изученіе имъ на югѣ языковъ. „Согласенъ (говоритъ онъ иронически, какъ-бы соглашаясь съ панегиристами русской поэзіи), что нѣкоторыя оды Державина, несмотря на неправильность языка и неровность слога, исполнены порывами генія, что въ „Душенькѣ“ Богдановича встрѣчаются стихи и цѣлыя страницы, достойныя Лафонтена, что Крыловъ превзошелъ всѣхъ намъ извѣстныхъ баснописцевъ, исключая, можетъ-быть, того-же самаго Лафонтена, что счастливые сподвижники Ломоносова... (оставленъ пробѣлъ), что Батюшковъ сдѣлалъ для русскаго языка то-же самое, что Петрарка для италіанцевъ, что Жуковскаго перевели-бы на всѣ языки, если-бы онъ самъ менѣе переводилъ...“ На этомъ прерывается замѣтка. Можно догадываться, что Пушкинъ хотѣлъ высказать въ ней ту мысль, которую че-

[1]) Соч. Пушкина, т. V, стр. 22—23.

резъ 10 лѣтъ русское общество прочло въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскаго: у насъ есть нѣсколько хорошихъ писателей, но единичныя явленія еще не составляютъ литературы.—Это показываетъ намъ, что сильно и здраво работала не только художническая фантазія, но и отвлеченная мысль Пушкина.—Интересна еще одна идея въ началѣ замѣтки: поэтъ находитъ, что если у насъ въ жизни въ большомъ употребленіи французскій языкъ, что соединено съ пренебреженіемъ къ русскому, то въ этомъ виноваты сами наши писатели, не выработавши литературнаго языка.

Частные приговоры Пушкина о томъ или другомъ писателѣ отличаются въ это время такою-же строгостью, какъ и общій отзывъ о нашей словесности. Вотъ что пишетъ онъ, напр., кн. Вяземскому объ И. И. Дмитріевѣ: „Всѣ его басни не стоятъ одной хорошей басни Крылова, всѣ его сатиры—одного изъ твоихъ посланій, все прочее—перваго стихотворенія Жуковскаго. По мнѣ, Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократъ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны въ дурномъ родѣ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, что нѣтъ мочи...“ [1])

Не только къ русскимъ писателямъ, но и къ инымъ иностраннымъ прилагалъ Пушкинъ свой скептическій анализъ. Такъ, мы встрѣчаемъ безпощадную характеристику Расина въ письмѣ 1824 года къ брату изъ Одессы [2]); осуждая здѣсь за дурной языкъ переводъ Расиновой Федры, сдѣланный Лобановымъ, поэтъ замѣчаетъ: „а чѣмъ-же и держится..... Расинъ, какъ не стихами, полными смысла, точности и гармоніи! Планъ и характеры Федры верхъ глупости и ничтожества въ изобрѣтеніи....... Прочти всю эту хвалебную тираду (т. е. монологъ изъ Федры: D'un mensonge si noir и т. д.) и удостовѣришься, что Расинъ понятія не имѣлъ объ созданіи трагическаго лица—сравни его съ рѣчью молодаго любовника Паразины Байроновой, увидишь разницу умовъ. А Тераменъ, аббатъ и сводникъ—vous même où seriez vous ect... вотъ глубина глупости!“

Надо упомянуть еще, что Пушкина, какъ критика, очень занималъ въ эту пору вопросъ о романтизмѣ и клас-

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 220—221.

[2]) Рус. Стар. 1879 г., августъ, стр. 688.

сицизмѣ, который имѣлъ для него и личное значенiе, такъ какъ его самого многiе считали главою романтической школы у насъ. Г. Анненковъ справедливо говоритъ [1]), что вопросъ о романтизмѣ былъ въ то время очень труднымъ и запутаннымъ. Романтизмъ понимали различно: одни какъ накопленiе этнографическихъ чертъ и народныхъ выраженiй въ произведенiи; другiе—какъ тонкiй до мелочей анализъ характеровъ; третьи считали его за проявленiе необузданной фантазiи, пренебрегающей всѣми правилами. Пушкинъ, во всѣхъ своихъ попыткахъ, не дошелъ до точнаго и правильнаго опредѣленiя романтизма; онъ остановился наконецъ на признанiи различiя романтическихъ сочиненiй отъ классическихъ лишь по формѣ,—первыя онъ призналъ свободными отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ. На практикѣ поэтъ, однако, ясно чувствовалъ разницу между двумя направленiями поэзiи. Напримѣръ, онъ назвалъ (въ письмѣ къ кн. Вяземскому) [2]) А. Шенье „изъ классиковъ классикомъ"; онъ говоритъ: „c'est un imitateur. Отъ него пахнетъ Ѳеокритомъ и Анакреономъ...... Романтизма нѣтъ еще во Францiи (читаемъ въ томъ же письмѣ далѣе), а онъ-то и возродилъ умершую поэзiю. Помни мое слово—первый поэтическiй генiй въ отечествѣ Буало ударится въ такую свободу, что твои нѣмцы!"

Приведенные критическiе взгляды Пушкина отличаются скептицизмомъ. Скептицизмъ, сомнѣнiе и составляетъ вообще характеристическую черту его личности въ эпоху жизни въ Одессѣ. Самымъ яркимъ выраженiемъ такого настроенiя духа служитъ знаменитое стихотворенiе 1823 г. „Демонъ":

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытiя—
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья,
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Тамъ сильно волновали кровь,—
Часы надеждъ и наслажденiй
Тоской внезапной осѣня,

---

[1]) Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 225 и слѣд.
[2]) Тамъ же, стр. 228.

Тогда какой-то злобный геній
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ Провидѣнье искушалъ,
Онъ звалъ прекрасное—мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ,
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ,
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Сочиненіе это, появившееся въ печати въ 1824 году, произвело впечатлѣніе, возбудило толки; многіе называли его страннымъ, иные видѣли въ немъ намекъ на дѣйствительное лицо. Пушкинъ задумалъ поэтому объяснить свое созданіе, и превосходно сдѣлалъ это въ коротенькой замѣткѣ, оставшейся однако не напечатанной при его жизни:

„Не хотѣлъ-ли поэтъ (говоритъ Пушкинъ) олицетворить сомнѣніе? Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго. Оно легковѣрно и нѣжно. Мало-по-малу вѣчныя противорѣчія существенности рождаютъ въ немъ сомнѣніе: чувство мучительное, но непродолжительное... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Не даромъ великій Гете называетъ вѣчнаго врага человѣчества — духомъ отрицающимъ... И Пушкинъ не хотѣлъ-ли въ своемъ „Демонѣ“ олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія и начертать въ пріятной картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?“ [1]).

Насколько Пушкина мучили скептическіе вопросы о Провидѣніи, вдохновеніи, о загробной жизни, о любви, о прекрасномъ и т. д., видно изъ того, что свои сомнѣнія онъ приписалъ даже Ленскому, образъ котораго создавалъ въ это время (первыя главы „Онѣгина“, какъ извѣстно, писаны въ Одессѣ). Во второй главѣ романа были примѣры стихотвореній Ленскаго, впослѣдствіи исключенные поэтомъ; между прочимъ въ одномъ изъ нихъ Пушкинъ заставляетъ

---

[1]) Соч. Пушкина, т. V, стр. 21. (Также въ примѣч. къ I т.).

своего героя высказывать глубокій скептицизмъ; это совершенно не вяжется съ общимъ характеромъ юноши-романтика и очевидно свидѣтельствуетъ о томъ, что происходило въ душѣ самого Пушкина.

Надеждой сладостной младенчески дыша,

(пишетъ Ленскій)

Когда-бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа,
Отъ тлѣнья убѣжавъ, уноситъ мысли вѣчны,
И память, и любовь въ пучины безконечны,—
Клянусь! давно-бы я оставилъ этотъ міръ,
Я сокрушилъ-бы жизнь, уродливый кумиръ,
И улетѣлъ въ страну свободы, наслажденій,
Въ страну, гдѣ смерти нѣтъ, гдѣ нѣтъ предразсужденій,
Гдѣ мысль одна живетъ въ небесной чистотѣ.
Но тщетно предаюсь обманчивой мечтѣ!
Мой умъ упорствуетъ, надежду презираетъ...
Ничтожество меня за гробомъ ожидаетъ...
Какъ! Ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мнѣ страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милой
Таился и пылалъ въ душѣ моей унылой.

Подобныя мысли и сомнѣнія начинали волновать Пушкина еще раньше, въ Кишиневѣ. Въ первоначальномъ текстѣ извѣстнаго стихотворенія 1822 года „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный“.[1]) поэтъ съ ужасомъ говоритъ о возможности ничтожества человѣка за гробомъ:

Ты, сердцу непонятный мракъ,
Пріютъ отчаянья слѣпаго,
Ничтожество, пустой призракъ,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанье жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка,
Я все не вѣрую въ тебя,
Ты чуждо мысли человѣка,
Тебя страшится гордый умъ.

Поэту пріятнѣе вѣрить не только существованію загробной жизни, но и „благословеннымъ мечтамъ“ поэзіи, что тѣни умершихъ не разрываютъ связей съ землею:

Онѣ уныло посѣщаютъ
Мѣста, гдѣ жизнь была милѣй,
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ

---

[1]) Соч. т. I, стр. 530—561.

Сердца покинутыхъ друзей...
Онѣ, безсмертіе вкушая,
Въ Элизій поджидаютъ ихъ,
Какъ въ праздникъ ждетъ семья родная
Замедлившихъ гостей своихъ...

Собственно въ этихъ стихахъ выражается вѣра Пушкина; но сквозь вѣру пробивается начало иное: горькій скептицизмъ звучитъ въ вопросахъ:

улетѣвъ въ міры иные,
Ужели съ ризой гробовой
Всѣ чувства брошу я земныя?
И чуждъ мнѣ станетъ міръ земной? и т. д.

Скептицизмъ слышится и въ кишиневскомъ стихотвореніи „Телега жизни" (1823 г.): насмѣшливо-отрицательно, и оттого даже цинически, относится здѣсь поэтъ къ земному существованію человѣка: въ молодости, утромъ нашей жизни, мы смѣло ѣдемъ впередъ и погоняемъ ямщика; въ полдень у насъ нѣтъ уже той отваги,

Порастрясло насъ, намъ страшнѣй
И косогоры, и овраги;
Кричимъ: полегче, дуралей!

А подъ-вечеръ, къ старости, мы привыкаемъ къ тряскѣ жизненной телеги, становимся равнодушными ко всему и дремлемъ до ночлега, пока

время гонитъ лошадей.

Въ Одессѣ, какъ и въ Кишиневѣ, поэтъ сохранилъ въ душѣ своей сочувствіе къ свободѣ: здѣсь написалъ онъ стихотвореніе „Возстань, о Греція, возстань!", эпиграмму на цензуру („Тимковскій царствовалъ"), злую эпиграмму на придворныхъ льстецовъ, оканчивающуюся ироническимъ совѣтомъ:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И въ самой подлости оттѣнокъ благородства.

Но скептицизмъ подорвалъ и его вольнолюбивыя мечты: поэтъ не вѣритъ возможности ихъ осуществленія въ дѣйствительности. Мы видѣли разочарованіе его въ греческомъ возстаніи; оно было поводомъ къ написанію желчнаго стихотворенія „Изыде сѣятель сѣяти сѣмена своя" (1823 г.).

Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь;
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ.

Въ вдохновенной одѣ „Къ морю“ (1824 г.) Пушкинъ высказываетъ безотрадную идею:

Судьба людей повсюду та-же:
Гдѣ капли блага, тамъ на-стражѣ
Иль самовластье, иль тиранъ.

Въ сочиненіи, озаглавленномъ въ послѣднемъ изданіи словомъ „Отрывокъ“, поэтъ заставляетъ императора Александра считать „благомъ“ неволю народовъ и говорить:

Давно-ли ветхая Европа свирѣпѣла,
Надеждой новою Германія кипѣла,
Шаталась Австрія, Неаполь возставалъ?
За Пиринеями давно-ль судьбой народа
Ужь правила свобода,
И самовластіе лишь сѣверъ укрывалъ?

Давно-ль?—и гдѣ-же вы, зиждители свободы?
Ну, что-жь? Витійствуйте, ищите правъ природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу!
Вотъ Кесарь—гдѣ-же Брутъ? О, грозные витіи,
Цѣлуйте жезлъ Россіи
И васъ поправшую желѣзную стопу!

Вмѣстѣ съ сомнѣніями политическаго и общественнаго характера возникли въ душѣ поэта и сомнѣнія религіозныя. Въ одномъ письмѣ (къ А. И. Тургеневу, отъ 1-го дек. 1823 г.) онъ комментируетъ стихотвореніе „Изыде сѣятель...“ словами: „написалъ на-дняхъ подражаніе баснѣ умѣреннаго демократа“ [1]). — Сильнѣе и ярче религіозный скептицизмъ выразился въ другомъ письмѣ поэта, которое было перехвачено полиціей и послужило поводомъ къ высылкѣ его изъ Одессы въ Михайловское. „Читаю библію (писалъ Пушкинъ), Святой Духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я дѣлаю?— Пишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго атеизма. Здѣсь англичанинъ, глухой философъ и

[1]) „Рус. Стар.“ 1880 г., іюль, стр. 542.

единственный умный атей, котораго я еще встрѣтилъ. Онъ написалъ листовъ тысячу, чтобъ доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent createur et regulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но къ несчастію, болѣе чѣмъ правдоподобная“ [1]).—За это письмо, попавшееся въ руки московской полиціи, поэта обвинили въ атеизмѣ, и одновременно съ тѣмъ, какъ Воронцовъ отправлялъ донесеніе о немъ въ Петербургъ, прося о переводѣ его изъ Одессы, судьба его рѣшалась въ сѣверной столицѣ. Пушкинъ былъ исключенъ изъ службы по Высочайшему повелѣнію 11-го іюля 1824 года гр. Нессельроде писалъ Воронцову про поэта: „все доказываетъ, къ несчастію, что онъ слишкомъ проникся вредными началами, такъ пагубно выразившимися при первомъ вступленіи его на общественное поприще“ [2]). — Анализируя приведенныя слова несчастнаго письма Пушкина не съ административной точки зрѣнія, мы видимъ въ нихъ не атеизмъ, а сомнѣніе, скептицизмъ. Оказывается, во 1-хъ, что поэтъ читаетъ Библію и она ему по-сердцу; во 2-хъ, что атеисты, по его мнѣнію, глупы, кромѣ одного, встрѣтившагося ему въ Одессѣ англичанина, и въ 3-хъ, что система атеизма не утѣшительна, и если „правдоподобна“, то „къ несчастію“. Ясно, что поэтъ жаждетъ вѣры, не только не можетъ отдаться ей и пожалуй даже далекъ отъ нея въ данную минуту, потому что переживаетъ періодъ сомнѣній.

Весьма возможно, что въ разладѣ Пушкина съ гр. Воронцовымъ, въ непріятностяхъ, возникшихъ у него по службѣ, кромѣ сознанія поэтомъ своего достоинства игралъ значительную роль и его тогдашній скептицизмъ, недовѣрчивый взглядъ на жизнь вообще и на служебныя отношенія въ частности. По словамъ г. Анненкова [3]), друзья и знакомые Пушкина свидѣтельствуютъ, что съ первыхъ-же мѣсяцевъ пребыванія поэта въ Одессѣ въ немъ была замѣтна внутренняя тревога, мрачное, сосредоточенное въ себѣ негодованіе. Между „благоразумными“ людьми онъ прослылъ

---

[1]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., стр. 293.
[2]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., стр. 293.
[3]) Пушк. въ Александ. эпоху, стр. 243.

человѣкомъ потеряннымъ, а со стороны чиновничьяго міра встрѣтилъ въ отношеніи къ себѣ бюрократизмъ и вельможескую гордость. Этой послѣдней противопоставилъ онъ гордость знаменитаго писателя и потомка знаменитаго рода, часто понимаемаго въ русской исторіи. Въ письмѣ 1824 г. къ Александру Бестужеву онъ говоритъ: „у насъ писатели взяты изъ высшаго класса общества. Аристократическая гордость сливается у насъ съ авторскимъ самолюбіемъ. Мы не хотимъ быть покровительствуемы равными: вотъ чего W (т. е. гр. Воронцовъ) не понимаетъ. Онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней съ посвященіемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлѣтній дворянинъ". —Слова эти отзываются повидимому аристократизмомъ; такъ ихъ и поняли нѣкоторые друзья поэта. Рылѣевъ писалъ ему по этому поводу: „ты сдѣлался аристократомъ; это меня разсмѣшило. Тебѣ-ли чваниться пятисотлѣтнимъ дворянствомъ? И тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ. Ты самъ по себѣ молодецъ" [1]).—Но едва-ли аристократизмъ руководилъ въ это время дѣйствіями и словами Пушкина, если даже и допустить въ немъ увлеченіе байронизмомъ въ смыслѣ, указываемомъ Рылѣевымъ: аристократизмъ такъ противорѣчитъ и мыслямъ, недавно еще высказаннымъ имъ въ исторической запискѣ, и его скептицизму одесской эпохи. Вѣрнѣе будетъ предположить, что поэтъ просто хотѣлъ бороться съ противникомъ его-же собственнымъ оружіемъ: передъ нимъ кичились родовой знатностью—онъ указывалъ на древность своего рода. Впослѣдствіи мы будемъ имѣть случай увидѣть, что аристократизмъ Пушкина былъ ничѣмъ инымъ, какъ уваженіемъ къ заслугамъ предковъ.

Поводомъ къ явному выраженію разрыва между поэтомъ и его высшимъ начальникомъ послужило зачисленіе его въ экспедицію для изслѣдованія саранчи на мѣстахъ ея появленія. Пушкинъ обидѣлся, сочтя такое назначеніе (по словамъ Липранди) местью со стороны гр. Воронцова заходившія на него по городу эпиграммы. Въ канцеляріи на „дѣлѣ о саранчѣ" поэтъ написалъ экспромптъ:

---

[1]) Тамъ-же, стр. 248—249.

Саранча летѣла, летѣла
И сѣла
Сидѣла, сидѣла—все съѣла,
И вновь улетѣла.

А въ письмѣ къ правителю канцеляріи намѣстника, А. И. Казначееву, онъ отказался отъ возложеннаго на него порученія, объясняя отказъ тѣмъ, что

„Семъ лѣтъ службою не занимался, не написалъ ни одной бумаги, не былъ въ сношеніи ни съ однимъ начальникомъ. Мнѣ скажутъ (писалъ Пушкинъ), что я, получая 700 руб., обязанъ служить... Я принимаю эти 700 руб. не такъ, какъ жалованіе чиновника, но какъ паекъ ссылочнаго невольника. Я готовъ отъ нихъ отказаться, если не могу быть властенъ въ моемъ времени и занятіяхъ“ [1]).

Въ другомъ письмѣ къ тому-же лицу [2]) онъ выражается гораздо рѣзче:

„Вы мнѣ говорите о покровительствѣ и дружбѣ—двухъ вещахъ, по моему мнѣнію, несоединимыхъ. Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу съ гр. Воронцовымъ, а еще менѣе на его покровительство (мое уваженіе къ этому человѣку не дозволитъ мнѣ унизиться предъ нимъ). Ничто такъ не позоритъ человѣка, какъ протекція. Я имѣю своего рода демократическіе предразсудки, которые, думаю, стоятъ предразсудковъ аристократическихъ. Я жажду одного—независимости... Мнѣ становится не въ мочь зависѣть отъ хорошаго или дурнаго пищеваренія того или другаго начальника, мнѣ надоѣло видѣть, что меня, въ моемъ отечествѣ, принимаютъ хуже, чѣмъ перваго пришлаго пошляка изъ англичанъ (le premier golopin anglais)“.

Послѣдними словами Пушкинъ намекалъ на англоманію гр. Воронцова. Онъ былъ вообще несдержанъ относительно намѣстника; такъ напр. въ обществѣ въ разговорахъ называлъ его „милордъ Уоронцовъ“, сочинялъ на него эпиграммы: Одна изъ нихъ отличается крайней рѣзкостью:

Полумилордъ, полукупецъ,
Полумудрецъ, полуневѣжда,
Полуподлецъ, но есть надежда,
Что будетъ полнымъ наконецъ.

---

[1]) Пушкинъ въ Алекс. эпоху, стр. 254—255.

[2]) *Тамъ-же,* стр. 257.

Все это, или по-крайней-мѣрѣ многое, доходило, конечно, до ушей Воронцова, и озлобляло его. Къ этому присоединились личные счеты другаго рода: по преданіямъ поэтъ влюбился въ жену графа и пользовался ея симпатіей. —Дѣло кончилось тѣмъ, что Воронцовъ рѣшился наконецъ хлопотать объ высылкѣ Пушкина изъ Одессы. 23 марта 1824 года онъ отправилъ донесеніе гр. Нессельроде, управлявшему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, гдѣ высказывалъ мысль о необходимости удаленія поэта, но только не въ Кишиневъ.—Главный недостатокъ Пушкина—честолюбіе (писалъ Воронцовъ) [1]):

„Онъ прожилъ здѣсь сезонъ морскихъ купаній и имѣетъ уже множество льстецовъ, хвалящихъ его произведенія; это поддерживаетъ въ немъ вредное заблужденіе и кружитъ его голову тѣмъ, что онъ замѣчательный писатель, въ то время, какъ онъ только слабый подражатель писателя, въ пользу котораго можно сказать очень мало“ (т. е. Байрона).

Впрочемъ эта баснословная оцѣнка Пушкина сопровождается въ донесеніи замѣчаніемъ намѣстника, что онъ не хочетъ жаловаться на поэта: по его словамъ, Пушкинъ даже сталъ сдержаннѣе и умѣреннѣе.

„Я прошу высылки (говоритъ гр. Воронцовъ) ради него самого; надѣюсь, моя просьба не будетъ истолкована ему во вредъ“.

Но эта, говоря по-справедливости, довольно умѣренная жалоба оказалась запоздалой: судьба Пушкина рѣшилась въ Петербургѣ помимо нея. Въ іюлѣ гр. Воронцовъ получилъ изъ столицы перехваченное письмо поэта и сообщеніе объ увольненіи его со службы по Высочайшему повелѣнію за дурное поведеніе. Пушкинъ долженъ былъ, не медля, выѣхать изъ Одессы въ псковское имѣніе своей матери село Михайловское, давши подписку, что минуетъ Кіевъ и не будетъ нигдѣ останавливаться на пути. Онъ выѣхалъ 30-го іюля и 9-го августа прибылъ въ Михайловское.

Прежде, чѣмъ перенестись съ поэтомъ на сѣверъ, мы должны остановиться еще на нѣкоторыхъ произведеніяхъ, писанныхъ имъ втеченіи года пребыванія въ Одессѣ. Это—

---

[1]) Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 292.

первыя главы романа „Евгеній Онѣгинъ“, поэма „Цыганы“ и одно изъ лучшихъ его лирическихъ созданій—„Къ морю“.

Въ Одессѣ Пушкинъ написалъ двѣ первыя главы „Онѣгина“ (впрочемъ началъ романъ онъ еще въ Кишиневѣ) и часть третьей главы. Мы не будемъ здѣсь останавливаться на разборѣ романа, оконченнаго значительно позднѣе; замѣтимъ только, что въ изображеніи свѣтской жизни Онѣгина отразилась жизнь самого поэта въ Петербургѣ, Кишиневѣ и Одессѣ; а въ представленіи Онѣгина скептикомъ, смотрящимъ на все сомнѣвающимися глазами, сказался скептицизмъ, овладѣвшій самимъ Пушкинымъ въ Одессѣ.

Поэма „Цыганы„ окончена въ Михайловскомъ (10 октября 1824 г.), но именно только окончена: и замысломъ своимъ и большею частью выполненія она принадлежитъ одесской эпохѣ.—Какъ и всѣ произведенія Пушкина „Цыганы“ сложились подъ впечатлѣніями дѣйствительной жизни: въ Бессарабіи поэтъ близко ознакомился съ цыганами и ихъ бытомъ, даже кочевалъ съ цыганскимъ таборомъ, жилъ его дикой жизнью. Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ одной строфѣ поэмы, впослѣдствіи исключенной изъ нея:

За ихъ лѣнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный, я бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями...
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
Я имя нѣжное твердилъ.

Такъ отзывалась чуткая душа Пушкина на всѣ встрѣчавшіяся ему явленія жизни.—Но происхожденіе „Цыганъ“ объясняется не однимъ практическимъ путемъ: на поэмѣ несомнѣнно видно вліяніе байронизма, какъ мы видѣли его на первыхъ поэмахъ: на „Кавказскомъ плѣнникѣ“, „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“, „Братьяхъ разбойникахъ“. Только „Цыганы“ самобытнѣе другихъ произведеній: нельзя указать ихъ оригинала, или первообраза, ни въ одномъ изъ созданій Байрона. Точно также и герой поэмы, Алеко, личность несомнѣнно байроническая; но и ему нѣтъ опредѣленнаго оригинала въ рядѣ лицъ, созданныхъ англійскимъ поэтомъ; онъ напоминаетъ собою и Корсара, и Чайльдъ-*Гарольда* и Гяура и многихъ другихъ, но самъ онъ — ни

тотъ, ни другой, ни третій и вообще никто изъ нихъ. И въ этой поэмѣ своей Пушкинъ не поднялся еще до полной художественности творчества: Алеко еще не совсѣмъ живое лицо, хотя онъ и близокъ къ тому, чтобы быть личностью типической. Достоевскій назвалъ его „русскимъ скитальцемъ“, русскимъ западникомъ, съ широкими, однако, вслѣдствіе русской природы своей, требованіями, недовольнымъ не только родиной, но и самимъ Западомъ, которому поклоняется. Это вѣрно; но только въ Алеко все это сказалось лишь въ очень общихъ, отвлеченныхъ чертахъ; впослѣдствіи его типъ получилъ въ поэзіи Пушкина опредѣленный очеркъ, превратившись въ Онѣгина и ставши такимъ образомъ вполнѣ русскимъ лицомъ. Самъ же Алеко хотя и не подражаніе Байрону, а оригинальное созданіе Пушкина, но созданіе въ духѣ байронизма.

Что, однако, оригинально вполнѣ и въ очеркѣ личности Алеко, и вообще въ поэмѣ „Цыганы“, это—отношенія Пушкина къ байронизму и къ его типамъ. Свой скептицизмъ одесской эпохи поэтъ перенесъ и на Байрона и на его поэзію; онъ усомнился въ Байронѣ, какъ сомнѣвался въ это время во всемъ, и путемъ сомнѣнія освободился отъ вліянія англійскаго поэта. Въ „Цыганахъ“ мы видимъ судъ Пушкина надъ героями Байрона; поэтъ нашъ борется здѣсь съ байронизмомъ и выходитъ изъ-подъ его былой власти на полную свободу, на свободу самобытнаго творчества.

Личность Алеко нарисована безпристрастно: поэтъ не только не скрываетъ его свѣтлыхъ сторонъ, но даже изображаетъ ихъ съ сильнымъ сочувствіемъ. Недовольный цивилизованнымъ обществомъ, Алеко бросилъ его и ушелъ къ простымъ людямъ, близкимъ къ природѣ. Среди нихъ нашелъ онъ себѣ подругу по-сердцу и передъ ней высказываетъ благородное негодованіе на зло общества:

О чемъ жалѣть?

говоритъ онъ Земфирѣ про свою былую жизнь—

Когда-бъ ты знала,
Когда-бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,

Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей.

Земфиру и новую жизнь свою онъ ставитъ выше всего прежняго. Презрѣвъ оковы цивилизованнаго общества, онъ теперь воленъ, какъ цыганы,—

Онъ безъ заботъ и сожалѣнья
Ведетъ кочующія дни.

Онъ безпечно отдалъ себя на волю Бога, не смущается никакими тревогами, не признаетъ власти судьбы. Порой нежданно вспоминаются ему роскошь, забавы прежней жизни, манитъ дальняя звѣда славы; но онъ гонитъ отъ себя всю эту суету: когда Старикъ-цыганъ разсказалъ ему народное преданіе объ Овидіи, онъ замѣтилъ:

Пѣвецъ любви, пѣвецъ боговъ!
Скажи мнѣ, что такое слава?
Могильный гулъ, хвалебный гласъ,
Изъ рода въ роды звукъ бѣгущій,
Или подъ сѣнью дымной кущи
Цыгана дикаго разсказъ?

Пушкинъ настолько еще увлекается байронизмомъ, что готовъ сочувствовать и полному отреченію Алеко отъ цивилизаціи: Алеко высказываетъ въ поэмѣ (это мѣсто, правда, впослѣдствіи выброшенно авторомъ) такого рода мечты о будущей судьбѣ своего сына, родившагося отъ Земфиры:

Рости на волѣ безъ уроковъ,
Не знай стѣснительныхъ палатъ
И не мѣняй простыхъ пороковъ
На образованный развратъ.
Подъ сѣнью мирнаго забвенья
Пускай цыгана бѣдный внукъ
Не знаетъ нѣгъ и пресыщенья
И пышной суеты наукъ...
. . . .
О, Боже! если-бъ мать моя
Меня родила въ чащѣ лѣса
Или подъ юртой Остяка
Въ глухой разсѣлинѣ утеса!

Но, сочувствуя многому въ своемъ героѣ, Пушкинъ сомнѣвается, однако, въ его счаетьѣ среди первобытной жизни. Еще въ началѣ пребыванія у цыганъ Алеко посѣтило уныніе:

Уныло юноша глядѣлъ
На опустѣлую равнину,
И грусти тайную причину
Истолковать себѣ не смѣлъ.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ вольный житель міра,
И солнце весело надъ нимъ
Полуденной красою блещетъ;
Что-жь сердце юноши трепещетъ,
Какой заботой онъ томимъ?

Сомнѣніе поэта идетъ и дальше: пылкую страстность Алеко (черта, которую такъ высоко ставитъ Байронъ въ своихъ герояхъ) Пушкинъ заподозриваетъ въ связи съ темными стремленіями, съ дурными чувствами; Алеко оказывается человѣкомъ мстительнымъ и злобнымъ. Когда Старикъ-цыганъ разсказалъ ему, какъ покинула его жена, полюбивъ другого, онъ воскликнулъ:

Да какъ-же ты не поспѣшилъ
Тотчасъ во-слѣдъ неблагодарной,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не вонзилъ?..
Я ве таковъ!

говоритъ Алеко далѣе,

Нѣтъ, я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь и тутъ моя нога
Не пощадила-бы злодѣя:
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго-бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ-бы гулъ!

Мстительный и злобный, Алеко ревнивъ и недовѣрчивъ. Онъ не можетъ быть счастливъ съ Земфирой, потому что не довѣряетъ ея любви, сомнѣвается въ ея вѣрности, вспоминая прежнія измѣны, которыя испытывалъ и которыя самъ совершалъ. Земфира слышитъ иной разъ, какъ онъ во-снѣ хрипло стонетъ, яро скрежещетъ зубами, произнося чье-то „другое имя“; ему снится порой разрывъ и съ Земфирой.

Не вѣрь лукавымъ сновидѣньямъ!

искренно говоритъ ему она; а онъ отвѣчаетъ:

Ахъ, я не вѣрю ничему,—
Ни снамъ, ни сладкимъ увѣреньямъ,
Ни даже сердцу твоему!

Когда Земфира дѣйствительно разлюбила его, можетъ быть именно потому, что онъ страшилъ ее своей злобной недовѣрчивостью,—онъ мститъ кроваво и жестоко: убиваетъ и измѣнницу, и ея любовника.—Справедливость требуетъ сказать, однако, что эта месть стоила ему самому большихъ страданій: когда онъ увидѣлъ, что погребли молодую чету,

Онъ молча, медленно склонился,
И съ камня на траву свалился.

Онъ оказался, такимъ образомъ, нравственно выше, чѣмъ изобразилъ себя самъ въ разговорѣ со Старикомъ: онъ не сопровождалъ гибель враговъ „свирѣпымъ смѣхомъ", и она не была ему „смѣшна" и „сладка". Но, выставляя въ своемъ героѣ такое противорѣчіе слова и дѣла, Пушкинъ этимъ самымъ изобличаетъ Алеко въ томъ, что онъ рисовался въ бесѣдѣ съ цыганомъ своей жестокостью и мстительностью. — Байроническій характеръ развѣнчанъ русскимъ поэтомъ.

Прямая противоположность Алеко—Старикъ-цыганъ, человѣкъ спокойный, просто и благодушно относящійся къ жизни.

О чемъ, безумецъ молодой,
О чемъ вздыхаешь ты всечасно?

утѣшаетъ онъ Алеко—

Здѣсь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь, тоска тебя погубитъ.

Устами Старика поэтъ осуждаетъ эгоизмъ и жестокость своего героя:

Оставь насъ гордый человѣкъ!

говоритъ цыганъ Алеко послѣ совершенія послѣднимъ кровавой расправы.

Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;

Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ,—оставь же насъ,
Прости, да будетъ миръ съ тобою!

Старикъ—представитель въ поэмѣ людей простыхъ и близкихъ къ природѣ. Онъ добръ и кротокъ, незлобивъ, великодушенъ. Онъ отрекается отъ эгоиста Алеко, но въ сердцѣ его нѣтъ злобы противъ убійцы дочери,—онъ говоритъ ему:

Прости, да будетъ миръ съ тобою!

Пушкинъ явно болѣе сочувствуетъ Старику-цыгану, чѣмъ Алеко. Въ этомъ сказалась русская природа поэта, выразились, впервые довольно опредѣленно, его стремленія къ народнымъ началамъ.—Но народныя начала онъ еще не совсѣмъ ясно понимаетъ. Онъ заставилъ, напримѣръ, Старика оправдывать измѣну Земфиры, утѣшать Алеко такимъ сравненіемъ:

Взгляни,—подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна,
На всю природу мимоходомъ
Равно сіянье льетъ она;
Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озаритъ,
И вотъ ужь перешла въ другое,
И то не долго посѣтитъ.
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,
Примолвя: тамъ остановись!
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!

Въ другомъ мѣстѣ Старикъ говоритъ по тому-же поводу:

Вольнѣе птицы младость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всѣмъ дается радость:
Что было, то не будетъ вновь!

Незлобивость сына народа, любовь его къ свободѣ Пушкинъ смѣшалъ съ готовностью оправдывать измѣнчивость чувства по прихоти сердца. Народная мысль, напротивъ, полагаетъ, что любовь должна быть вѣчною.—Но, сознательно заставляя Старика высказывать неподходящія къ его характеру идеи, поэтъ безсознательно рисуетъ его вѣрно:

Старикъ до смерти своей не разлюбилъ и не позабылъ измѣнившую ему жену.

Путаясь въ своей первой попыткѣ изобразить человѣка изъ народа въ лицѣ Старика-цыгана, Пушкинъ еще болѣе путается въ очеркѣ характера Земфиры, придавая ему, безсознательно, непримиримую двойственность. Земфира—дочь дикаго племени, и потому не знаетъ притворства, лжи, любитъ свободу; ее не прельщаетъ роскошь цивилизованной жизни, хотя она и удивляется простодушно огромнымъ палатамъ городовъ, пирамъ, богатымъ женскимъ уборамъ. Живя согласно съ природой, она не понимаетъ тревожной страсти, мрачной ревности Алеко, и потому чуждается его, боится его сонныхъ грезъ; она жалуется отцу:

О, мой отецъ! Алеко страшенъ,—
Послушай, сквозь тяжелый сонъ
И стонетъ и рыдаетъ онъ.

Все это совершенно вѣрно подмѣчено Пушкинымъ въ характерѣ женщины первобытнаго племени; но не эти черты счелъ онъ главными въ образѣ Земфиры: основой ея характера призналъ онъ тревожную страсть (вродѣ страсти Заремы „Бахчисарайскаго фонтана“). Ея любовь къ свободѣ оказывается своеволіемъ страстной натуры.

Его любовь постыла мнѣ.
Мнѣ скучно, сердце воли проситъ...

говоритъ она отцу. И не смотря на то, что у нея есть ребенокъ отъ Алеко, она огненной, тревожной любовью полюбила другаго. Въ ея пѣснѣ про мужа новая любовь ея выразилась въ неразрывной связи съ страстной ненавистью и злобой къ предмету прежней любви, съ злобой, доходящей до звѣрства:

Старый мужъ, грозный мужъ,
Рѣжь меня, жги меня,
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя,
Я другаго люблю,
Умираю любя!

Страсть приводитъ Земфиру къ обману, къ хитрости и *притворству;* она таится до той самой минуты, когда больше

скрываться уже нельзя. При видѣ убитаго друга въ ней вспыхиваетъ энергія, страстная и злобная:

Нѣтъ, полно, не боюсь тебя!
Твои угрозы презираю,
Твое убійство проклинаю!

говоритъ она Алеко, и умираетъ подъ его ножемъ со словами любви и ненависти: „умру любя“!

Когда-то подобный характеръ увлекалъ Пушкина; но теперь онъ его не удовлетворяетъ по-прежнему. Объ этомъ положительно свидѣтельствуютъ стихи „Эпилога“ поэмы:

Но счастья нѣтъ, и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны!
И ваши сѣни кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ!

Поэту безотрадно грустно, какъ видно изъ этихъ словъ, грустно, потому что прежніе идеалы разрушены, а новые еще не найдены.

Онъ развѣнчалъ Алеко, безпристрастно, но и безпощадно, и этимъ покончилъ съ байронизмомъ, переросъ Байрона, если еще не въ искусствѣ творчества, то во всякомъ случаѣ въ сознаніи. Создавъ личность Старика-цыгана, онъ повернулъ на новую дорогу, дорогу народности. Но она далась ему не сразу. На нее влекли его, кромѣ недовольства страстными и эгоистическими характерами, инстинкты его русской природы, воспоминанія о родной деревнѣ, быть можетъ воскрешаемыя собираніемъ народныхъ пѣсенъ, чѣмъ занимался онъ, какъ мы знаемъ, и въ Кишиневѣ и въ Одессѣ; но у него не было еще матеріаловъ для зарождавшагося въ душѣ новаго направленія творчества, не было передъ его глазами жизни, изъ которой онъ могъ-бы почерпать народные типы. Онъ по необходимости (не сознавая, конечно, этого самъ) взялъ первые образы новаго направленія изъ быта цыганскаго, отчего и пришлось ему невольно спутаться, особенно въ личности Земфиры. Чтобы вступить на дорогу народности, ему надо было сблизиться съ жизнью русскаго народа. Этому помогъ случай (если

вообще въ исторіи бываютъ случайности)—ссылка въ село Михайловское; очень тяжелая для поэта, она однако-жь подоспѣла какъ разъ кстати,—безъ нея творчество Пушкина должно было бы остановиться: онъ дошелъ въ своемъ душевномъ развитіи до того момента, когда ему оказалась нужной русская деревня съ ея безъискусственнымъ народнымъ бытомъ.

Поэма „Цыганы“ затронула мимоходомъ важный психологическій вопросъ—о ревности. Поэтъ видимо протестуетъ противъ этого чувства, и не трудно замѣтить, что протестъ его основанъ на воззрѣніи на любовь какъ на непонятную прихоть сердца: онъ не объясняетъ въ поэмѣ—были-ли у Земфиры причины разлюбить Алеко, или почему ея мать, Маріула, покинула мужа.

Вольнѣе птицы младость,
Кто въ силахъ удержать любовь?
. . . .
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!

Такъ говоритъ поэтъ устами Старика-цыгана.—За эту идею ухватился Бѣлинскій и написалъ, разбирая поэму, свое знаменитое горячее разсужденіе о нелѣпости ревности. Со свойственной великому критику страстною послѣдовательностью мысли онъ до конца провелъ оправданіе измѣны, признавая любовь чувствомъ совершенно невольнымъ, непостижимой „прихотью сердца“. Бѣлинскій чутко замѣтилъ, при этомъ, что самъ Пушкинъ не такъ послѣдователенъ въ данномъ случаѣ, какъ онъ: поэтъ, допуская невольную измѣнчивость сердца, видитъ въ ней, однако, дѣйствіе какой-то „злой судьбы“, „роковой страсти“, которымъ не можетъ, конечно, сочувствовать.—Мы, отдаленные теперь временемъ и отъ поэта, и отъ его критика, можемъ сказать, что въ непослѣдовательности Пушкина было болѣе правды, чѣмъ въ послѣдовательности Бѣлинскаго. Ревность безнравственна и нелѣпа, но не потому, что любовь есть прихоть сердца, а потому, что она или оскорбительна, какъ выраженіе недовѣрія, или напрасна, если съ одной стороны любовь прекратилась. Обѣ эти мысли собственно высказаны и у Бѣлинскаго, но онѣ не составляютъ главной идеи его разсужденія.—Пушкинъ смутно чувствовалъ въ „Цыганахъ“

неправду пониманія любви какъ своенравнаго и временнаго увлеченія; это выразилось въ его попыткѣ объяснить измѣну Земфиры идеей, что мужчина любитъ серьезно,

горестно и трудно,
А сердце женское шутя.

Объясненіе это, замѣтимъ мимоходомъ, противорѣчитъ характеру Земфиры и отзывается чѣмъ-то субъективнымъ, свидѣтельствуя о личномъ разочарованіи Пушкина въ какомъ-то женскомъ сердцѣ; быть можетъ, объясненіе такому факту мы найдемъ въ позднѣйшихъ отношеніяхъ его, завязавшихся въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ и оканчивалъ онъ сочиненіе „Цыганъ“.

Итакъ, сомнѣніе составляетъ отличительную черту внутренней жизни Пушкина въ Одессѣ; оно легло въ основу нѣсколькихъ лирическихъ стихотвореній, выразилось въ его письмахъ, въ начатомъ очеркѣ образа Онѣгина, въ основнои идеѣ поэмы „Цыганы“, въ разрушеніи поэтомъ байроническаго характера.—Можетъ быть скептицизмъ зародился въ душѣ Пушкина подъ вліяніемъ чтенія Гете, подъ дѣйствіемъ увлеченія образомъ Мефистофеля; поэтъ самъ говоритъ (въ письмѣ объ атеистѣ англичанинѣ), что онъ читалъ въ Одессѣ Гете, предпочитая его Библіи, а въ своей попыткѣ объясненія стихотворенія „Демонъ“ прямо ссылается на Мефистофеля: „недаромъ (пишетъ онъ) великій Гете называлъ вѣчнаго врага человѣчества духомъ отрицающимъ“. Развитію скептицизма могло способствовать и то обстоятельство, что русская душа Пушкина инстинктивно возмущалась противъ господства надъ нею байронизма.—Но все это лишь поводы къ появленію сомнѣнія въ душѣ поэта, причины-же его лежатъ гораздо глубже.

Какъ всѣ мы, развившіеся подъ вліяніемъ западноевропейской цивилизаціи, Пушкинъ не былъ человѣкомъ непосредственнымъ, и потому не былъ чуждъ раздвоенія. Несмотря на поэтическій строй его души, онъ былъ причастенъ рефлексіи и переживалъ различные моменты развитія, когда то та, то другая душевная сила получала перевѣсъ надъ прочими силами. Когда онъ писалъ „Руслана и Людмилу“, въ холодныхъ и красивыхъ звукахъ этой поэмы, въ ея прекрасныхъ и фантастическихъ картинахъ слышалось

преобладающее развитіе воображенія. Могучія впечатлѣнія юга, зародившаяся тамъ въ душѣ поэта любовь согрѣли его сердце и дали преобладающее значеніе въ его жизни и творчествѣ чувству. Такъ, самый характерный признакъ поэмы „Кавказскій плѣнникъ" есть горячее сердечное одушевленіе; теплота молодаго чувства рѣзко отличаетъ эту поэму отъ „Руслана и Людмилы". Преимущественно сердцемъ жилъ Пушкинъ до самой Одессы. Здѣсь-же, въ послѣдній годъ его пребыванія на югѣ, наступилъ для него (по законамъ общаго хода развитія духа, затронутаго рефлексіей) тотъ періодъ жизни, когда силы ума рвутся къ господству надъ другими силами, все подвергая сомнѣнію, разрушая свѣтлые образы дѣтской фантазіи и горячіе порывы юношескаго чувства. Сомнѣвающаяся мысль его заподозрила всякое положеніе и всякое вѣрованіе. Натура гармоническая по-преимуществу и художественная, Пушкинъ не слишкомъ, однако, поддался скептицизму, и этотъ послѣдній не былъ въ немъ особенно глубокъ; выѣзжая въ 1824 году изъ Одессы, поэтъ уже былъ близокъ къ освобожденію отъ мучившихъ его сомнѣній.

Высылаемый на сѣверъ, Пушкинъ простился съ южнымъ моремъ, которое успѣлъ горячо полюбить, чуднымъ стихотвореніемъ „Къ морю". Разлуку съ нимъ Пушкинъ уподобляетъ разлукѣ съ любимымъ существомъ:

Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его въ прощальный часъ,
Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный
Услышалъ я въ послѣдній разъ.

Прощаніе съ югомъ есть вмѣстѣ и прощаніе поэта съ прежними идеалами: въ послѣдній разъ воспѣваетъ онъ Байрона и Наполеона, обращаясь къ морю:

Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою-бы душу поразилъ.

———

Одна скала, гробница славы...
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы,
Тамъ угасалъ Наполеонъ!

———

Тамъ онъ почилъ среди мученій.
И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался геній,
Другой властитель нашихъ думъ.

Исчезъ оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ!

Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ не укротимъ.

Міръ опустѣлъ...

Въ послѣдній разъ въ душѣ Пушкина на мигъ воскресло беззавѣтное увлеченіе Байрономъ и высказался мрачный, разочарованный взглядъ на міръ.

Стихотвореніе оканчивается вдохновеннымъ порывомъ любви къ тревожной и гордой стихіи:

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ!

Поэтъ думалъ, что на сѣверѣ будетъ жить воспоминаніями грандіозныхъ впечатлѣній юга; онъ ошибался: въ Михайловскомъ эти впечатлѣнія не забылись... но старые идеалы начали быстро разрушаться въ его сознаніи,—и въ 3-й главѣ „Онѣгина“ онъ уже назвалъ Байрона, недавняго „властителя думъ“ своихъ, поэтомъ „безнадежнаго эгоизма“. На родномъ сѣверѣ Пушкина ждали новыя, не менѣе могущественныя, но совершенно другаго рода впечатлѣнія ждала новая, народная, деревенская, родная жизнь...

ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ

ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПУШКИНА.

ГЛАВА III.

Михайловское. — Народная жизнь. — Шекспиръ.

(1824 — 1826 гг.).

1.

„Усталымъ пришельцемъ", недовольнымъ собою и жизнью, пріѣхалъ Пушкинъ въ началѣ августа 1824 года въ „смиренный домикъ" и рощи роднаго Михайловскаго.

Я еще
Былъ молодъ, но уже судьба
Меня борьбой неровной истомила;
Я былъ ожесточенъ!

вспоминалъ онъ объ этомъ времени впослѣдствіи, въ одномъ стихотвореніи 1835 года [1]):

Въ уныньи часто
Я помышлялъ о юности моей,
Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ,
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной,—
И горькія кипѣли въ сердце чувства.

Скептицизмъ и раздумье одесской эпохи поэтъ примѣнилъ теперь и къ своей личной жизни: настала пора серьезнаго размышленія о бурно проведенной юности, объ ея увлеченіяхъ и ошибкахъ. Скептически отнесся онъ и къ товарищамъ былаго разгула.

---

[1]) *„Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли"...* Соч. т. III, стр. 426.

Горькое чувство Пушкина усилилось въ первое время въ Михайловскомъ вслѣдствіе новыхъ тяжелыхъ впечатлѣній— разлада съ семьей, съ отцемъ и матерью. Дѣло вышло изъ-за наблюденія за поведеніемъ поэта. Это наблюденіе поручено было правительствомъ первоначально уѣздному предводителю дворянства Пещурову и настоятелю Святогорскаго монастыря, находящагося верстахъ въ трехъ отъ Михайловскаго, человѣку простому и доброму (по словамъ И. И. Пущина). Но отецъ Пушкина имѣлъ безтактность оффиціально принять на себя обязанность слѣдить за сыномъ. „Пещуровъ (писалъ поэтъ Жуковскому) осмѣлился предложить отцу моему распечатывать мою переписку — короче быть моимъ шпіономъ". Обстоятельства осложнились опасеніями родителей, что заблудшій сынъ ихъ можетъ оказать дурное вліяніе на брата и сестру. „Отецъ сталъ укорять брата (пишетъ Пушкинъ), что я преподаю ему и сестрѣ безбожіе" [1]). Слѣдствіемъ всего этого явилось объясненіе поэта съ отцомъ, кончившееся вспышкой съ обѣихъ сторонъ. Сергѣй Львовичь выбѣжалъ изъ комнаты и кричалъ на весь домъ, сперва—что сынъ его билъ, потомъ—что хотѣлъ бить. Въ письмѣ къ Жуковскому Пушкинъ проситъ помочь ему въ бѣдѣ:

„Я сосланъ (говоритъ онъ) за одну строчку глупаго письма. Если присоединится обвиненіе въ томъ, что я поднялъ руку на отца, посуди, какъ тамъ обрадуются. Шутка эта пахнетъ каторгой" [2]).

Жуковскій уладилъ дѣло и примирилъ поссорившихся; онъ писалъ по этому поводу Тургеневу:

„Слухи, дошедшіе до васъ о Сверчкѣ [3]), пустые: онъ въ деревнѣ по-прежнему. Но едва не надѣлалъ глупостей, которыя, кажется, имѣть слѣдствій не будутъ. Я получилъ отъ него письмо, которое было меня очень взбудоражило; но братъ его пріѣздомъ своимъ меня успокоилъ. Я отвѣчалъ ему и жду отъ него увѣдомленія. Отецъ пріѣхалъ въ Петербургъ вчера. Я еще съ нимъ не видался; но и онъ съ

---

[1]) Пушкинъ въ Алекс. эпоху, г. Анненкова, стр. 272—273.

[2]) Тамъ-же, стр. 273—274.

[3]) А. С. Пушкинъ по докум. остаф. архива I, 68.—Сверчокъ—прозвище Пушкина въ „Арзамасѣ".

своей стороны, кажется, дѣлаетъ ребяческія глупости; хочу ему прочитать проповѣдь, на которую я приглашу его къ себѣ. Бѣдъ никакихъ не случилось; но могли случиться — разскажу при свиданіи".

Сергѣй Львовичъ отступился отъ своихъ словъ и сказалъ: „Экой дуракъ! Въ чемъ оправдывается! еще-бы онъ прибилъ меня!" Надежда-же Осиповна для объясненія вспыльчивости супруга сочинила каламбуръ: „да онъ, Сергѣй Львовичь, убитъ его словами!" Вскорѣ затѣмъ Пушкинъ-отецъ послалъ письменный отказъ отъ возложенной на него обязанности наблюденія за сыномъ.—Какъ это грубое столкновеніе сильно подѣйствовало на поэта, видно изъ письма, отправленнаго имъ, конечно, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ссоры, къ псковскому губернатору Адеокасу:

„Рѣшаюсь для его (т. е. отца) спокойствія и своего собственнаго (писалъ поэтъ) просить Его Императорское Величество да своизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей" [1]).

Но тяжелы были только первыя впечатлѣнія Пушкина въ Михайловскомъ; за ними явились иныя. Вмѣсто дружбы, „заплатившей" ему „обидой за жаръ души", у него завязались новыя, истинно-дружескія связи съ владѣтельницами сосѣдняго села Тригорскаго, онъ сблизился съ своей старушкой няней, съ простой, народной русской жизнью, и ему удалось свидѣться съ прежними друзьями, товарищами дѣтства. Всѣ эти отношенія оказались цѣлебными для его измученной души, успокоили ее.

Тригорское принадлежало Прасковьѣ Александровнѣ Осиповой и ея семейству. Отъ перваго брака, съ Вульфомъ, у Прасковьи Александровны были дѣти: Алексѣй Николаевичъ (въ это время студентъ дерптскаго университета), Анна и Евпраксія Николаевны; отъ второго брака, съ Осиповымъ, дочери: Екатерина и Марія Ивановны. Съ нею жила еще падчерица—Александра Ивановна Осипова. Среди этого мирнаго общества добрыхъ и простыхъ русскихъ людей Пушкинъ проводилъ цѣлые дни и недѣли. Онъ пріѣзжалъ къ нимъ изъ своего Михайловскаго то на прекрасномъ аргамакѣ, то на деревенской лошаденкѣ; зачастую

---

[1]) *Рус. Стар.* 1879 г., окт., стр. 295.

приходилъ и пѣшкомъ, иной разъ неожиданно являясь въ комнату черезъ окно вмѣсто двери. Онъ всегда былъ здѣсь желаннымъ гостемъ и его всегда ожидали молодыя сосѣдки. Населеніе Тригорскаго иногда увеличивалось пріѣзжавшими погостить племянницами Прасковьи Александровны, изъ которыхъ одна особенно заинтересовала поэта, это — Анна Петровна Кернъ, то самая, которая, своей красотой произвела на него сильное впечатлѣніе въ Петербургѣ, незадолго передъ выѣздомъ его изъ столицы.

Анна и Евпраксія Николаевны, равно какъ и мать ихъ, были друзьями Пушкина. Прасковьѣ Александровнѣ Осиповой онъ посвятилъ свои „Подражанія Корану"; ей-же написалъ онъ стихотвореніе 1825 г.

Быть можетъ, ужь не долго мнѣ
Въ изгнаньи мирномъ оставаться,
Вздыхать о мирной старинѣ,
И сельской Музѣ въ тишинѣ
Душой безпечной предаваться.
Но и вдали, въ краю чужомъ,
Я буду мыслію всегдашней
Бродить Тригорскаго кругомъ,
Въ лугахъ, у рѣчки, надъ холмомъ,
Въ саду подъ сѣнью липъ домашней.
Когда померкнетъ ясный день,
Одна изъ глубины могильной
Такъ иногда въ родную сѣнь
Летитъ тоскующая тѣнь
На милыхъ бросить взоръ умильный.

Тригорское было дѣйствительно для Пушкина „родною сѣнью", и нельзя не признать искренними слова его въ письмѣ къ Прасковьѣ Александровнѣ отъ 8 августа 1825 года: croyez qu'il n'y a de vrai et de bon sur la terre que l'amitié, et la libertè c'est vous qui m'avez fait aprécier le charme de la première" [1]). Прасковья Александровна была женщина умная и добрая, съ однимъ только, говорятъ, недостаткомъ — нѣсколько излишней самонадѣянностью.

Въ письмѣ къ одному лицу изъ Михайловскаго Пушкинъ писалъ:

---

[1]) Ст. М. И. Семевскаго „Прогулка въ Тригорское". Спб. Вѣдомости 1866 года, №№ 139, 146, 157, 163 и 168. См. № 146.

„Единственное развлеченіе мое составляетъ добрая старая сосѣдка, которую я часто вижу, слушая ея патріархальные разговоры, въ то время, какъ ея дочки... разыгрываютъ мнѣ Россини... Лучшаго положенія для окончанія моего романа врядъ-ли можно и желать" [1]).

Такимъ образомъ поэтъ самъ указываетъ, что семейство Осиповыхъ и Вульфъ помогло ему изобразить въ „Онѣгинѣ" семью Лариныхъ. Г. Анненковъ справедливо догадывается, что Татьяна и Ольга списаны (конечно, не какъ копіи) съ Анны Николаевны и Евпраксіи Николаевны. Только должно замѣтить, что основныя черты характера Татьяны взялъ Пушкинъ съ другаго лица, заимствовалъ изъ души любимаго человѣка, про котораго сказалъ впослѣдствіи въ „Онѣгинѣ":

А ты, съ которой образованъ
Татьяны милой идеалъ...
О, много, много рокъ отъялъ!

Воздушная Евпраксія, какъ называли младшую Вульфъ Пушкинъ и другіе, была живая, веселая, бойкая и симпатичная, но нѣсколько легкая натура. Поэтъ казался влюбленнымъ въ нее, но это не было чувство серьезной любви, а скорѣе — дружеская привязанность. Онъ посвятилъ ей стихотвореніе „Въ альбомъ" (1826 г.):

Вотъ, Зина, вамъ совѣтъ—играйте,
Изъ розъ веселыхъ заплетайте
Себѣ торжественный вѣнецъ—
И впредь у насъ не разрывайте
Ни мадригаловъ, ни сердецъ.

Евпраксія Николаевна напоминаетъ собою Ольгу Ларину, какъ она обрисована въ романѣ:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда какъ утро весела,
Какъ жизнь поэта простодушна,
Какъ поцѣлуй любви мила...
(гл. II, ст. XXIII).

Старшая сестра ея была гораздо серьезнѣе.

Еще одному лицу изъ семейства Осиповыхъ Пушкинъ посвятилъ стихотвореніе. Это—Александра Ивановна, пад-

---

[1]) Пушкинъ въ александровскую эпоху, стр. 270.

черица Прасковьи Александровны. Стихотвореніе озаглавилъ поэтъ—„Признаніе“ (1824 г.).

Я васъ люблю, хоть я бѣшусь,
Хоть это трудъ и стыдъ напрасный...
И въ этой глупости несчастной
У вашихъ ногъ я признаюсь!
Мнѣ не къ лицу и не по лѣтамъ...
Пора, пора мнѣ быть умнѣй!
Но узнаю по всѣмъ примѣтамъ
Болѣзнь любви въ душѣ моей:
Безъ васъ мнѣ скучно, я зѣваю;
При васъ мнѣ грустно, я терплю;
И мочи нѣтъ, сказать желаю:
Мой ангелъ, какъ я васъ люблю!

Спокойствіе и добродушная, нѣжная шутливость тона показываетъ, что стихотвореніе выражаетъ не страсть любви, а поэтическое дружеское расположеніе:

Я въ умиленьѣ, молча, нѣжно,
Любуюсь вами, какъ дитя!..

Въ томъ же тонѣ и окончаніе:

Быть можетъ, за грѣхи мои,
Мой ангелъ, я любви не стою!
Но притворитесь: этотъ взглядъ
Все можетъ выразить такъ чудно!
Ахъ, обмануть меня не трудно:
Я самъ обманываться радъ.

Евпраксія Николаевна Вульфъ вышла впослѣдствіи замужъ за барона Вревскаго; Анна Николаевна осталась въ дѣвушкахъ до смерти своей (въ 60-хъ годахъ); она, говорятъ, была безпредѣльно предана поэту. Пушкинъ былъ съ ней въ дружескои перепискѣ. Вотъ отрывокъ изъ одного письма его къ ней (отъ 25 іюля 1825 года),—въ немъ сквозь шутливый и легкомысленный тонъ слышится искреннее дружеское чувство. Поэтъ пишетъ:

„Доѣхали-ли вы до Риги? Одержали-ли побѣды? скоро-ли выйдете замужъ? нашли-ли улановъ? Увѣдомьте меня обо всемъ этомъ въ величайшей подробности, ибо вы знаете, что, несмотря на мои злыя шутки, я истинно интересуюсь тѣмъ, что до васъ касается... Знаете-ли вы, за что я хотѣлъ васъ побранить? нѣтъ? Дѣвица непостоянная, безчувственная, безъ... и т. д., и т. д.“ [1]).

[1]) Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 327, 328.

Въ этомъ же письмѣ Пушкинъ впервые сознаетъ и первой открываетъ Аннѣ Николаевнѣ, что истинной любви къ Кернъ (какъ ему было показалось) у него въ душѣ нѣтъ. О дружбѣ поэта съ А. Н. Вульфъ свидѣтельствуетъ и слѣдующее обстоятельство: въ одномъ письмѣ ея къ Кернъ онъ приписалъ сбоку стихи изъ Байрона; а въ одномъ его письмѣ, тоже къ Кернъ, мы встрѣчаемъ приписку Анны Николаевны. Мы видимъ такимъ образомъ, что она была повѣренной тайнъ поэта.—Страненъ только небрежно-шутливый тонъ въ его отношеніяхъ къ ней; кромѣ приведеннаго письма, тонъ этотъ слышится еще въ двухъ коротенькихъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ ей. Въ одномъ, „Къ имянинницѣ“ (3 февр. 1825 г.), Пушкинъ говоритъ, что не понимаетъ—почему ее „окрестили благодатью“ (Анна):

Нѣтъ, нѣтъ, по мнѣнью моему,
И ваша рѣчь, и взоръ унылый,
И ножка (смѣю вамъ сказать)—
Все это чрезвычайно мило,
Но пагуба, не благодать.

Еще страннѣе другое стихотвореніе:

Почтенія, любви и нѣжной дружбы ради,
Хвалю тебя, мой другъ, и спереди, и сзади.
(17 апр. 1825 г.).

Быть можетъ, не чувствуя самъ любви къ Аннѣ Николаевнѣ, поэтъ смущался ея чувствомъ къ нему, и потому впадалъ въ преувеличенно-небрежный и простой, даже грубый тонъ въ своихъ, въ сущности несомнѣнно дружескихъ, отношеніяхъ къ ней. Есть впрочемъ стихотвореніе, одно изъ лучшихъ у Пушкина, должно быть относящееся къ Аннѣ-же Николаевнѣ, изъ котораго видно, что бывали и такія минуты, когда поэтъ былъ близокъ даже къ мечтѣ о тихомъ семейномъ счастьѣ съ нею. Это стихотвореніе—„Зимняя дорога“ (1826 г.; оно написано, какъ говорятъ [1]), по поводу одной изъ поѣздокъ въ Псковъ). Поэту „скучно, грустно“ подъ вліяніемъ однообразія снѣжныхъ равнинъ, заунывныхъ пѣсенъ ямщика... и въ душѣ невольно зарождается успокоительно-отрадная мысль:

---

[1]) *Прим.* г. Ефремова, Соч. Пушкина, т. II, стр. 414.

Завтра, Нина...
Завтра, къ милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь.
Звучно стрѣлка часовая
Мѣрный кругъ свой совершитъ,
И докучныхъ удаляя,
Полночь насъ не разлучитъ.

Въ Тригорскомъ Пушкинъ дружески сблизился еще съ Алексѣемъ Николаевичемъ Вульфомъ и съ поэтомъ Языковымъ, дерптскими студентами, товарищами по университету.—Вульфъ былъ натура спокойная, сдержанная, „филистеръ", по выраженію Пушкина; Языковъ—совершенная ему противоположность; поэтъ называлъ его „вдохновеннымъ". Съ Вульфомъ Пушкинъ ѣздилъ верхомъ, упражнялся въ стрѣльбѣ; между ними бывали и долгіе серьезные разговоры.

„Вчера Алексѣй и я говорили битыхъ четыре часа (пишетъ Пушкинъ Аннѣ Николаевнѣ 21 іюля 1825 г.). У насъ еще никогда не было такого продолжительнаго разговора. Угадайте, что насъ такъ сблизило? Скука? Единство чувства? Ничего этого не знаю"... [1]).

Поэтъ Языковъ воспѣвалъ въ своихъ стихотвореніяхъ вино и разгулъ, но былъ, какъ извѣстно, человѣкъ скромный и застѣнчивый и вовсе не кутила. Застѣнчивость, кажется, и помѣшала ему пріѣхать лѣтомъ 1825 года въ Тригорское, гдѣ его ожидали, и онъ явился сюда только на слѣдующее лѣто. Они съ Пушкинымъ подружились, и съ восторгомъ вспоминаетъ Языковъ въ одномъ письмѣ о своемъ пребываніи въ Тригорскомъ: „я вопрошалъ совѣсть мою (говоритъ онъ), внималъ отвѣтамъ ея, и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буквами на доскѣ памяти моего сердца, нежели лѣто 1826 года!" [2]). Языковъ посвятилъ Тригорскому и Михайловскому нѣсколько стихотвореній. Въ одномъ онъ, разсказывая, какъ они съ Пушкинымъ и Вульфомъ пили жженку, упоминаетъ и о чемъ при этомъ бесѣдовали:

---

[1]) „Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 328.

[2]) Ст. М. И. Семевскаго, „Спб. Вѣдомости" 1866 г., № 16.

Зовемъ свободу въ нашу Русь—
И я на вѣчѣ, я на небѣ!
И славой прадѣдовъ горжусь!

Значитъ, друзья, вели серьезные, дѣльные разговоры. Это напоминаетъ бесѣды Онѣгина съ Ленскимъ:

Межь нами все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду
Все подвергалось ихъ суду.

Должно быть кое-что изъ характера Языкова внесъ Пушкинъ въ образъ своего безвременно погибшаго юноши-романтика и мечтателя, Ленскаго.

Вульфу и Языкову Пушкинъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній, въ которыхъ говоритъ о винѣ и разгулѣ.

Здравствуй, Вульфъ, пріятель мой!
Пріѣзжай сюда зимой,

(зоветъ онъ друга въ письмѣ 1824 года)

Да Языкова поэта
Затащи ко мнѣ съ собой—
Погулять верхомъ порой,
Пострѣлять изъ пистолета!
Лайонъ, мой курчавый братъ
(Не Михайловскій прикащикъ)
Привезетъ намъ, право, кладъ!...
Что?... Бутылокъ полный ящикъ!
Запируемъ ужь, молчи!
Чудо—жизнь анахорета!
Въ Троегорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до свѣта;
Дни любви посвящены,
Ночью-жь царствуютъ стаканы;
Мы-же—то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

Въ другомъ подобномъ посланіи („Къ Языкову", 1826 года) мы читаемъ такіе стихи:

Нѣтъ, не Кастальскою водой
Ты воспоилъ свою Камену;
Пегасъ иную Ипокрену
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,

Но пѣнится хмѣльною брагой;
Она разымчива, пьяна,
Какъ сей напитокъ благородный,
Слiянье рому и вина
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной
Открытый въ наши времена.

Но изображенный въ этихъ стихахъ разгулъ вовсе не похожъ на мрачные кутежи петербургской жизни Пушкина, или на разгулъ кишиневской эпохи. Поэтъ, несомнѣнно, преувеличиваетъ дѣло: упоминаемый въ приведенныхъ стихотворенiяхъ „благородный напитокъ“, изобрѣтенный въ Тригорскомъ, приготовляла друзьямъ Евпраксiя Николаевна, что прямо указываетъ на воздержность ихъ веселья, да и Языковъ совсѣмъ не былъ, какъ мы знаемъ, кутилой. Стихотворенiе 1825 года „Вакхическая пѣсня“ показываетъ намъ, что друзья вовсе не пропивали ума и здоровья:

Что смолкнулъ веселія гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы
И юныя жены, любившія насъ!
Полнѣе стаканъ наливайте!
На звонкое дно
Въ густое вино
Завѣтныя кольца бросайте!
Поднимемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ Музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума:
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

Пиры друзей Михайловскаго и Тригорскаго были задушевными бесѣдами за стаканомъ вина, въ которыхъ ключемъ кипѣло молодое чувство, блестѣлъ живой умъ.

Въ Михайловскомъ Пушкина посѣтили и трое изъ его лицейскихъ товарищей: Пущинъ, Дельвигъ и князь Горчаковъ. Въ стихотворенiи „19 октября 1825 г.“ поэтъ говоритъ:

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада
Мнѣ сладкая готовилась отрада:

Троихъ изъ васъ, друзей моей души,
Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный,
О, Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ,
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его Лицея превратилъ!

Пущинъ пробылъ въ Михайловскомъ менѣе сутокъ: онъ пріѣхалъ въ 7 часовъ утра и уѣхалъ въ 3 часа ночи. При разставаньи друзья пили шампанское, провозглашая много тостовъ (въ томъ числѣ и тостъ „за нее"); но втеченіи дня они натолковались до-сыта, и рѣчи ихъ были добрыя и дѣльныя рѣчи. Пущинъ привезъ съ собою рукопись „Горя отъ ума"; онъ слушалъ (вмѣстѣ, должно быть, съ старушкой Ариной Родіоновной), какъ поэтъ читалъ безсмертную комедію, прерывая чтеніе своими замѣчаніями и возраженіями. Друзья вспоминали прошлое, высказывали свои задушевныя чувства и мечты, говорили „о бурныхъ дняхъ Кавказа, о Шиллерѣ, о славѣ, о любви". Встрѣча эта напоминаетъ намъ теперь встрѣчу Лаврецкаго и Михалевича въ „Дворянскомъ гнѣздѣ" Тургенева: тѣ-же горячія, дружескія бесѣды, тѣ-же споры заполночь о возвышенныхъ предметахъ.—Пущину хотѣлось подмѣтить—какая перемѣна произошла въ поэтѣ за время разлуки, и онъ нашелъ, что Пушкинъ сталъ простѣе, серьезнѣе, разсудительнѣе. Интересно, однако, что Пущинъ отклонилъ начатый-было поэтомъ разговоръ о политическихъ кружкахъ Петербурга.—Посѣщеніе друга оставило въ Пушкинѣ отрадное впечатлѣніе, поэтически отразившееся съ народнымъ духомъ проникнутомъ стихотвореніи:

Стрекотунья бѣлобока,
Подъ калиткою моей
Скачетъ пестрая сорока
И пророчитъ мнѣ гостей.
Колокольчикъ небывалый
У меня звенитъ въ ушахъ...
Лучъ зари сіяетъ алый,
Серебрится снѣжный прахъ.

Лѣтомъ 1825 года къ Пушкину пріѣзжалъ Дельвигъ. Къ сожалѣнію, мы мало знаемъ—какъ друзья проводили время; но несомнѣнно, что Пушкинъ былъ очень обрадованъ посѣщеніемъ товарища-поэта; онъ писалъ въ Петер-

бургъ брату: „какъ я былъ радъ Баронову пріѣзду. Онъ очень милъ! Наши въ него влюбились, а онъ равнодушенъ, какъ колода, любитъ лежать на постелѣ...“ [1]). Свиданіе съ другомъ пробудило въ Пушкинѣ воспоминаніе о первыхъ поэтическихъ вдохновеніяхъ дѣтскихъ лѣтъ, и онъ посвятилъ дорогому гостю теплымъ и глубокимъ чувствомъ проникнутые стихи:

О, Дельвигъ мой! Твой голосъ пробудилъ
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословилъ.
Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ,
И дивное волненье мы познали;
Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ!
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пѣлъ для Музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,
Ты геній свой воспитывалъ въ тиши.
Служенье Музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты [2])...

Въ вдохновенныхъ строкахъ этихъ слышится недовольство поэта своими страстными и суетными увлеченіями, жажда тишины и покоя и сознаніе важнаго и чистаго значенія своего творческаго дара.

Въ дружбѣ, согрѣвшей сердце Пушкина на родномъ сѣверѣ, душа его и нашла успокоеніе отъ мятежныхъ страстей и бурь минувшаго періода жизни. Стихотвореніе „19 октября 1825 г.“ служитъ выраженіемъ новаго состоянія духа поэта. Онъ говоритъ здѣсь, какія горькія разочарованія пришлось ему испытать среди чужихъ людей:

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой,
Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой,
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, приникъ ласкающей главой...
Съ мольбой моей печальной и мятежной,
Съ довѣрчивой надеждой первыхъ лѣтъ
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной;
Но горекъ былъ небратскій ихъ привѣтъ.

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 144.
[2]) „19 октября, 1825 г.“, Соч. т. II.

Теперь, подъ вліяніемъ новыхъ, родныхъ впечатлѣній, въ душѣ его съ особенной силой воскресла привязанность къ товарищамъ дѣтства; въ день лицейской годовщины онъ горячо вспоминаетъ свою дружбу съ ними:

Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ;
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ,
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ Музъ.
Куда-бы насъ ни бросила судьбина,
И счастіе куда-бъ ни повело,
Все тѣ-же мы: намъ цѣлый міръ чужбина,
Отечество намъ Царское Село.

Послѣднія слова подверглись, какъ извѣстно, жестокому осужденію даровитаго критика; онъ правъ, конечно, если судить отвлеченно, не принимая въ разсчетъ состоянія духа Пушкина въ это время. Но дѣло въ томъ, что поэтъ сказалъ странныя слова потому, что былъ измученъ своею только что минувшею бурною жизнью, своими сомнѣніями, разочарованіями, борьбою съ байроническими идеалами; онъ готовъ былъ идеализировать тѣсный дружескій кругъ и даже хотѣлъ какъ-бы замкнуться въ немъ, по крайней мѣрѣ на время, потому что инстинктивно искалъ отдыха и душевнаго покоя. Ту-же идеализацію тихой дружеской жизни видимъ мы и въ стихахъ:

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

И, наконецъ, то-же временное нравственное утомленіе сказалось въ странномъ предположеніи Пушкина, что послѣдній изъ оставшихся въ живыхъ товарищей его встрѣтитъ лицейскую годовщину одиноко, отчужденный отъ новой жизни, найдя себѣ утѣшеніе только въ чашѣ вина.

Несчастный другъ! Средь новыхъ поколѣній
Докучный гость, и лишній, и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...
Пускай-же онъ съ отрадой, хоть печальной,
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальный,
Его провелъ безъ горя и заботъ.

Кромѣ тихихъ дружескихъ привязанностей успокоительно дѣйствовала на душу Пушкина народная русская жизнь, которая живою и спокойной волной своей охватила его въ простыхъ деревняхъ Псковской губерніи. Подъ ея вліяніемъ началось нравственное перерожденіе поэта, воскресеніе и развитіе въ его душѣ народныхъ началъ.

Въ Михайловскомъ на нравственномъ образѣ Пушкина и на внѣшней его жизни еще замѣтны были слѣды байронизма; они выражались, напр., въ изысканной небрежности одежды поэта, въ вырывавшихся у него иногда скептическихъ фразахъ. Такъ, въ письмѣ къ брату (въ ноябрѣ 1824 г.) онъ говоритъ по поводу смерти тетки: „ѣду завтра въ Св. Горы и велю отпѣть молебенъ или панихиду, смотря по тому, что дешевле“ [1]); въ письмѣ къ Жуковскому [2]) поэтъ энергически выражается, говоря о кн. Вяземскомъ: „какъ могъ онъ на Руси сохранить свою веселость!“ Байронизмъ, можетъ быть, отзывается отчасти и въ его желаніи замкнуться въ дружескомъ кружкѣ.—„Пушкинъ (разсказываетъ Алексѣй Ник. Вульфъ, очевидно, впрочемъ, преувеличивая дѣло), когда жилъ въ деревнѣ, рѣшительно былъ помѣшанъ на Байронѣ; онъ его изучалъ самымъ старательнымъ образомъ и даже старался усвоить себѣ многія привычки Байрона. Пушкинъ, напр., говаривалъ, что онъ ужасно сожалѣетъ, что не одаренъ физическою силой, чтобъ дѣлать такіе подвиги, какъ англійскій поэтъ, который, какъ извѣстно, переплывалъ Геллеспонтъ... А чтобъ сравняться съ Байрономъ въ мѣткости стрѣльбы Пушкинъ вмѣстѣ со мной сажалъ пули въ звѣзду...“ [3]). Въ письмѣ къ брату (отъ 22-го апр. 1825 г.) поэтъ проситъ выслать ему книгу о верховой ѣздѣ: „хочу (говоритъ онъ) жеребцовъ выѣзжать,—вольное подражаніе Alfieri и Байрону“ [4]). (Замѣтимъ кстати, что эта просьба совпала какъ разъ по времени съ его жалобами на свой мнимый аневризмъ).

Но байроническія начала, уже давно ослабѣвшія въ душѣ Пушкина, должны были несомнѣнно уступить, въ новой об-

---

[1]) Рус. Стар. 1879 г. окт., стр. 300.
[2]) Отъ 24 ноября 1824 года.—Тамъ-же, стр. 301.
[3]) Ст. М. И. Семевскаго въ „Спб. Вѣдом.“ 1866 г., № 139.
[4]) Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 317.

становкѣ, началамъ инымъ. Не даромъ онъ въ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“ (1824 г.) прощается съ прежними пріемами творчества и вспоминаетъ, какъ о невозвратныхъ мечтахъ, о прошедшей своей жизни, когда душой его „обладалъ“ какой-то „демонъ“, „шептавшій“ ему „дивные звуки“, когда голова его полна была

тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ,

когда онъ, творя, таилъ про себя

Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья.

Поэтъ скорбитъ о прошломъ; но онъ чувствуетъ, однако, что въ душѣ его начинается новая, не менѣе могучая жизнь,— молодая листва пробивается на старыхъ вѣтвяхъ. Уже въ главѣ „Онѣгина“ онъ говоритъ:

Я былъ рожденъ для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
Въ глуши звучнѣе голосъ лирный,
Живѣе творческіе сны...
. . . .
Цвѣты, любовь, деревня, праздность,
Поля! я преданъ вамъ душой.

Онъ предчувствуетъ уже:

скоро, скоро бури слѣдъ
Въ душѣ моей совсѣмъ утихнетъ,

и обѣщаетъ:

Тогда-то я начну писать
Поэму, пѣсенъ въ двадцать пять.

А въ III главѣ романа онъ даетъ даже подробную программу этой „поэмы“, называя ее „романомъ“ (хотя и не догадываясь еще; что она будетъ простою „повѣстью“):

Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вамъ перескажу
Преданья русскаго семейства.
Любви плѣнительные сны
Да нравы нашей старины.

Съ этими „нравами старины“ и знакомился Пушкинъ въ деревнѣ.

Главнымъ лицемъ, сближавшимъ его съ народной русской жизнью, была, конечно, няня Арина Родіоновна; знакомился онъ съ простыми русскими людьми и у своихъ Тригорскихъ сосѣдокъ; и, наконецъ, онъ самъ (говоря новѣйшимъ выраженіемъ) „ходилъ въ народъ“, собирая пѣсни, изучая бытъ и нравы мужика и, по поэтической своей впечатлительности, сливаясь жизнью и душою съ этимъ бытомъ и этими нравами.

Няня поэта, Арина Родіоновна, по словамъ обитательницъ Тригорскаго, [1]) „была старушка чрезвычайно почтенная,—лицомъ полная, вся сѣдая, страстно любившая своего питомца, но съ однимъ грѣшкомъ—любила выпить...“ Зиму 1824—1825 года Пушкинъ провелъ въ уединеніи, „съ няней и съ трагедіей“, по его выраженію.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна...

сказалъ онъ въ своемъ чудномъ „Зимнемъ вечерѣ“. И дѣйствительно, жилище его было просто: одна и та-же комната служила ему и спальней, и столовой, и кабинетомъ. Поэтъ Языковъ такъ описалъ эту комнату:

обоями худыми
Гдѣ-гдѣ прикрытая стѣна,
Полъ нечиненный, два окна
И дверь стеклянная межъ ними;
Диванъ предъ образомъ въ углу
Да пара стульевъ... [2])

Пушкинъ не любилъ богатой обстановки, и въ простой, сѣренькой комнатѣ у него скорѣй являлось вдохновенье, чѣмъ въ роскошномъ кабинетѣ съ картинами, статуями и богатой мебелью.—На другой половинѣ дома, черезъ сѣни, находилась комната няни. Передъ домомъ былъ дворъ съ цвѣтникомъ, а позади раскинулся густой паркъ.

Любя бесѣдовать съ своею старушкой-няней, поэтъ обыкновенно ей-же читалъ и свои произведенія:

---

[1]) Спб. Вѣд. 1866 г., № 163.

[2]) Матер. г. Анненкова, стр. 110.

я плоды моихъ мечтаній
И гармоническихъ затѣй
Читаю только старой нянѣ,
Подругѣ юности моей,

сказалъ онъ въ „Онѣгинѣ“. Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстны отзывы Арины Родіоновны о сочиненіяхъ ея воспитанника. Няня, въ свою очередь, разсказывала поэту сказки, пѣла пѣсни. Осенью 1824 года Пушкинъ писалъ брату:

„Знаешь-ли мои занятія? до обѣда пишу записки, обѣдаю поздно; послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки—и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!“[1]).

Пушкинъ глубоко понималъ красоты народнаго творчества. Со словъ няни онъ записалъ семь сказокъ, изъ которыхъ три послужили ему основой для написанныхъ имъ въ 1831 и 1833 годахъ: „Сказки о царѣ Салтанѣ“, „Сказки о купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ“ и „Сказки о мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ“. Г. Анненковъ приложилъ къ своимъ „Матеріаламъ для біографіи Пушкина“ три записанныя поэтомъ сказки Арины Родіоновны; Пушкинъ записывалъ ихъ, какъ мы видимъ, не цѣликомъ, а сокращенно, и это обстоятельство даетъ возможность вполнѣ оцѣнить, какое у него было живое чувство народнаго языка и какъ онъ понималъ народныя произведенія.—Въ бытность свою въ Михайловскомъ Пушкинъ сдѣлалъ только одинъ опытъ переложенія сказки своими стихами,—написалъ „Жениха“, вещь положительно неудачную. Должно быть, онъ самъ почувствовалъ неудачу, и, вѣроятно, потому оставилъ на нѣкоторое время этотъ родъ творчества.

Въ „Зимнемъ вечерѣ“ есть указаніе—какія именно пѣсни пѣла своему питомцу Арина Родіоновна:

Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица
За водой поутру шла,

проситъ поэтъ „свою старушку“.

Упоминаемая здѣсь пѣсня про синицу должно быть есть извѣстная „За моремъ синичка не пышно жила“. Значитъ, няня пѣла пѣсни не только лирическія, но и эпическія; мо-

---

[1]) *„Рус. Стар.“* 1879 г., окт., стр. 299.

жетъ быть она знала и былевой эпосъ... Вѣроятно, отъ няни-же слышалъ Пушкинъ и пѣсню о медвѣдѣ, которую такъ чудно переложилъ въ стихи, сохранивши духъ и складъ народной рѣчи:

Какъ весенней теплой порою,
Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки,
Что изъ лѣсу, лѣсу дремучаго—
Выходила медвѣдица
Съ малыми дѣтушками-медвѣжатами,
Поиграть, погулять, себя показать.
Сѣла медвѣдица подъ березкой;
Стали медвѣжата промежь собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися да кувыркатися.
Отколь ни возьмись, мужикъ идетъ;
Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
А ножъ-то у него за поясомъ,
А мѣшокъ-то у него за плечами... и т. д.

Въ Тригорскомъ тоже были, какъ и вообще въ помѣщичьихъ домахъ прежнихъ временъ, простые русскіе люди, близкіе къ господамъ, хоть и не такъ, какъ няня Арина Родіоновна къ Пушкину. Знакомство поэта съ ними тоже было ступенью къ сближенію его съ народомъ. „Жила у насъ (разсказываетъ Марья Ивановна Осипова) [1]) ключницей Акулина Памфиловна—ворчунья ужасная. Бывало, бесѣдуемъ мы всѣ до поздней ночи,—Пушкину и захочется яблокъ; вотъ и пойдемъ мы просить Акулину Памфиловну: принеси, да принеси моченыхъ яблокъ; а та и разворчится: Вотъ Пушкинъ разъ и говоритъ ей шутя: Акулина Памфиловна, полноте, не сердитесь! завтра-же васъ произведу въ попадьи". И точно, подъ именемъ ея—чуть-ли не въ „Капитанской дочкѣ" — и вывелъ попадью; а въ мою честь, если хотите знать, названа сама героиня этой повѣсти... Былъ у насъ буфетчикъ Пименъ Ильичъ—и тотъ попалъ въ повѣсть..." (Къ сожалѣнію, Марья Ивановна не пояснила—въ какую повѣсть и кѣмъ онъ тамъ явился).

Не ограничиваясь знакомствомъ съ народной поэзіей изъ устъ няни Арины Родіоновны, Пушкинъ (одинъ изъ первыхъ на Руси) занялся самъ собираніемъ народныхъ пѣ-

[1]) „Спб. Вѣд." 1866 г. № 139. Ст. г. Семевскаго.

сенъ.—Алексѣй Николаевичъ Вульфъ и сестра его Евпраксія Николаевна говорили г. Семевскому [1]), что Пушкинъ мало сталкивался съ народомъ. Алексѣй Николаевичъ опровергалъ довольно распространенное мнѣніе, будто Пушкинъ, живя въ деревнѣ, все ходилъ въ русскомъ платьѣ. „Всего только разъ, говорилъ онъ, во все пребываніе въ деревнѣ, и именно въ девятую пятницу послѣ Пасхи, Пушкинъ вышелъ на святогорскую ярмарку въ русской красной рубахѣ, подпоясанный ремнемъ, съ палкою и въ корневой шляпѣ, привезенной имъ еще изъ Одессы. Весь новоржевскій beau-monde, съѣзжавшійся на эту ярмарку (она бываетъ весной) закупать чай, сахаръ, вино, увидя Пушкина въ такомъ костюмѣ, весьма былъ этимѣ скандализованъ“.—Слова Вульфа о русской одеждѣ поэта можетъ быть и справедливы (хотя нельзя не замѣтить, что имъ противорѣчитъ описаніе одежды Онѣгина въ деревнѣ:

Носилъ онъ русскую рубашку,
Платокъ шелковый кушакомъ,
Армякъ татарскій на-распашку
И шапку съ бѣлымъ козырькомъ [2]).

Но увѣреніе, что Пушкинъ мало сталкивался съ народомъ, уже положительно невѣрно. Этому противорѣчитъ составленіе имъ цѣлаго сборника народныхъ пѣсенъ. П. В. Кирѣевскій въ предисловіи къ своему „Собранію народныхъ пѣсенъ“ говоритъ: „А. С. Пушкинъ еще въ самомъ началѣ моего предпріятія доставилъ мнѣ замѣчательную тетрадь пѣсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи“. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, — что именно получилъ Кирѣевскій отъ великаго поэта.—Затѣмъ намъ извѣстно, что Пушкинъ собралъ пѣсни о Стенькѣ-Разинѣ. Онъ читалъ ихъ въ Москвѣ въ 1826 году у Веневитинова послѣ своей трагедіи, и увлекъ ими, какъ и „Борисомъ Годуновымъ“, своихъ слушателей, по свидѣтельству Погодина [3]). Напечатать пѣсни поэту не было дозволено: гр. Бекендорфъ нашелъ, что онѣ „при всемъ своемъ поэтическомъ достоинствѣ, по содержанію своему неприличны къ напечатанію, и сверхъ

[1]) Тамъ-же.
[2]) Соч. т. III, стр. 190. (Приложенія ко 2 гл.).
[3]) Соч. Пушк. т. II, стр. 413.

того, церковь проклинаетъ Разина, равно какъ и Пугачева [1]). До послѣдняго времени пѣсни эти считались утраченными и начало-было устанавливаться мнѣніе, что онѣ собственное произведеніе Пушкина; но появленіе ихъ въ печати [2]) показало, что онѣ народныя и не сочинены, а записаны поэтомъ.—Въ собраніи сочиненій Пушкина есть и еще нѣсколько записанныхъ имъ народныхъ произведеній. — Все это свидѣтельствуетъ, что поэтъ близко подходилъ къ народу, вращался въ его средѣ. Такое заключеніе подтверждается и сохранившимися въ Псковской губерніи преданіями о немъ, о его сближеніи съ мужиками [3]).—На-сколько Пушкинъ [проникалъ въ сущность народной поэзіи и понималъ скрытую въ ней красоту, свидѣтельствуетъ между прочимъ дивное по своей простотѣ и художественности неоконченное созданіе его въ народномъ духѣ:

Только что на проталинкахъ весеннихъ
Показались ранніе цвѣточки,
Какъ изъ царства восковаго,
Изъ душистой келейки медовой
Вылетаетъ первая пчелка.
Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ
О красной веснѣ развѣдать:
Скоро-ли будетъ гостья дорогая,
Скоро-ль луга зазеленѣютъ,
Распустятся клейкіе листочки,
Зацвѣтетъ черемуха душиста? [4]).

Кромѣ народной поэзіи и сближенія съ простыми русскими людьми на Пушкина успокоительно и благотворно вліяла и простая русская природа. Такъ, однажды, подъ обаяніемъ ея впечатлѣній онъ обдумалъ, возвращаясь верхомъ изъ сосѣдней деревни, сцену свиданія Самозванца съ Мариной въ „Борисѣ Годуновѣ“. Въ Онѣгинѣ“ онъ разсказываетъ, что иногда „бродя надъ озеромъ“, онъ пугалъ чтеніемъ „сладкозвучныхъ строфъ“ своихъ стаи дикихъ утокъ.

Впечатлѣнія русской народной жизни, поэзіи и природы подѣйствовали въ концѣ концовъ такъ на русскую натуру

[1]) Тамъ-же, и въ „Рус. Стар.“ 1874 г., № 8.

[2]) См. соч. Пушк. т. V, стр. 512 и слѣд.

[3]) Объ этомъ, напр., помнятъ въ Островѣ (по свидѣтельству тамошняго уроженца А. П. Коркунова) и друг.

[4]) 1825 г. (Соч. т. II).

Пушкину, что съ нея слетѣлъ вполнѣ байронизмъ, и личность поэта въ Михайловскомъ становится совершенно народною; поэтъ проникается даже народными началами до непосредственности простого человѣка.

Скептицизмъ совершенно исчезъ изъ души Пушкина, и въ ней появились, или воскресли, народныя вѣрованія. Въ годовщину смерти Байрона поэтъ отправился въ Святогорскій монастырь и заказалъ тамъ обѣдню и панихиду по болринѣ Георгіѣ. Г. Анненковъ напрасно видитъ въ этомъ шутку, — такая шутка была-бы слишкомъ груба и цинична, да и не остроумна. Теперь, впрочемъ, есть и положительныя свидѣтельства, что поэтъ поступилъ вполнѣ серьезно и сознательно. Въ письмѣ брату (отъ 17 апр. 1825 г.) онъ пишетъ:

„Я заказалъ обѣдню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). Анна Николаевна также, и въ обѣихъ церквахъ Триг(орскаго) и Вор(онича) происходили молебствія—это немножко напоминаетъ la messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de m-r de Voltaire. Вяземскому посылаю просвиру, вынутую отцомъ Шкодой за упокой поэта“ [1]).

Тонъ письма и участіе Анны Николаевны Вульфъ въ заказываніи обѣдни за Байрона исключаетъ всякія сомнѣнія въ серьезности поступка Пушкина.

Какъ жила въ ранней юности безсознательной народной жизнью его Татьяна, вѣрившая

преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны,

такъ увлекался этой жизнью, до полнаго сліянія съ нею, и самъ поэтъ, увлекался даже до вѣры въ народныя примѣты. Получивъ извѣстіе о происшествіи 14-го декабря 1825 года, онъ на слѣдующій день рано утромъ поѣхалъ-было въ Петербургъ; но, не доѣхавъ до первой станціи, вернулся назадъ, потому что при выѣздѣ изъ Михайловскаго встрѣтилъ священника, а потомъ, когда выбрался въ

---

[1]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., 316.

поле, заяцъ перебѣжалъ ему дорогу.—Для характеристики народности нравственной личности Пушкина въ это время интересно, между прочимъ, одно его письмо къ брату, писанное въ январѣ 1825 года:

„У меня произошла перемѣна въ министерствѣ (пишетъ поэтъ): Розу Григорьевну я принужденъ былъ выгнать за непристойное поведеніе и слова, которыхъ не долженъ я былъ вынести. А то бы она уморила няню, которая начала отъ нея худѣть. Я нарядилъ комитетъ, составленный изъ Василья, Архипа и старосты,—велѣлъ перемѣнить хлѣбъ, и открылъ нѣкоторыя злоупотребленія, т. е. нѣсколько утаенныхъ четвертей. Впрочемъ она мерзавка и воровка. Покамѣсть я принялъ бразды правленія“ [1]).

Кромѣ выраженія любви къ нянѣ, слова письма замѣчательны еще по своему торжественному тону, такъ очевидно не подходящему къ нашей простой народной жизни; въ нихъ слышится добродушная иронія Пушкина. Такимъ тономъ заговоритъ впослѣдствіи „Бѣлкинъ“ въ своей „Исторіи села Горохина“; въ приведенномъ письмѣ, въ слогѣ его, заключаются уже зародыши этого народнаго типа нашего поэта.—Все русское, до мелочей, становится въ это время дорого и мило Пушкину; такъ, напр., онъ пишетъ брату въ октябрѣ 1824 года:

„Не забудь фонъ-Визина писать Фонвизинъ. Что онъ за нехристь? Онъ русскій, изъ перерусскихъ русскій“ [2]).

Въ лирическихъ произведеніяхъ этой эпохи тоже слышится, что душа поэта проникнута народными началами: въ нихъ замѣтно какое-то спокойное, добродушное и ясное настроеніе духа; таково, напр., стихотвореніе „Въ альбомъ Е. Н. Вульфъ“ (1825 г.).

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись!
Въ день унынія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдетъ,
Что пройдетъ — то будетъ мило.

---

[1]) „Русс. Стар.“ 1879 г., октябрь, стр. 308 и Матер. г. Анненкова 114—115.

[2]) „Рус. Стар.“ 1879, октябрь, 298.

Въ „Зимней дорогѣ“ поэтъ художественно рисуетъ русскую картину грустнаго зимняго пути, съ любовью узнаетъ „что-то родное“

Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика,

въ которыхъ слышится —

То разгулье удалое,
То сердечная тоска,

и находитъ отраду въ тихихъ мечтахъ объ ожидающемъ его счастьѣ кроткой и спокойной привязанности. — Завыванія родной зимней вьюги, такъ чудно нарисованныя въ „Зимнемъ вечерѣ“, тѣснѣе сближаютъ поэта съ подругой „бѣдной его юности“, старушкой няней, дремлющей подлѣ него

подъ жужжанье
Своего веретена,

и глубокой любовью къ этой старушкѣ проникнуто все стихотвореніе; въ этой любви поэтъ находитъ успокоеніе отъ томящей его грусти. — Вообще съ этого времени получаетъ опредѣленность одна изъ отличительныхъ чертъ поэзіи Пушкина — невозможность для его музы остановиться на диссонансѣ, на отчаяньѣ, на безотрадномъ чувствѣ. Поэтъ умѣетъ выдти изъ щемящей душу тоски въ просвѣтленное сознаніе свѣтлыхъ и успокоительныхъ сторонъ жизни. Онъ находитъ отраду въ самомъ уныніи, въ горечи разлуки?

Цвѣты послѣдніе милѣй
Роскошныхъ первенцевъ полей.
Они унылыя мечтанья
Живѣе пробуждаютъ въ насъ:
Такъ иногда разлуки часъ
Живѣе самаго свиданья [1]).

Деревенская жизнь, какъ всегда, побуждала Пушкина къ серьезнымъ размышленіямъ, къ труду. Начатое на югѣ самообразованіе онъ продолжалъ въ Михайловскомъ, еще съ большей усидчивостью и настоятельностью. Онъ хорошо понималъ недостатки своего лицейскаго воспитанія. Впослѣдствіи въ своихъ запискахъ онъ между прочимъ писалъ объ Ал. Ник. Вульфѣ:

---

[1]) „Послѣдніе цвѣты“ (Пр. Ал. Осиповой), 16 октября 1825 г., *Соч.* т. II.

„Въ концѣ 1826 года я часто видѣлся съ однимъ дерптскимъ студентомъ. Онъ много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между тѣмъ какъ мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и важенъ. Его занимали такіе предметы, о которыхъ я и не помышлялъ“ [1]).

Умственныя занятія поэта въ деревнѣ были весьма разнообразны. — Онъ изучалъ итальянскій языкъ, результатомъ чего осталось нѣсколько переведенныхъ строфъ изъ XXIII пѣсни Аріостова „Orlando Furioso“. Онъ читалъ Коранъ и переложилъ изъ него нѣсколько мыслей въ стихи („Подражанія Корану“). Примѣчанія къ этимъ стихамъ показываютъ, какъ внимательно и серьезно читалъ Пушкинъ; такъ, по поводу клятвы Аллаха онъ говоритъ:

„Въ другихъ мѣстахъ Корана Алла клянется копытами кобылицъ, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродѣтелью и порокомъ, ангелами и человѣкомъ и прочее. Странный сей реторическій оборотъ встрѣчается въ Коранѣ поминутно“.

По поводу стиховъ, заключающихъ въ себѣ предостереженіе Аллаха гостямъ Магомета, чтобы они почтили

пиръ его смиреньемъ
И цѣломудреннымъ склоненьемъ
Его невольницъ молодыхъ.

Пушкинъ дѣлаетъ примѣчаніе:

„Мой пророкъ, прибавляетъ Алла, вамъ этого не скажетъ, ибо онъ весьма учтивъ и скроменъ; но я не имѣю нужды съ вами чиниться“ и прочее. Ревность Араба такъ и дышитъ въ сихъ заповѣдяхъ“.

При строфѣ:

Земля недвижна; неба своды,
Творецъ, поддержаны Тобой,
Да не падутъ на сушь и воды
И не подавятъ насъ собой!

поэтъ замѣчаетъ: „Плохая физика, но зато какая смѣлая поэзія!“

Интересно, что Магомета, какъ видимъ изъ тѣхъ-же примѣчаній, Пушкинъ считалъ замѣчательнымъ художникомъ.

[1]) Пушк. въ Алекс. эпоху, 283, выноска.

Далѣе, поэтъ читалъ записки Наполеона; очень остроумно характеризуетъ онъ ихъ въ письмѣ къ брату (въ исходѣ февраля 1825 года):

„На своей скалѣ (прости Боже мое согрѣшеніе!) Наполеонъ поглупѣлъ: во-первыхъ лжетъ какъ ребенокъ (т. е. замѣтно), 2, судить о такомъ-то не какъ Наполеонъ, а какъ парижскій памфлетистъ, какой-нибудь Прадтъ, или Гизо... Читалъ ты записки Nap.? Если нѣтъ, такъ прочти. Это между прочимъ прекрасный романъ“ [1]).

Читалъ Пушкинъ и древнихъ авторовъ: Аврелія Виктора, римскаго писателя IV вѣка, и (главнымъ образомъ) Тацита. Одно замѣчаніе Аврелія Виктора о Клеопатрѣ навело его на мысль написать „Египетскія ночи“.—Римскую исторію Тацита поэтъ читалъ съ перомъ въ рукахъ и дѣлалъ обширныя замѣтки на нее [2]). Одно лице въ сочиненіи древняго историка особенно заинтересовало Пушкина, это—Тиберій:

„Чѣмъ болѣе читаю Тацита (записалъ поэтъ), тѣмъ болѣе мирюсь съ Тиберіемъ. Онъ былъ одинъ изъ величайшихъ умовъ древности“.

Самого Тацита Пушкинъ ставилъ очень высоко; но не преклонялся безусловно передъ его авторитетомъ.—Тацитъ есть великій писатель (сказалъ онъ въ своей „Запискѣ о народномъ воспитаніи“) [3]), впрочемъ исполненный „латинскихъ предразсудковъ“.

Иногда поэтъ въ своихъ замѣткахъ оспариваетъ мнѣнія римскаго историка или высказываетъ по-поводу ихъ свои сомнѣнія въ томъ или другомъ фактѣ.

„Августъ вторично испрашиваетъ для Тиберія трибунство. Точно ли въ насмѣшку или для невыгоднаго сравненія съ самимъ собою хвалилъ онъ наружность своего пасынка и наслѣдника? (ставитъ вопросъ Пушкинъ). Въ своемъ завѣщаніи, изъ единой ли зависти совѣтовалъ не распространять предѣловъ имперіи?“

Приведемъ еще примѣръ: „Не изъ зависти, какъ ду-

---

[1]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., 310.
[2]) Соч. т. V.
[3]) Тамъ-же, стр. 53, примѣч.

маетъ Тацитъ, онъ (т. е. Тиберій) не увеличиваетъ, вопреки мнѣнію Сената, число преторовъ, установленное Августомъ“.

Не только Тацита, но и другихъ писателей читалъ Пушкинъ дѣлая свои замѣчанія на ихъ мысли, или, какъ Онѣгинъ, на поляхъ самыхъ книгъ, или, если сочиненіе было важное, на особыхъ листахъ, причемъ иногда къ замѣткамъ присоединялись и выписки.

Занятіямъ Пушкина много помогала библіотека Тригорскаго, довольно порядочная, по свидѣтельству видѣвшаго ее г. Семевскаго [1]). Въ ней были старинныя изданія русскихъ авторовъ (Сумарокова, Лукина); „Ежемѣсячныя сочиненія“, журналъ Миллера; „Россійскій Өеатръ“, обширное собраніе театральныхъ піесъ прошлаго столѣтія, нѣсколько изданій Новиковскихъ; первое изданіе „Дѣяній Петра В.“ Голикова. „По послѣднему сочиненію (говоритъ г. Семевскій, быть можетъ слышавшій это отъ владѣльцевъ Тригорскаго) Пушкинъ впервые познакомился съ жизнью и дѣяніями монарха“.

Въ письмахъ къ брату изъ Михайловскаго въ Петербургъ Пушкинъ постоянно проситъ о высылкѣ ему книгъ; между прочими онъ называетъ слѣдующія сочиненія [2]): „Les conversations de Byron“; Вальтеръ Скоттъ; „Жизнь Емельяна Пугачева“; „Путешествіе по Тавридѣ, Муравьева“; „Oeuvres de Lebrun, odes, élégies etc.“; „Донъ-Жуанъ“ съ 6-й пѣсни; „Oeuvres dram(atiques) de Schiller“, записки Фуше (министра полиціи при Наполеонѣ I, прославившагося сыщика и шпіона); „Русская Старина“ (историческій сборникъ, изд. Корниловичемъ въ 1825 году); „Собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ, въ стихахъ и въ прозѣ“ (12 частей, вышли въ Спб. въ 1822—1824 годахъ); „Сибирскій Вѣстникъ“; „Sismondi littérature“; „Schlegel, dramaturgie“, и т. д. Этотъ списокъ свидѣтельствуетъ и о серьезности, и о чрезвычайномъ разнообразіи чтенія поэта.

Но съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Пушкинъ изучалъ въ это время исторію Карамзина, Шекспира и наши лѣтописи.

Чтенія и размышленія поэта, конечно, должны были

---

[1]) „Спб. Вѣд.“ 1866 г. № 139.

[2]) „Рус. Старина“ 1879 г. окт., стр. 299, 309, 31[illegible] [illegible].

отразиться на развитіи широты и глубины его **критическихъ воззрѣній**. И дѣйствительно, мы видимъ, что онъ высказываетъ замѣчательно здравыя и остроумныя мнѣнія о прежнихъ и современныхъ писателяхъ, русскихъ и иностранныхъ. Мнѣнія эти разсѣяны въ его письмахъ, критическихъ статейкахъ, отрывочныхъ замѣткахъ.

Въ письмѣ къ Дельвигу (отъ 8 іюня 1825 г.) онъ высказываетъ мѣткій и оригинальный взглядъ на Державина, взглядъ, установившійся въ настоящее время въ нашей критикѣ. Пушкинъ пишетъ:

„Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ ниже Ломоносова). Онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи, ни даже о правилахъ стихосложенія; вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ выдержать и строфы... Что же въ немъ? Мысли, картины и движенія истинно поэтическія. Читая его, кажется читаешь дурной вольный переводъ съ какого-то чудеснаго подлинника... У Державина должно сохранить будетъ одъ восемь, да нѣсколько отрывковъ, а остальное сжечь“ [1]).

Мнѣніе поэта о Ломоносовѣ тоже весьма замѣчательно:

„Соединяя необыкновенную силу воли (пишетъ Пушкинъ) [2]) съ необыкновенною силою понятія, Ломоносовъ обнялъ всѣ отрасли просвѣщенія. Жажда науки была сильнѣйшею страстію сей души, исполненной страстей. Историкъ, риторъ, механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ и стихотворецъ, онъ все испыталъ и все проникъ... Науки точныя были всегда главнымъ и любимымъ его занятіемъ, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы напрасно искали-бы въ первомъ нашемъ лирикѣ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его, ровный, цвѣтущій и живописный, заемлетъ главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ простонароднымъ. Вотъ почему переложенія псалмовъ и другія

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 149.

[2]) „**Предисловіе Лемонте къ баснямъ Крылова**“. Соч. т. V, стр. 29.

сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ суть его лучшія произведенія".

Пушкинъ задолго до Бѣлинскаго вполнѣ усомнился въ правахъ на славу Хераскова, Княжнина, Богдановича, Дмитріева [1]). (Интересно, что къ Тредьяковскому онъ отнесся снисходительно, за его „взглядъ на словесность", по мнѣнію г. Анненкова). Наша литература XVIII и начала XIX столѣтія находитъ въ Пушкинѣ вообще строгаго судью.

„Знаменитые писатели (говоритъ онъ про это время) не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовъ: Доратъ, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, M-me Жанлисъ овладѣваютъ Русской словесностью" [2]).

(Эта замѣтка указываетъ, между прочимъ, на близкое знакомство Пушкина съ французской литературой).

Отношенія великаго поэта къ современнымъ ему писателямъ болѣе сочувственны.—Крылова онъ ставитъ очень высоко, выше Лафонтена. Передъ Жуковскимъ благоговѣетъ и какъ передъ поэтомъ, и какъ передъ человѣкомъ. Въ письмѣ къ брату (въ январѣ 1825 г.) онъ говоритъ:

„Письмо Ж. (Жуковскаго) наконецъ я разобралъ. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Онъ святой, хотя родился Романтикомъ, а не Грекомъ, и человѣкомъ, да какимъ еще!" [3]).

Высоко ставя стихотворенія своего бывшаго наставника въ поэзіи, Пушкинъ однако судилъ безпристрастно, видѣлъ и слабыя ихъ стороны. Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому онъ выражаетъ негодованіе, что поэтъ поручилъ выборъ стихотвореній своихъ для изданія гр. Блудову:

„Зачѣмъ слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебѣ удостовѣриться въ односторонности его вкуса. Къ тому-же не вижу въ немъ и безкорыстной любви къ твоей славѣ. Выбрасывая, уничтожая самовластно, онъ не исключилъ изъ собранія посланія къ нему, произведенія конечно слабаго... „Надпись къ Гёте", „Ахъ, если-бъ мой милый", „Генію"—все это прелесть; а гдѣ они? Знаешь, что вый-

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 150—152.

[2]) Тамъ-же, стр. 151.

[3]) Рус. Стар. 1879 г., окт., стр. 308.

детъ? Послѣ твоей смерти все это напечатаютъ съ ошибками и съ пріобщеніемъ стиховъ Кюхельбекера. Подумать страшно“ [1]).

Въ указаніи истинно поэтическихъ, но пропущенныхъ Блудовымъ произведеній Жуковскаго сказалось живое эстетическое чувство Пушкина. Оно же подсказало ему мысль о художественной слабости „Думъ“ К. Ѳ. Рылѣева. Пушкинъ первоначально (какъ видимъ изъ письма къ брату въ исходѣ февраля 1825 года) возлагалъ на Рылѣева большія надежды:

„Если Палѣй пойдетъ какъ началъ (писалъ онъ) [2])—Рылѣевъ будетъ министромъ (т. е. на Парнасѣ)“.

Разставаясь съ уѣзжавшимъ изъ Михайловскаго Пущинымъ, поэтъ наказывалъ благодарить Рылѣева за патріотическія „Думы“. Но черезъ 4 мѣсяца, 25 мая 1825 года, онъ писалъ объ нихъ кн. П. А. Вяземскому иное:

„Думы—дрянь, и названіе сіе происходитъ отъ нѣмецкаго слова dumm (глупый), а не отъ польскаго, какъ казалось съ перваго взгляда...“ [3]).

Къ Дельвигу, Баратынскому и Языкову Пушкинъ относился иначе, ставя ихъ высоко и не допуская даже возможности осуждать ихъ поэзію. Но тутъ, кажется, къ оцѣнкѣ критика примѣшалось расположеніе друга.—Надо замѣтить еще, что въ сужденіяхъ Пушкина о современныхъ писателяхъ большую роль играла и любовь его къ родной словесности; она была иногда причиной, почему онъ судилъ снисходительно, какъ дѣлалъ это прежде Новиковъ, въ своемъ „Опытѣ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ“. Пушкинъ, напр., сочувственно встрѣтилъ произведенія барона Розена за усилія этого писателя выучиться русскому языку; Пушкинъ призналъ даже присутствіе въ немъ драматическаго таланта въ большей степени, чѣмъ у Кукольника и Хомякова.—Всякая литературная попытка, въ которой скрывалась живая мысль или чувство, вызывала симпатію великаго поэта. Такъ, живымъ одобрѣніемъ встрѣтилъ онъ сказку Ершова „Конекъ-Горбунокъ“; съ сочув-

[1]) Тамъ-же, стр. 323.
[2]) Тамъ-же, стр. 310.
[3]) Тамъ-же, стр. 306.

ствіемъ отнесся къ поэту-самоучкѣ Слѣпушкину; онъ поручилъ Дельвигу переслать послѣднему экземпляръ своихъ стихотвореній и „Руслана и Людмилу“, „съ тѣмъ (писалъ Пушкинъ), чтобъ онъ мнѣ не подражалъ, а продолжалъ идти своей дорогой“ [1]). Когда Губеръ перевелъ „Фауста“ Гете, Пушкинъ посвятилъ нѣсколько дней провѣркѣ вмѣстѣ съ молодымъ поэтомъ его перевода.—Поэзія Козлова и судьба его возбуждали особенныя симпатіи Пушкина. Въ письмѣ къ брату (въ январѣ 1825 г.) онъ говоритъ:

„Подпись слѣпого поэта тронула меня несказанно. Повѣсть его—прелесть; сердись онъ, не сердись—а хотѣлъ простить—простить не могъ достойно Байрона. Видѣніе, конецъ прекрасны. Посланіе, можетъ быть, лучше поэмы—по крайней мѣрѣ ужасное мѣсто, гдѣ поэтъ описываетъ свое затмѣніе, останется вѣчнымъ образцомъ мучительной поэзіи. (Дѣло идетъ о поэмѣ „Чернецъ“ и о „Посланіи“ Козлова къ Жуковскому). Хочется отвѣчать ему стихами; если успѣю, пошлю ихъ съ этимъ письмомъ“ [2]).

И Пушкинъ, дѣйствительно, написалъ прекрасное стихотвореніе „Козлову (по полученіи отъ него „Чернеца“)“ (1825 г.):

Пѣвецъ! когда передъ тобой
Во мглѣ сокрылся міръ земной,
Мгновенно твой проснулся геній,
На все минувшее воззрѣлъ,
И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній
Онъ пѣсни дивныя запѣлъ.
О, милый братъ! какіе звуки!
Въ слезахъ восторга внемлю имъ:
Чудеснымъ пѣніемъ своимъ
Онъ усыпилъ земныя муки.

Гоголь и Грибоѣдовъ нашли въ Пушкинѣ глубокаго цѣнителя. Отзывъ о первомъ поэтъ сдѣлалъ позже; о Грибоѣдовѣ-же онъ высказалъ свое мнѣніе въ Михайловскомъ. „Горе отъ ума“ Пушкинъ считалъ превосходнымъ изображеніемъ „характеровъ и рѣзкою картиною нравовъ“. Онъ разбираетъ безсмертную комедію въ письмѣ къ одному изъ друзей своихъ.

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 155.

[2]) „Рус Стар.“ 1879 г. окт., 307.

„Фамусовъ и Скалозубъ (пишетъ онъ) превосходны... Les propos du bal, сплетни, разсказъ Репетилова о клубѣ, Загорѣцкій, всѣми отъявленный и вездѣ принятый—вотъ черты истинно комическаго генія“.

Про стихи комедіи Пушкинъ выразился, что „половина (ихъ) должна войти въ пословицу“.—Поэтъ тонко подмѣтилъ одну замѣчательную черту пьесы:

„Недовѣрчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалину прелестна. И такъ натурально!—Вотъ на чемъ должна была вертѣться вся комедія (прибавляетъ Пушкинъ); но Грибоѣдовъ не захотѣлъ: его воля!“

Послѣдній упрекъ Грибоѣдову, впрочемъ, нѣсколько страненъ: недовѣрчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалину авторъ „Горя отъ ума“ и сдѣлалъ одною изъ главныхъ пружинъ своей комедіи. По той-же причинѣ нѣсколько странно и вѣрное по существу своему замѣчаніе: „Молчалинъ не довольно рѣзко подлъ: не нужно-ли было сдѣлать изъ него и труса?“ Трусомъ онъ и является у Грибоѣдова, когда въ 4 актѣ прячется въ свою комнату, увидя Чацкаго и предугадывая появленіе Фамусова.—Но мысль, что „Софья начертана не ясно“—совершенно вѣрная мысль.—Очень интересенъ взглядъ Пушкина на Чацкаго:

„А знаешь-ли, что такое Чацкій? Пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и питавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все это говоритъ онъ очень умно, но кому говоритъ онъ все это? Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскомъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно. Первый признакъ умнаго человѣка—съ перваго раза знать съ кѣмъ имѣешь дѣло и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п.“ [1]).

Что побудило Пушкина признать Чацкаго хотя и умнымъ, но некстати проповѣдующимъ истины человѣкомъ,—объяснить довольно трудно. Можетъ быть въ этомъ сказалось временное нравственное утомленіе поэта, его разочарованіе въ людяхъ, недовольство обществомъ, однимъ словомъ—то самое состояніе духа, которое выразилось въ стихотво-

[1]) Матер. г. Анненкова, 122—123.

реніи „19 октября 1825 г.“ болѣзненнымъ стремленіемъ уйти отъ людей въ тѣсный и замкнутый дружескій кружокъ.

Сильно занимали еще Пушкина въ Михайловскомъ мысли о русской критикѣ. По его мнѣнію, критики тогда у насъ не было.

„Что-же ты называешь критикою? (пишетъ Пушкинъ 12 марта 1825 года одному изъ своихъ друзей, возражая на его статью „Взглядъ на Русскую Словесность въ теченіи 1824 г. и въ началѣ 1825 г.“). Вѣстникъ Европы и Благонамѣренный? Библіографическія извѣстія Греча и Булгарина?.. Но признайся, что это все не можетъ установить какого-нибудь мнѣнія въ публикѣ, не можетъ почесться уложеніемъ вкуса... Но гдѣ-же критика? Нѣтъ, фразу твою („у насъ есть критика и нѣтъ литературы“) можешь сказать наоборотъ: литература кой-какая есть, а критики нѣтъ“ [1]).

Поэтъ считалъ необходимымъ создать русскую критику, и потому его сильно занимала мысль объ основаніи хорошаго литературнаго журнала; онъ переписывался объ этомъ съ кн. Вяземскимъ. Но дѣло устроилось только въ 1827 г. основаніемъ „Московскаго Вѣстника“, въ которомъ Пушкинъ сталъ принимать личное участіе. Впрочемъ, въ 1825 году онъ былъ доволенъ „Московскимъ Телеграфомъ“, журналомъ Полевого; онъ писалъ брату 27 марта:

„Я Телеграфомъ очень доволенъ—и мышлю или мыслю поддержать его“ [2]).

На-сколько Пушкина живо интересовала иностранная словесность и какія онъ имѣлъ свѣдѣнія въ ней, на это намекаетъ вышеупомянутое письмо его къ другу, написавшему „Взгляды на Русскую Словесность“. Поэтъ такъ возражаетъ на мысль, что „у Римлянъ вѣкъ посредственности предшествовалъ вѣку геніевъ“:

„Грѣхъ отнять это титло у таковыхъ людей, каковы: Виргилій, Горацій, Тибуллъ, Овидій и Лукрецій, хотя они, кромѣ двухъ послѣднихъ, шли столбовой дорогой подражанія. (Виноватъ, Горацій не подражатель)... Въ Италіи Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Аріосту; сіи предшествовали Alfieri и Foscolo. У Англичанъ Мильтонъ и

---

[1]) Тамъ-же, стр. 152—153.

[2]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., стр. 314.

Шекспиръ писали прежде Адиссона и Попа, послѣ которыхъ явились Southey, W. Scott, Moor и Byron. Изъ этого мудрено вывести какое-нибудь заключеніе или правило. Слова твои вполнѣ можно примѣнить къ одной французской литературѣ [1])".

Кромѣ писемъ, критическихъ статей и замѣтокъ, литературные взгляды Пушкина выразились еще въ двухъ „Посланіяхъ цензору" (оба 1824 года).—Интересно, что Пушкинъ не возстаетъ здѣсь въ принципѣ противъ цензуры, по-крайней-мѣрѣ у насъ на Руси. Въ первомъ посланіи онъ говоритъ:

Не бойся, не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной—
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

А во второмъ—совѣтуетъ цензору:

Будь строгъ, но будь уменъ. Не просятъ отъ тебя,
Чтобъ, всѣ законныя преграды истребя,
Все мыслить, говорить, печатать безопасно
Ты нашимъ господамъ позволилъ самовластно.

Можетъ быть признаніе цензуры объясняется нравственнымъ утомленіемъ поэта, какъ и отзывъ его о Чацкомъ; но вѣрнѣе, что онъ считалъ цензуру не-безполезной совсѣмъ въ особомъ смыслѣ, примѣнительномъ къ тогдашнему состоянію нашей журналистики, или къ его взгляду на это состояніе. Въ первомъ посланіи Пушкинъ говоритъ, что участь цензора—тяжелая: онъ хотѣлъ бы иной разъ почитать хорошаго автора, но долженъ вмѣсто этого просматривать всякій вздоръ, да вымарывать

из тощаго журнала
Насмѣшки грубыя и площадную брань:
Учтивыхъ остряковъ затѣйливую дань.

Кажется, Пушкинъ понималъ назначеніе и пользу цензуры именно въ этомъ смыслѣ: не пропускать въ печать грубыя личныя выходки, насмѣшки и брань. Это подтверждается и тѣмъ, что онъ не признаетъ цензуру въ силахъ скрыть отъ общества сочиненія дѣйствительно противныя гражданскому закону или нравственности; онъ говоритъ:

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 152.

Повѣрь мнѣ, чьи забавы—
Осмѣивать законъ, правительство и нравы,
Тотъ не подвергнется взысканью твоему,
Тотъ не знавалъ тебя—мы знаемъ почему,
И рукопись его, не погибая въ Летѣ,
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ.

Въ обоихъ посланіяхъ поэтъ выражаетъ глубокое уваженіе свое къ просвѣщенію, къ мысли и слову. Онъ говоритъ, что цензоръ, почитая сердцемъ „алтарь и тронъ", не долженъ „тѣснить мнѣнья" и разума, не долженъ считать

Сатиру—пасквилемъ, поэзію—развратомъ,
Гласъ правды—мятежомъ.....

Онъ напоминаетъ, что во времена Екатерины, въ первые года царствованія Александра слово было свободнѣе, чѣмъ теперь, и при этомъ съ одушевленіемъ и энергіей высказываетъ замѣчательную мысль:

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать...
Старинной глупости мы праведно стыдимся;
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся,
Когда никто не смѣлъ отечества назвать,
И въ рабствѣ ползали и люди и печать!
Нѣтъ, нѣтъ, оно прошло губительное время,
Когда невѣжества несла Россія бремя.

Во второмъ посланіи, говоря о неожиданномъ смягченіи цензуры, Пушкинъ прославляетъ Шишкова, предполагая, что это—его дѣло, и съ негодующей ироніей отзывается о Магницкомъ

(Магницкій благородный,
Мужъ твердый въ правилахъ, съ душою превосходной)

и о томъ „святомъ отцѣ", который

Омара да Гали пріявъ за образецъ,
Въ угодность Господу, себѣ во утѣшенье,
Усердно заглушить старался просвѣщенье.

2.

Углубленіе въ серьезное чтеніе, серьезныя размышленія о литературѣ пробудили въ Пушкинѣ желаніе написать и самому вполнѣ серьезное произведеніе, широкое по замыслу, важное по значенію.—Сближеніе съ народной рус-

ской жизнью, чтеніе лѣтописей направили его мысль на родную старину. Изъ приведенныхъ выше стиховъ Языкова мы знаемъ, что друзья Михайловскаго толковали съ жаромъ и увлеченіемъ о „славѣ прадѣдовъ", о вѣчѣ. Въ посланіи къ П. А. Осиповой Пушкинъ говоритъ, что онъ „вздыхалъ" въ деревнѣ „о мирной старинѣ". И вотъ онъ рѣшается взять содержаніе своего будущаго созданія изъ русской исторіи. Этому выбору способствовало, конечно, и увлеченіе его чтеніемъ выходившей тогда въ свѣтъ „Исторіи Государства Россійскаго". Поэтъ останавливается на эпохѣ Годунова и задумываетъ изобразить ее въ драматической формѣ. Въ 1825 году онъ принимается за дѣло, посвящая ему много времени и много труда: онъ изучаетъ избранную имъ эпоху русской жизни, изучаетъ законы драматической поэзіи, желая создать произведеніе, достойное сознаваемыхъ имъ въ себѣ силъ. И онъ достигаетъ цѣли—изъ-подъ пера его выходитъ „Борисъ Годуновъ", несомнѣнно капитальный трудъ, первое вполнѣ художественное и вполнѣ самобытное его созданіе. Поэтъ глубоко любилъ свою драму и совершенно сознавалъ и ея общее значеніе, и ея значеніе такъ-сказать субъективное, по отношенію къ его собственной личности, и потому онъ долго не рѣшался выпустить ее въ свѣтъ; она появилась въ печати, какъ извѣстно, лишь черезъ пять лѣтъ послѣ написанія. Взволнованный ожиданіями и сомнѣніями—какъ ее встрѣтитъ читающее общество, Пушкинъ писалъ тогда одному изъ своихъ знакомыхъ:

„Хоть я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или неудачѣ своихъ сочиненій, но признаюсь: неудача Бориса Годунова будетъ мнѣ чувствительна, а я въ ней почти увѣренъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочиненіи: „c'est une oeuvre de bonne foi". Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, наконецъ—одобреніе малаго числа избранныхъ..." [1])

Поэтъ предполагалъ первоначально выпустить „Бориса

---

[1]) Матер. г. Анненк., стр. 125—126.—См. также Соч. т. V, стр. 85—86.

Годунова“ въ свѣтъ съ пояснительнымъ предисловіемъ; для этого онъ составилъ около 1830 года замѣтки о своемъ произведеніи, очень драгоцѣнныя для насъ теперь, потому что они раскрываютъ намъ процессъ созданія великой драмы. Она слагалась въ душѣ Пушкина, по его собственному свидѣтельству, подъ впечатлѣніями изученія — Шекспира, Карамзина и лѣтописей.

„Комедія о царѣ Борисѣ и Гр. Отрепьевѣ писана въ 1825 году и долго не могъ я рѣшиться выдать ее въ свѣтъ (говоритъ Пушкинъ). Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лѣтописей дало мнѣ мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источники богатые! Успѣлъ-ли ими воспользоваться—не знаю. По крайней мѣрѣ труды мои были ревностны и добросовѣстны“ [1]).

Остановимся на отношеніяхъ Пушкина къ Карамзину. Мы видѣли, что въ самомъ началѣ своей дѣятельности Пушкинъ признавалъ благотворнымъ для себя вліяніе „Исторіи Государства Россійскаго“; и впослѣдствіи онъ всегда благоговѣлъ передъ этимъ великимъ трудомъ и передъ его авторомъ. Въ своей автобіографіи, въ сохранившихся отрывкахъ ея, относящихся къ 1825—1826 годамъ, Пушкинъ называетъ исторію Карамзина „не только созданіемъ великаго писателя, но подвигомъ честнаго человѣка“; онъ остроумно выражается здѣсь сравненіемъ, что для русскаго общества „древняя Россія найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ“. [2]).

Пушкинъ глубоко сожалѣлъ, что Карамзинъ не слышалъ его трагедіи, не могъ высказать своего мнѣнія о ней.

„Одного недоставало въ числѣ моихъ слушателей (читаемъ мы въ одномъ письмѣ поэта): того, кому я обязанъ мыслію моей трагедіи, чей геній одушевилъ и поддержалъ меня, чье одобреніе представлялось воображенію моему сладкою наградою и единственно развлекало посреди уединеннаго труда“ [3]).

---

[1]) Соч. т. V, стр. 86.
[2]) Тамъ-же, стр. 45 и 44.
[3]) Матер. г. Анненк., стр. 126. Также Соч. т. V, стр. 86.

Карамзину и посвятилъ Пушкинъ свою драму, въ выраженіяхъ, свидѣтельствующихъ о благоговѣйномъ его взглядѣ на сочиненіе знаменитаго историка: „драгоцѣнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностью посвящаетъ Александръ Пушкинъ“.

Другимъ вдохновителемъ поэта былъ Шекспиръ. Пушкинъ принялся за изученіе великаго англійскаго драматурга послѣ того, какъ стало ослабѣвать вліяніе на него Байрона. Это изученіе играло великую роль въ его развитіи. По справедливому замѣчанію одного современнаго поэта, Пушкинъ научился у Шекспира творчеству, искусству; дѣйствительно, только послѣ близкаго знакомства съ Шекспиромъ у нашего поэта стали являться вполнѣ художественно созданные характеры: до того времени у него были лишь намеки на характеры и типы.—Какъ серьезно Пушкинъ изучалъ Шекспира и какъ глубоко понималъ, объ этомъ свидѣтельствуютъ дошедшія до насъ замѣтки его о великомъ писателѣ, о его творчествѣ, о лицахъ его трагедій и ихъ характерахъ.—Пушкинъ сравнивалъ Шекспира съ Байрономъ и Мольеромъ, и это сравненіе привело его къ заключеніямъ, очень важнымъ, и для него лично, и впослѣдствіи для русской литературы вообще.

„Что за человѣкъ Шекспиръ! (писалъ поэтъ изъ Михайловскаго въ 1825 г.). Я не могу придти въ еебя отъ изумленія. Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, Байронъ, во всю свою жизнь понявшій только одинъ характеръ—именно свой собственный... И вотъ Байронъ одному лицу далъ свою гордость, другому ненависть, третьему меланхолическую настроенность; такимъ образомъ изъ одного полнаго, мрачнаго и энергическаго характера вышло у него множество незначительныхъ характеровъ. Развѣ это трагедія? Существуетъ и еще заблужденіе. Придумавъ разъ какой-нибудь характеръ, писатель старается высказать его и въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ на подобіе моряковъ и педантовъ въ старыхъ романахъ Фильдинга. Злодѣй говоритъ: дайте мнѣ пить, какъ злодѣй,—а это смѣшно. Вспомните Байронова Озлобленнаго: Ha pagato! (онъ заплатилъ!) Это однообразіе, этотъ придуманный лаконизмъ и безпрерывная ярость - все это далеко отъ природы. Отсюда не-

ловкость разговора и бѣдность его. Но разверните Шекспира. Никогда не выдастъ онъ своего дѣйствующаго лица преждевременно. Оно говоритъ у него со всею беззаботностію жизни, потому что въ данную минуту, въ настоящее время поэтъ уже знаетъ, какъ заставить его говорить, сообразно характеру, имъ выражаемому" [1]).

Нельзя не признать этой параллели между двумя великими поэтами геніально-остроумной и удивительно вѣрной. Такова-же и параллель между Шекспиромъ и Мольеромъ.

„Лица, созданныя Шекспиромъ (пишетъ Пушкинъ) не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой—скупъ—и только; у Шекспира Шейлокъ скупъ, смѣтливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера лицемѣръ волочится за женою своего благодѣтеля лицемѣря; принимаетъ имѣніе подъ храненіе лицемѣря; спрашиваетъ стаканъ воды лицемѣря. У Шекспира лицемѣръ произноситъ судебный приговоръ съ тщеславною строгостію, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленнымъ сужденіемъ государственнаго человѣка; онъ обольщаетъ невинность сильными, увлекательными софизмами, не смѣшною смѣсью набожности и волокитства. Анджело лицемѣръ, потому что его гласныя дѣйствія противорѣчатъ тайнымъ страстямъ. А какая глубина въ этомъ характерѣ!" [2]).

Оцѣнивая отдѣльные драмы и типы великаго англійскаго поэта, Пушкинъ находилъ, что

„нигдѣ, можетъ быть, многосторонній геній Шекспира не отразился съ такимъ многообразіемъ, какъ въ Фальстафѣ, коего пороки, одинъ съ другимъ связанные, составляютъ забавную, уродливую цѣпь, подобную древней вакханаліи. Разбирая характеръ Фальстафа, мы видимъ (писалъ Пушкинъ), что главная черта его есть сластолюбіе; смолоду, вѣроятно, грубое, дешевое волокитство было

---

[1]) Соч. т. V, стр. 80 (на фр. яз.). Переводъ въ Матер. г. Анненк., стр. 128—129.

[2]) Соч. изд. 1869 г, т. IV, стр. 399—400.

первою для него заботою; но ему уже за пятьдесятъ. Онъ растолстѣлъ, одряхъ; обжорство и вино взяли верхъ надъ Венерою. Во-вторыхъ, онъ трусъ; но проведя жизнь съ молодыми повѣсами, поминутно подверженный ихъ насмѣшкамъ и проказамъ, онъ прикрываетъ свою трусость дерзостью уклончивой и насмѣшливой; онъ хвастливъ по привычкѣ и по разсчету. Фальстафъ совсѣмъ не глупъ, напротивъ; онъ имѣетъ и нѣкоторыя привычки человѣка, нерѣдко видавшаго хорошее общество. Правилъ нѣтъ у него никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему нужно крѣпкое испанское вино (the sack), жирный обѣдъ и деньги для своихъ любовницъ; чтобы достать ихъ, онъ готовъ на все, только-бы не на явную опасность" [1]).

Была у Пушкина еще критическая статья о драмѣ „Ромео и Джульета"; къ сожалѣнію, отъ нея сохранился только отрывокъ, который былъ напечатанъ въ „Сѣверныхъ цвѣтахъ" на 1830 г., вмѣстѣ съ переводомъ неизвѣстнаго автора части Шекспировой драмы. Пушкинъ высказываетъ здѣсь убѣжденіе, что трагедія эта не приписана Шекспиру, а есть его сочиненіе, потому что она „явно входитъ въ его драматическую систему" и носитъ на себѣ много „слѣдовъ вольной и широкой его кисти". Поэтъ прекрасно и остроумно подмѣтилъ, что въ драмѣ отразилась современная Шекспиру Италія, „съ ея климатомъ, страстями, праздниками, нѣгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и concetti". Замѣчательнѣйшимъ лицемъ въ трагедіи, послѣ Ромео и Джульеты, Пушкинъ считалъ Меркутіо, „молодаго кавалера того времени, изысканнаго, привязчиваго, благороднаго", избраннаго Шекспиромъ въ представители итальянцевъ, „бывшихъ моднымъ народомъ Европы, французами XVI вѣка" [2]).

Иногда Пушкинъ, какъ извѣстно, мимоходомъ, въ двухъ словахъ высказывалъ, какъ-бы бросалъ, мысль, оказавшуюся потомъ очень глубокой. Къ числу такихъ мыслей относится его замѣчаніе объ одномъ изъ главнѣйшихъ типовъ Шекспира — Отелло:

---

[1]) Тамъ-же, стр. 400.

[2]) Соч. изд. 1881 г. т. V, стр. 73.

„Отелло отъ природы не ревнивъ; напротивъ, онъ довѣрчивъ“ [1]).

Всю важность и все глубокомысліе этого мнѣнія, могущаго показаться сразу парадоксальнымъ, прекрасно разъяснилъ Достоевскій въ своихъ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Разъясненіе это состоитъ въ развитіи мысли Пушкина и подтвержденіи ея разными соображеніями. „У Отелло (говоритъ знаменитый романтистъ) [2]) просто разможжена душа и помутилось все міровоззрѣніе его, потому что погибъ его идеалъ. Но Отелло не станетъ прятаться, шпіонить, подглядывать: онъ довѣрчивъ. Напротивъ, его надо было наводить, наталкивать, разжигать съ чрезвычайными усиліями, чтобъ онъ только догадался объ измѣнѣ. Не таковъ истый ревнивецъ. Невозможно даже представить себѣ всего позора и нравственнаго паденія, съ которыми способенъ ужиться ревнивецъ безо всякихъ угрызеній совѣсти. И вѣдь не то, чтобъ это были все пошлыя и грязныя души. Напротивъ, съ сердцемъ высокимъ, съ любовью чистою, полною самопожертвованія, можно въ то-же время прятаться подъ столы, подкупать подлѣйшихъ людей и уживаться съ самою скверною грязью шпіонства и подслушиванія. Отелло не могъ-бы ни за что примириться съ измѣной, — не простить не могъ-бы, а примириться, — хотя душа его незлоблива и невинна, какъ душа младенца. Не то съ настоящимъ ревнивцемъ: трудно представить себѣ, съ чѣмъ можетъ ужиться и примириться и что́ можетъ простить иной ревнивецъ! Ревнивцы-то скорѣе всѣхъ и прощаютъ“.

Изученіе Шекспира такъ сильно, такъ жизненно повліяло на душу Пушкина, что поэтъ нашъ сталъ даже вносить его міросозерцаніе въ свою жизнь, обсуждать явленія дѣйствительности съ точки зрѣнія его поэзіи. Напримѣръ, по поводу событія 14-го декабря 1825 года онъ писалъ Дельвигу:

„Не будемъ ни суевѣрны, ни односторонни, какъ французскіе трагики; но взглянемъ на трагедію взглядомъ Шекспира“ [3]).

---

[1]) Соч. т. V, стр. 57.

[2]) „Русск. Вѣстн.“ 1879 г., октябрь, стр. 694—695. Отд. изд. „Братьевъ Карамазовыхъ“, 1881 г., т. II, ч. 3, стр. 88—89.

[3]) Пушкинъ въ Алекс. эпоху, г. Анненкова, стр. 314.

Нѣсколько ранѣе, въ исходѣ ноября 1825 года, когда умеръ императоръ Александръ, и Пушкинъ, думая, что на престолъ взойдетъ Константинъ Павловичъ, сочувственно привѣтствовалъ это предполагаемое событіе въ письмѣ къ П. А. Катенину онъ выразился про великаго князя: „Бурная его молодость напоминаетъ Генриха V". (Едва-ли можно сомнѣваться, что Пушкинъ разумѣлъ здѣсь именно Шекспировскаго Генриха V, который является въ хроникахъ великаго англійскаго поэта такой симпатичной личностью).

Г. Анненковъ предполагаетъ, что близкое знакомство съ Шекспиромъ было благотворно для Пушкина еще въ одномъ отношеніи: оно „укоротило дорогу поэту для сближенія съ русскимъ народнымъ духомъ, съ пріемами народнаго творчества и мышленія", потому что „національные элементы" играли большую роль воспитаніи въ фантазіи и мысли Шекспира, и трудно, и зучая его, не замѣтить этого. Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ г. Анненкова, но только не должно забывать, что съ „національными элементами" Пушкинъ знакомился прежде всего непосредственно, въ реальной дѣйствительности, главнымъ образомъ при помощи Арины Родіоновны, и умалять значеніе этой няни въ развитіи его характера и творчества отнюдь нельзя и не должно (какъ это хотѣлъ сдѣлать біографъ великаго поэта, забывая, что непосредственныя впечатлѣнія жизни сильнѣе какихъ-бы то ни было книжныхъ).

Кромѣ историческихъ воззрѣній Карамзина и поэтическихъ пріемовъ Шекспира въ изображеніи характеровъ, еще одинъ элементъ долженъ былъ, по мысли Пушкина, лечь въ основу его драмы,—это наши лѣтописи. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, какія именно лѣтописи были въ рукахъ поэта. Но на-сколько онъ проникъ въ духъ ихъ, это можно видѣть, напримѣръ, изъ его объясненія характера Пимена:

„Характеръ Пимена не есть мое изобрѣтеніе (говоритъ поэтъ въ одномъ письмѣ). Въ немъ собралъ я черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ; умилительная кротость, младенческое и вмѣстѣ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности дышатъ въ сихъ драгоцѣнныхъ памятникахъ временъ давно минувшихъ, между коими озлобленная лѣтопись князя Курбскаго отличается отъ про-

чихъ лѣтописей, какъ бурная жизнь Іоаннова изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ иноковъ“ [1]).

„Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“, очень близко передающая разсказъ „Повѣсти временныхъ лѣтъ“, показываетъ, что Пушкинъ былъ близко знакомъ съ первоначальною лѣтописью.

На этихъ основахъ, на изученіи творчества Шекспира, историческихъ воззрѣній Карамзина и міросозерцанія нашихъ лѣтописцевъ, создалъ Пушкинъ своего „Бориса Годунова“. Но глубоко ошибется тотъ, кто подумаетъ, что трагедія эта—произведеніе подражательное: въ ней мы видимъ вполнѣ-художественно очерченные характеры, отъ нея вѣетъ духомъ времени, духомъ древней Руси. Карамзину Пушкинъ слѣдовалъ только въ фактической сторонѣ своей пьесы, да (по его прекрасному выраженію) „въ свѣтломъ развитіи происшествій“; а характеръ героя драмы, Бориса, онъ нарисовалъ совершенно самобытно. Если Бѣлинскій называлъ Пушкинскаго Бориса „мелодраматическимъ злодѣемъ“, сочиненнымъ по Карамзину, то это доказываетъ только, что великій критикъ нашъ не ясно понималъ народныя начала; онъ произнесъ подобный приговоръ по той-же причинѣ, по которой не цѣнилъ никогда сказокъ Пушкина и прозаическихъ его повѣстей. Можетъ быть, Пушкинскій Борисъ не совсѣмъ вѣренъ исторіи фактической (и въ этомъ виноватъ не поэтъ, а Карамзинъ, если здѣсь есть вина); но что Борисъ — лице совершенно живое въ художественномъ смыслѣ, что трагедія вѣрна духу древней русской жизни,—это не подлежитъ и не должно подлежать никакому сомнѣнію. Самъ Пушкинъ чувствовалъ и сознавалъ; въ одномъ французскомъ письмѣ 1825 года онъ говоритъ про свое произведеніе:

„Вы спросите... трагедія-ли это только съ характерами, или трагедія съ исторической вѣрностью (de costume). Я избралъ легчайшій путь, но старался соединить оба эти рода. Я пишу и вмѣстѣ думаю. Большая часть сценъ требовала только обсужденія. Когда приходилъ я къ сценѣ, требовавшей уже вдохновенія, я или пережидалъ, или просто перескакивалъ черезъ нее. Этотъ способъ работать для

---

[1]) Матер. г. Анненк., стр. 138.—Соч. т. V, стр. 82.

16*

меня совершенно новъ. Я знаю, что силы мои развились совершенно и чувствую, что могу творить“ [1]).

И поэтъ правъ,—въ драмѣ его мы видимъ настоящее творчество.

Характеръ Бориса задуманъ глубоко. Это—человѣкъ простой и добрый по основамъ души своей, человѣкъ съ кроткимъ сердцемъ и здравымъ смысломъ; но въ добрую и спокойную душу его забралась тревожная страсть, властолюбіе; эта страсть потрясла душу, взволновала ее до сокровенной глубины и внесла въ нее адскую муку. Драматизмъ личности Бориса состоитъ въ противорѣчіи этой страсти съ общимъ мирнымъ строемъ духа.—Борисъ—семьянинъ и нѣжный, любящій отецъ; теплотою русскаго семейнаго чувства вѣетъ отъ сцены бесѣды его съ дѣтьми: онъ сострадаетъ горю своей дочери, оплачивающей жениха:

Что, Ксенія? что, милая моя?
Въ невѣстахъ ужь печальная вдовица!
Все плачешь ты о мертвомъ женихѣ.
Дитя мое, судьба мнѣ не судила
Виновникомъ быть вашего блаженства.

Онъ ласково толкуетъ съ сыномъ объ его учебныхъ занятіяхъ, разспрашиваетъ его, даетъ ему совѣты здраваго смысла:

Учись, мой сынъ: и легче и яснѣе
Державный трудъ ты будешь постигать.

Съ особенною силой выражается любовь его къ Феодору передъ смертью:

Чувствую, мой сынъ, ты мнѣ дороже
Душевнаго спасенія!

говоритъ онъ и, рискуя упустить время для принесенія покаянія и принятія схимы, даетъ наставленія неопытному юношѣ, который долженъ сейчасъ наслѣдовать отъ него власть.—Борисъ хочетъ быть отцомъ своего народа. Онъ не лгалъ, когда, вступая на престолъ, говорилъ боярамъ, что пріемлетъ великую власть „со страхомъ и смиреньемъ“; онъ не лицемѣрилъ, обращаясь съ молитвою къ „ангелуцарю“, прося его благословенія и обѣщая быть „благимъ и праведнымъ“: онъ дѣйствительно хотѣлъ

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 129.

свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать.

Умный человѣкъ, самъ недостаточно образованный [1]), но здраво понимающій пользу образованія, онъ учитъ серьезно наслѣдника престола. Онъ хочетъ уничтожить „гибельный обычай“ мѣстничества, презрѣвши ропотъ бояръ, ропотъ „знатной черни“; онъ говоритъ Басманову, посылая его начальствовать надъ войскомъ:

Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы.

Простою душой своей онъ понимаетъ всю суету земнаго величія, блеска и власти; онъ ясно сознаетъ, что

ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить,

кромѣ совѣсти—

здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою...

Но вотъ именно этого-то спокойствія совѣсти, которое одно, по его задушевнѣйшему убѣжденію, даетъ человѣку истинное счастье, „у него и нѣтъ. Чуждая его природѣ, тревожная страсть, ворвавшаяся въ душу и овладѣвшая ею, довела его до преступленія и на-вѣки отравила его жизнь. — Человѣкъ прямой, Борисъ начинаетъ хитрить, притворяется жаждущимъ покоя кельи и далекимъ отъ мысли о власти, ради которой пролита имъ „кровь царевича-младенца“.—Простой и спокойный, онъ теряется, дѣлается мнительнымъ, начинаетъ всюду подозрѣвать измѣну, разсылаетъ шпіоновъ, подкупаетъ боярскихъ слугъ и, роняя достоинство своей власти,

досужею порою
Доносчиковъ допрашиваетъ самъ.

Умный, онъ становится суевѣрнымъ и вопреки трезвому взгляду своему на жизнь довѣряется колдунамъ и ворожеямъ; бесѣда съ ними дѣлается его „любимой бесѣдой“,

---

[1]) Онъ, напр., не знакомъ съ географической картой и спрашиваетъ сына про Волгу „А это что узоромъ здѣсь віется?“

онъ гадаетъ, какъ „красная невѣста", желая узнать—долго-ли и безмятежно-ли предстоитъ ему царствовать. — Расположенный сердцемъ къ народу, онъ перестаетъ вѣрить ему, и съ злобой и сомнѣніемъ говоритъ про народъ:

Твори добро—не скажетъ онъ спасибо
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Добрый, онъ рѣшается на казни, и чѣмъ далѣе, тѣмъ суровѣе и суровѣе расправляется съ боярами; рѣжутся языки и головы, людей тихо и тайно давятъ въ тюрьмахъ; и тотъ, кто хотѣлъ быть благимъ, и справедливымъ, воскрешаетъ времена Грознаго и самъ, наконецъ, доходитъ до сознанія сходства своего съ умершимъ царемъ-кровопійцею, съ тою лишь невыгодной для него разницей, что тотъ казнилъ явно и открыто, на площади, а не тайно. — Цѣлый рядъ страшныхъ противорѣчій! — Разъ ступивъ на дорогу преступленій, Борисъ какъ по наклонной плоскости все быстрѣе и быстрѣе опускается, вопреки своей волѣ, въ пучину зла.—

Энергія не свойственна его характеру; но душа его была сильна когда-то своей цѣльностью; страсть внесла въ нее раздвоеніе, и Борисъ не въ силахъ сладить ни съ этой страстью, ни съ муками совѣсти, и изнемогаетъ подъ ихъ гнетомъ. Тринадцать лѣтъ сряду, съ самой минуты преступленія снится ему „убитое дитя". Сначала онъ таилъ въ себѣ свои мученія; но когда начались грозныя для него событія, онъ теряется. Онъ выдаетъ себя Шуйскому, когда тотъ сообщилъ ему о появленіи самозванца, принявшаго имя Дмитрія: онъ то спрашиваетъ боярина, зачѣмъ тотъ не смѣется „затѣйливой" вѣсти, то грозитъ страшной казнію за обманъ и умоляетъ открыть истину—дѣйствительно-ли умеръ царевичъ,—къ прежнимъ мукамъ присоединяются муки сомнѣнія; царю становится не подъ-силу тяжкой цѣною купленная власть:

Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!

Вскорѣ невольно раскрываетъ онъ душу и передъ всѣми боярами: при разсказѣ патріарха о чудѣ на могилѣ царевича онъ то блѣднѣетъ, то краснѣетъ, и обливается холоднымъ потомъ. Не владѣя собою, онъ вдругъ, неожиданно останавливаетъ совѣщанія Думы, и уходитъ въ свои покои, *прося* патріарха придти къ нему:

Владыко патріархъ,

. . . .

Сегодня мнѣ нужна твоя бесѣда.

Внутреннія муки раздвоенія и упрековъ совѣсти и доводятъ наконецъ царя до смерти: тѣло не выдерживаетъ душевныхъ страданій.—Но онъ много вынесъ за свое преступленіе,—и есть что-то примирительное и умиленное въ предсмертной сценѣ, когда, готовый черезъ нѣсколько мгновеній предстать на судъ Божій, въ послѣдній разъ бесѣдуетъ онъ съ сыномъ и даетъ ему послѣднія наставленія. Теплой любовью къ Феодору и твердою искренней вѣрой дышатъ слова:

Богъ великъ! Онъ умудряетъ юность,
Онъ слабости даруетъ силу...

Разумны его наставленія сыну—какъ править царствомъ; чѣмъ-то добрымъ отзывается его совѣтъ будущему царю—отмѣнить опалы и казни, и прекрасны возвышенно-нравственныя слова:

Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ наслажденьяхъ
Въ младые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ
И умъ его безвременно темнѣетъ.

Грѣшная и измученная душа Бориса свершила свое земное поприще, идетъ на Божій судъ, и поэтъ кончаетъ жизнь героя своей трагедіи сценой, которая не оставляетъ въ душѣ нашей ничего томящаго и злобнаго; поэтъ не взялъ на себя произнесеніе приговора надъ Борисомъ: объективный художникъ и теплый сердцемъ человѣкъ, онъ безпристрастно и гуманно отнесся къ своему герою.

Посмотримъ—таковъ ли Борисъ у Карамзина, какъ у Пушкина.—„Исторія Государства Россійскаго“ несомнѣнно отличается художественностью, и нѣкоторыя личности обрисованы въ ней такъ, что ихъ можно назвать живыми; но къ числу таковыхъ Годуновъ не принадлежитъ. Въ его образѣ у Карамзина есть внутреннія, духовныя противорѣчія, есть даже мелодраматизмъ.—Историкъ не разъясняетъ—насколько Годуновъ былъ искрененъ, насколько лицемѣрилъ.

Повѣствуя о томъ, какъ онъ чрезъ своихъ клевретовъ склонялъ народъ къ избранію, историкъ говоритъ: „обѣщали и грозили, шепотомъ и громогласно доказывали, что спасеніе Россіи нераздѣльно съ властію правителя... Борису видъ единогласнаго свободнаго избранія казался нужнымъ“ [1]); но, „неутомимый въ лицемѣріи“, онъ однако „увѣрялъ, что не желаетъ быть царемъ“ [2]). Карамзинъ называетъ избраніе Годунова „великимъ ѳеатральнымъ дѣйствіемъ“ [3]). И въ тоже время мы встрѣчаемъ въ его исторіи такого рода разсказъ: когда патріархъ пришелъ къ бывшему правителю съ крестнымъ ходомъ, съ иконою Владимірской Божіей Матери, Годуновъ „обливался слезами и воскликнулъ: о, Мать Божія! что виною Твоего подвига? Сохрани, сохрани меня подъ сѣнію Твоего крова“ [4]).—Здѣсь—или противорѣчіе въ душѣ Бориса, или онъ изображенъ ужь слишкомъ искуснымъ актеромъ. Ни того, ни другаго нѣтъ въ Борисѣ пушкинскомъ: въ драмѣ народъ непобуждаютъ обманами и угрозами выбрать царя, и Борисъ не обливается лицемѣрными слезами.

Годуновъ Пушкина, это спокойный, простодушный, ровный по характеру и дѣйствіямъ человѣкъ. У Карамзина—онъ личность съ рѣзкими противоположностями въ нравѣ, съ рѣзкими переходами въ образѣ дѣйствій, не такимъ кажущійся, каковъ на самомъ дѣлѣ. Напр. услышавъ, что самозванецъ принялъ на себя имя Дмитрія, онъ устрашился, „но чѣмъ болѣе устрашился, тѣмъ болѣе хотѣлъ казаться безстрашнымъ [5])“. Борисъ Пушкина—не сильный характеръ, сразу сломившійся, а человѣкъ постепенно изнемогающій духомъ, для котораго послѣдній ударъ—извѣстіе о самозванцѣ—былъ лишь послѣднею каплей, переполнившей чашу. У Карамзина напротивъ—„онъ усильно противоборствовалъ бѣдственнымъ случаямъ твердостію духа, чтобы вдругъ оказать себя слабымъ и какъ-бы безпомощнымъ въ послѣднемъ явленіи своей судьбы чудесной“ [6]).

---

[1]) Исторія Государства Россійскаго, издан. 4. А. Смирдина. Спб. 1831—1835 г. т. X, гл. III, стр. 206.

[2]) Тамъ-же, глава I, стр. 6. [3]) Тамъ-же, гл. III, стр. 211. [4]) Тамъ-же, стр. 217. [5]) Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 156—157. [6]) Тамъ-же, гл. I, *стр. 100.*

Пушкинъ отступаетъ отъ Карамзина даже въ фактахъ, можетъ быть въ ущербъ реальной исторической истинѣ, но въ пользу цѣльности, художественности образа. Такъ, въ молитвѣ за царя, которую всѣ должны были читать по распоряженію Бориса, Пушкинъ пропускаетъ прошеніе: „чтобы всѣ иные властители уклонялись и рабски служили ему“ [1]).— Пушкинъ выдвигаетъ на первый планъ то обстоятельство, что Борисъ не поблажалъ аристократическимъ наклонностямъ бояръ, и пропускаетъ разсказъ Карамзина, что Борисъ издалъ (въ Феодорово царствованіе) „законъ, единственно въ угодность знатному дворянству, объ укрѣпленіи всѣхъ людей, служащихъ господамъ не менѣе шести мѣсяцевъ“ [2]). Но, не совсѣмъ вѣрный исторіи фактически, Борисъ Пушкина (какъ это ни странно можетъ показаться съ перваго взгляда)—болѣе вѣренъ духу русской жизни, потому что онъ болѣе русскій и болѣе живой человѣкъ, чѣмъ Борисъ Карамзина.

Есть, впрочемъ, въ „Исторіи Государства Россійскаго“ одно мѣсто, гдѣ характеръ Бориса является близкимъ къ тому, какимъ мы знаемъ его въ драмѣ Пушкина. „Но время приближалось (говоритъ историкъ), когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда въ Европѣ за свою разумную политику, любовь къ просвѣщенію, ревность быть истиннымъ отцемъ отечества, наконецъ за благонравіе въ жизни общественной и семейственной, долженъ былъ вкусить горькій плодъ беззаконія и сдѣлаться одною изъ удивительныхъ жертвъ суда небеснаго. Предтечами были внутреннее безпокойство Борисова сердца и разные бѣдственные случаи“ [3]).—Но Карамзинъ не выдержалъ въ своемъ разсказѣ нравственнаго образа Бориса, на который намекнулъ въ этихъ словахъ. Пушкинъ-же развилъ изъ намека историка полный и цѣльный типъ, психологически вѣрно основавши притомъ гибель Бориса на одномъ только „внутреннемъ безпокойствѣ сердца“, помимо непосредственнаго дѣйствія внѣшнихъ событій (въ чемъ отступилъ отъ Карамзина).

---

[1]) Тамъ-же, гл. II, стр. 103. [2]) Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 128. [3]) Тамъ-же, гл. I, стр. 99—100.

И отношенія Пушкина къ своему герою совсѣмъ иныя, чѣмъ отношенія къ Годунову автора „Исторіи Государства Россійскаго“. Пушкинъ совершенно объективенъ и безпристрастенъ въ своей драмѣ, какъ Шекспиръ. Карамзинъ негодуетъ на Бориса и упрекаетъ его. Изложивъ предписанную царемъ молитву, историкъ говоритъ: „таинственное сношеніе съ небомъ Борисъ дерзнулъ осквернить своимъ тщеславіемъ и лицемѣріемъ, заставивъ народъ свидѣтельствовать предъ Окомъ Всевидящимъ о добродѣтеляхъ убійцы, губителя и хищника!“ [1]).

Если въ чемъ Пушкинъ слѣдовалъ Карамзину, такъ это въ содержаніи своей драмы, въ „развитіи ея происшествій“ (какъ онъ самъ указалъ). — Въ предисловіи къ рукописи „Бориса Годунова“, представленной поэтомъ въ 1826 году императору Николаю Павловичу, говорится:

„Въ сей пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго, это отдѣльныя сцены, или, лучше сказать, отрывки изъ X и XI тома „Исторіи Государства Россійскаго“, сочиненіе Карамзина, передѣланные въ разговоры и сцены . . . .

Почти каждая сцена составлена изъ событій, упомянутыхъ въ исторіи, исключаясцены самозванца въ корчмѣ на литовской границѣ, сцены юродиваго и свиданія самозванца съ Мариною“ [2]).

Кромѣ мысли, будто „въ пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго“, все остальное въ этихъ словахъ очень близко къ истинѣ: Пушкинъ слѣдуетъ въ драмѣ разсказу историка, иной разъ почти дословно передавая его повѣствованіе, лишь облекши его въ свои чудные стихи, иной разъ только передѣлывая обстановку. Такъ, напр., слова князя Воротынскаго въ первой сценѣ драмы:

Мѣсяцъ ужь протекъ,
Какъ затворясь въ монастырѣ съ сестрою,
Онъ, кажется, покинулъ все мірское—

—прямой пересказъ словъ Карамзина: Борисъ „заключился въ монастырѣ съ сестрою..... казалось..... онъ отвергнулъ міръ [3])“.—Рѣчь дьяка Щелкалова къ народу въ сценѣ „Красная площадь“ по выраженіямъ, по общему порядку мыслей

---

[1]) Тамъ-же, гл. II, стр. 104.
[2]) Рус. Стар. 1880 г., янв., стр. 139.
[3]) *Ист.* Гос. Рос. т. X, гл. III, стр. 207.

очень близка къ разсказу историка.—Еще примѣръ: Карамзинъ повѣствуетъ, что Борисъ для предупрежденія злыхъ умысловъ „возстановилъ бѣдственную Іоаннову систему доносовъ"; всѣ безмолвствовали, но „въ тихихъ бесѣдахъ дружества неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его душегубствомъ, гоненіемъ людей знаменитыхъ [1])". Пушкинъ. слѣдуя за историкомъ, представляетъ намъ въ драмѣ такую „тихую бесѣду дружества" между бояриномъ Пушкинымъ и кн. Шуйскимъ, послѣ пира у послѣдняго; и объ этой бесѣдѣ слуги на слѣдующее утро доносятъ Семену Годунову.—Карамзинъ удачно выразился: „какъ-бы дѣйствіемъ сверхъестественнымъ тѣнь Дмитріева вышла изъ гроба, чтобы ужасомъ поразить, обезумить убійцу и привести въ смятеніе всю Россію [2])". Пушкинъ пользуется этимъ выраженіемъ—и влагаетъ въ уста своему герою слова:

Но кто-же онъ, мой грозный супостатъ?
Кто на меня? Пустое имя, тѣнь,—
Ужели тѣнь сорветъ съ меня порфиру?

Высоко-поэтическій стихъ—обращеніе Бориса къ дочери:

Въ невѣстахъ ужь печальная вдовица

тоже основанъ на словахъ Карамзина: „Борисъ крушился тогда безъ лицемѣрія, и чувствовалъ, можетъ быть, казнь небесную въ совѣсти, готовивъ счастье для милой дочери и видя ее вдовою въ невѣстахъ" [3]).

Примѣровъ сходства сценъ драмы Пушкина съ повѣствованіемъ Карамзина можно привести еще много. — Но по готовой канвѣ поэтъ вышилъ свои собственные, чудные и самобытные узоры.

„Шекспиру подражалъ я въ вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ", говоритъ Пушкинъ. И дѣйствительно, въ „Борисѣ Годуновѣ" много шекспировскаго. Сравнивая его внимательно съ произведеніями великаго англійскаго драматурга, мы найдемъ даже, что, создавая своего Бориса, Пушкинъ имѣлъ въ-виду не только вообще типы Шекспира, но именно опредѣленные образы его творчества. Эти образы—Ричардъ III и Макбетъ.

[1]) Тамъ-же, т. XI, гл. II, стр. 105, 119.
[2]) Тамъ-же, стр. 135.
[3]) Тамъ-же, гл. I, стр. 33.

Быть можетъ то обстоятельство, что Годуновъ Карамзина напоминаетъ порой искуснаго актера, умѣющаго скрывать происходящее у него въ душѣ, навело Пушкина на идею сблизить задуманный имъ образъ героя драмы съ Ричардомъ III. — Ричардъ Шекспира — художественная натура, актеръ, безукоризненно хорошо разыгрывающій всякія роли: и простодушнаго, и влюбленнаго, и великодушнаго. Кромѣ доблести, смѣлости, отваги, есть нѣчто привлекательное и въ художественной силѣ этого безнравственнаго человѣка: лицемѣрный артистъ, онъ увлекается самъ своей игрою почти до самозабвенія, такъ что его притворство порою близко подходитъ къ истинѣ. Кажется, на этой чертѣ характера хотѣлъ Пушкинъ первоначально основать очеркъ своего Бориса. На это сближеніе наводило его также сходство въ обстоятельствахъ жизни и въ дѣйствіяхъ Ричарда и Годунова. Оба они — убійцы, черезъ своихъ клевретовъ, отрока — наслѣдника престола; обоихъ ихъ народъ избираетъ въ цари, потому что оба они выдаются изъ среды вельможъ своимъ умомъ. Должно замѣтить еще, что обстоятельства избранія Ричарда III у Шекспира очень близко подходятъ къ разсказу Карамзина о томъ, какъ заставляли народъ обманомъ и угрозами просить Годунова вступить на престолъ. Какъ Борисъ затворился въ монастырѣ и, предавшись молитвѣ, не хочетъ внимать просьбамъ народа, такъ и Ричардъ въ трагедіи лицемѣрно не хочетъ выйти къ народу изъ своего замка; а появившись, наконецъ, къ своимъ избирателямъ, говоритъ:

О горе мнѣ! зачѣмъ заботъ такихъ
Всю груду вы мнѣ валите на плечи?
Я не гожусь для царскаго величья.
Не оскорбляйтеся, я васъ прошу:
Я не могу, не въ силахъ уступить вамъ [1]).

Что образъ Ричарда Пушкинъ думалъ избрать себѣ въ руководители при созданіи характера своего Бориса, на это кромѣ общихъ соображеній, указываютъ и нѣкоторыя част-

---

[1]) Шекспиръ въ переводѣ русскихъ поэтовъ. Изд. Н. Некрасова и Гербеля. Т. III, Спб. 1867 г. „Король Ричардъ III“, пер. Дружинина, стр. 255.

ныя данныя, нѣкоторое сходство въ положеніяхъ и словахъ Ричарда и Бориса нашего поэта.

Богъ видитъ — и вы видѣли теперь,
Какъ я далекъ отъ всякой жажды власти!

говоритъ герцогъ Глостеръ избравшему его народу.

Вы видѣли, что я пріемлю власть
Великую со страхомъ и смиреньемъ,

говоритъ Борисъ боярамъ.

Бориса въ драмѣ мучитъ образъ убитаго царевича: тринадцать лѣтъ сряду все снится ему „убитое дитя". Такъ и Ричарду, въ ночь передъ послѣдней битвой съ Генрихомъ, на Босвортской равнинѣ, являются тѣни убитыхъ имъ, и между прочими тѣни Эдварда, принца валлійскаго, и брата его, Ричарда, герцога Іоркскаго. Тѣни грозятъ ему. Взволнованный грезами, Ричардъ просыпается и вскакиваетъ съ постели:

Смѣнить коня! Перевяжите раны!

(кричитъ онъ)

Умилосердись, Іисусе!.. Тссс!
Все это сонъ. Ты, совѣсть, жалкій трусъ,
Мучитель мой! Гдѣ я? Глухая полночь,
Огонь блеститъ какимъ-то синимъ свѣтомъ.
Дрожу я, все въ холодныхъ капляхъ тѣло.
Мнѣ страшно. Но чего-же? Я одинъ.
Я Ричарда люблю и Ричардъ другъ мнѣ.
Я — тотъ-же я. Здѣсь нѣтъ убійцы. Нѣтъ,
Здѣсь есть убійца. Да, убійца — я!
Бѣжать мнѣ? Отъ кого-же? отъ себя?
И отчего бѣжать? отъ мщенья что-ли?
Кто-же будетъ мстить?..
. . . .
Сто языковъ у совѣсти моей,
И каждый мнѣ твердитъ по сотнѣ сказокъ,
И въ каждой сказкѣ извергомъ зоветъ.
. . . . Никто
Изъ всѣхъ людей любить меня не можетъ [1]).

Кажется, нельзя сомнѣваться, что этотъ монологъ повліялъ на монологъ Бориса въ сценѣ „Царскія палаты"; Борисъ сокрушается, что народъ не любитъ его, и оканчиваетъ свои думы словами, что одна только совѣсть можетъ успокоить человѣка:

---

[1]) Тамъ-же, стр. 274.

Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелося,—
Тогда бѣда: когда язвой моровой
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не чиста!

Даже нѣкоторая напряженность и высокопарность рѣчи Бориса(здѣсь единственный случай въ драмѣ Пушкина) напоминаетъ гиперболическій и страстный языкъ Шекспира. Монологъ Ричарда можетъ быть отразился и на другихъ словахъ Бориса, въ сценѣ, гдѣ Шуйскій сообщаетъ ему о появленіи самозванца; по уходѣ боярина царь говоритъ:

Я чувствовалъ,—вся кровь моя въ лице
Мнѣ кинулась, и тяжко опускалась.

Онъ вспоминаетъ про то, что снился ему много лѣтъ царевичъ, задаетъ себѣ вопросъ — неужели тѣнь лишитъ его престола, звукъ отниметъ наслѣдство у дѣтей его!

Безумецъ я! чего-жь я испугался?
На призракъ сей подуй,—и нѣтъ его.
Такъ, рѣшено, не окажу я страха!
Но—презирать не должно ничего

Въ приведенныхъ чертахъ драмы Пушкина выразилось сходство его Бориса съ Ричардомъ III Шекспира; но это сходство не столько характеровъ, сколько положеній. И это почувствовалъ самъ поэтъ, еще тогда, конечно, когда герой драмы жилъ лишь въ его творческомъ замыслѣ; онъ понялъ, что въ Борисѣ не можетъ быть ни энергіи Ричарда, ни его демонской злобы и эгоизма. И вниманіе Пушкина остановилось на другомъ образѣ Шекспира—на личности Макбета.

Макбетъ — человѣкъ добродушный, благородный, честный, человѣкъ съ теплымъ сердцемъ и чуткой совѣстью; но онъ безхарактеренъ и властолюбивъ. Его губятъ—слабость воли и страсть къ власти.

Въ твоей душѣ такъ много
Млека любви, что ты не изберешь
Пути кратчайшаго—

говоритъ леди Макбетъ, убѣждая мужа убить короля Дункана.

Въ тебѣ, я знаю,
И гордость есть, и жажда гордой славы,
. Да нѣтъ сопутника ихъ—зла... [1]).

И дѣйствительно, одна мысль объ убійствѣ, мелькнувшая въ головѣ Макбета, приводитъ его въ ужасъ. Онъ никогда не совершилъ-бы преступленія, если-бы былъ въ силахъ противиться вліянію жены. Леди Макбетъ разжигаетъ въ немъ властолюбивые инстинкты, стыдитъ его трусостью,— и, слабый человѣкъ, онъ поддается насмѣшкамъ и упрекамъ. Но, совершивъ убійство, онъ тотчасъ-же изнемогаетъ духомъ, и совѣсть его торжествуетъ надъ злымъ порывомъ; съ этой минуты онъ не можетъ оправиться и овладѣть собою; спокойствіе исчезло для него навсегда, и онъ не въ силахъ даже скрыть душевныхъ мукъ. — Сходный съ Ричардомъ III только своей доблестью, Макбетъ во всемъ остальномъ прямо ему противоположенъ. Ричардъ спокойно совершаетъ злодѣйства, владѣя собою, даже наслаждаясь, какъ артистъ, художественностью выполненія своихъ адскихъ замысловъ; онъ падаетъ подъ ударами проснувшейся совѣсти лишь тогда, когда, послѣ цѣлаго ряда уийствъ, видитъ невозможность торжества для себя. Макбетъ, напротивъ, совершаетъ преступленіе какъ бы противъ воли, предостерегаемый и преслѣдуемый угрызеніями совѣсти; разъ поскользнувшись, онъ растерялся—и летитъ въ пропасть, закрывши глаза.

По общимъ, основнымъ чертамъ своего характера Борисъ Пушкина таковъ-же, какъ Макбетъ. Это, впрочемъ, не давало-бы намъ еще права дѣлать заключеніе о вліяніи Макбета на творчество нашего поэта, если-бы не сходство героевъ двухъ драмъ въ нѣкоторыхъ частныхъ дѣйствіяхъ, душевныхъ движеніяхъ и словахъ.—Совершивъ преступленіе, Борисъ уединяется, чуждается людей; онъ занятъ своими мрачными думами и сокрушается о невозможности душевнаго покоя;—то-же происходитъ и съ Макбетомъ.— И Борисъ, и Макбетъ, оба окружаютъ себя шпіонами, со-

---

[1]) Шекспиръ въ пер. рус. пис. т. I, Спб. 1865 г. „Макбетъ“, пер. Кронеберга стр. 356.

вѣтуются съ колдунами и ворожеями.—Умирая, Борисъ заботится о передачѣ престола сыну, онъ умоляетъ бояръ служить ему вѣрой и правдой; для Бориса было-бы ужасно, если-бы престолъ перешелъ не къ Θеодору. Макбетъ тоже сокрушается сердцемъ при мысли, что его престолъ станетъ достояніемъ чужихъ дѣтей—потомковъ Банко. (Замѣтимъ мимоходомъ, что у бездѣтнаго Макбета эти сокрушенія нѣсколько странны).—Еще характернѣе и ярче сходство въ одной подробности драмъ: Макбетъ грозитъ вѣстнику сообщившему, что Бирнамскій лѣсъ двинулся съ высотъ своихъ на Донзинанъ:

Послушай,—если ты солгалъ—живому
На первомъ деревѣ тебѣ висѣть,
Пока отъ голода ты не подохнешь [1])

Эти слова напоминаютъ угрозы Годунова князю Шуйскому, когда тотъ сообщилъ ему равносильное по значенію, ужасное для него извѣстіе—объ имени, принятомъ самозванцемъ; угрозами страшныхъ мукъ Борисъ хочетъ вырвать изъ устъ Шуйскаго истину о царевичѣ Дмитріѣ.—Наконецъ, можетъ быть на вліяніе трагедіи Шекспира указываетъ и первоначальное намѣреніе Пушкина оставить свою драму безъ любви: въ „Макбетѣ“ любви нѣтъ. Впрочемъ, нашъ поэтъ отступилъ потомъ отъ первоначальнаго плана.

Таковы черты сходства между Борисомъ Пушкина и Макбетомъ Шекспира.—Но между героями двухъ поэтовъ есть и различіе, и притомъ такое, которое исключаетъ всякую мысль о подражаніи и заимствованіи Пушкина.

Прежде всего большая разница въ положеніяхъ Бориса и Макбета. Подлѣ героя Шекспира стоитъ адскій духъ въ образѣ его жены. Борисъ—не подчиняется ни чьему вліянію, онъ самостоятеленъ, и потому тверже характеромъ, чѣмъ Макбетъ.—Затѣмъ, Борисъ — отецъ, нѣжно любящій дѣтей, и должно быть поэтому, между прочимъ, онъ добрѣе и мягче сердцемъ; такъ, умирая онъ завѣщаетъ сыну отмѣнить казни.

Еще существеннѣе разница въ самомъ строѣ характеровъ героевъ двухъ поэтовъ. Въ душѣ Макбета нѣтъ со-

---

[1]) Тамъ-же стр. 383.

всѣмъ гармоніи, нѣтъ согласія душевныхъ силъ, и потому нѣтъ спокойствія. Отдѣльныя стихіи его души, выбравшись на свободу, обособляются и доходятъ до крайнихъ предѣловъ своего развитія. Такъ, воображенію Макбета, напуганному упреками совѣсти, представляются на-яву видѣнія: идя убить Дункана, онъ видитъ въ воздухѣ кинжалъ; по убіеніи Банко ему является тѣнь убитаго, занимая его мѣсто за пиршественнымъ столомъ; пораженный ужасомъ, не владѣя собою и мечтая отстранить отъ себя роковое обвиненіе, онъ безумно говоритъ тѣни:

Меня ты въ этомъ уличить не можешь,
Къ чему кивать мнѣ головой кровавой?
. . . .
Исчезни! Прочь! Пусть гробъ тебя укроетъ [1]).

Борису также является призракъ убитаго Димитрія, но это во-снѣ, а не на-яву. — Увлеченіе страхомъ враговъ и желаніемъ избавиться отъ нихъ развилось у Макбета тоже до крайности: мы видимъ въ немъ до цинизма доходящую жажду убійства; онъ говоритъ убійцѣ Банко:

Ты—лучшій изо всѣхъ головорѣзовъ. Но
Хорошъ и тотъ, кто разсчитался съ Флинсомъ,
И если это ты, такъ ты единственъ [2]).

Въ этихъ словахъ слышится какое-то страстное упоеніе кровью. Такихъ рѣчей у Бориса нѣтъ.—Безгранично развито у Макбета и желаніе знать будущее; онъ готовъ на все, только бы удовлетворить этому эгоистическому желанью: пусть погибнетъ міръ, пусть отъ отвѣта вѣдьмъ подымется ураганъ и разрушитъ церкви, потопитъ суда въ океанѣ, пусть „изсохнетъ жатва на поляхъ“,

пусть въ нѣдра жизни
Проникнетъ смерть и возвратится хаосъ—
Я требую отвѣта на вопросъ!

восклицаетъ онъ. — Страхъ, сомнѣнія, муки совѣсти доводятъ Макбета до отчаянья, въ самомъ ужасномъ смыслѣ этого слова, онъ выходитъ изъ себя и, теряя подъ собою всякую почву, срывается со всѣхъ основъ нравственнаго существованія:

---

[1]) Тамъ-же, стр. 368, 369.
[2]) Тамъ-же, стр. 367.

Я сытъ!
Всѣхъ ужасовъ душа моя полна
И трепетать я не могу [1]).

говоритъ онъ передъ послѣдней битвой. Жизнь тогда начинаетъ представляться ему пустою игрушкой, не стоющей вниманья, мимолетной тѣнью,—

сказка
Въ устахъ глупца, богатая словами
И звономъ фразъ, но нищая значеньемъ! [2]).

Убѣдившись, что спасенья нѣтъ, онъ гибнетъ въ отчаяніи со словами эгоизма, гордости и злобы:

О, если-бъ міръ разрушился со мною!

Какая разница съ пушкинскимъ Борисомъ! Въ Макбетѣ мы видимъ крайнее развитіе обособившихся силъ и стремленій человѣческаго духа. Въ отсутствіи между ними гармоніи, въ отсутствіи связующаго единства—въ немъ сказался человѣкъ Запада. — Борисъ Пушкина — человѣкъ вполнѣ русскій, и потому сдержанный и спокойный. Самый драматизмъ его личности состоитъ въ противорѣчіи тревожныхъ властолюбивыхъ стремленій съ общимъ гармоническимъ и мирнымъ строемъ души, съ ея жаждою тишины и покоя.

И изображаетъ нашъ поэтъ главнымъ образомъ именно эти мирныя стороны духа Бориса; страсть-же, нарушающая ихъ покой, стоитъ у него на второмъ планѣ.—У Шекспира наоборотъ: все его вниманіе сосредоточено на развитіи страсти Макбета, начиная съ самаго ея зарожденія, олицетвореннаго въ образахъ вѣдьмъ. Въ характерѣ Бориса, въ противоположность Макбету, страсть есть что-то чуждое для него самого.

Такимъ образомъ въ созданіи характера Бориса Пушкинъ является **народнымъ** поэтомъ: онъ создалъ вполнѣ русское лице. „Слѣдуя Шекспиру“, Пушкинъ не подражалъ ему, а лишь учился у него,—учился творить на его великихъ образахъ. И въ первой-же попыткѣ самобытнаго творчества ученикъ не уступилъ учителю: Борисъ Годуновъ

---

[1]) Тамъ-же, стр. 382.
[2]) Тамъ-же, стр 383.

есть вполнѣ живой, вполнѣ художественно очерченный типъ. Съ этихъ поръ кончилось для Пушкина ученье: изъ долгой школы разныхъ учителей, послѣднимъ изъ которыхъ былъ величайшій поэтъ Запада, онъ вышелъ на свободу самостоятельнаго творчества вполнѣ самобытнымъ, великимъ, народнымъ поэтомъ.

Въ народности драмы Пушкина сказалось, конечно, кромѣ русской природы поэта, вліяніе села Михайловскаго, сближенія съ народомъ и чтенія лѣтописей и вообще памятниковъ старины.

Чтеніе историческихъ памятниковъ съ особенною ясностью отразилось на обрисовкѣ характера лѣтописца Пимена, на изображеніи народа и на первоначальномъ названіи драмы.— Пушкинъ хотѣлъ назвать свое произведеніе—„Комедіей о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ [1])". Въ предисловіи къ рукописи драмы, представленной на просмотръ гр. Бенкендорфу, говорится: „Пушкинъ хотѣлъ подражать, даже въ заглавіи, старинѣ. Въ началѣ русскаго театра, въ 1705 г., комедіей называлось какое-нибудь происшествіе, историческое или выдуманное, представленное въ разговорѣ. Въ спискѣ таковыхъ комедій, находившихся въ Посольскомъ приказѣ 1708 года, мы находимъ заглавіе: „Комедія о Франталисѣ царѣ Эпирскомъ и о Мирандомѣ, сынѣ его, и о прочихъ..." [2]). Эти слова проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на чтеніе Пушкинымъ произведеній древней нашей словесности: онъ читалъ ихъ, должно быть, много и увлекался ими сильно.

На-сколько удаченъ образъ Пимена въ драмѣ свидѣтельствуютъ, между прочимъ, воспоминанія Погодина. Погодинъ услышалъ „Бориса Годунова" впервые изъ устъ автора, и сцена съ Пименомъ его „ошеломила". „Мнѣ показалось (говоритъ историкъ), что мой родной и любезный Несторъ поднялся изъ могилы и говоритъ устами Пимена; мнѣ послышался живой голосъ русскаго древняго лѣтопи-

---

[1]) Заглавіе бѣловой рукописи. Ранѣе, 13 іюля 1825 г., Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому: „Предо мной моя трагедія. Не могу вытерпѣть, чтобъ не выписать ея заглавіе. Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому Государству, о царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ. Писалъ рабъ Божій Алекс. сынъ Сергѣевъ Пушкинъ, въ лѣто 7333 на городищѣ Ворониче.— Каково?" (Соч. II, 411).

[2]) „Рус. Стар." 1880 г., № 1, стр. 139.

сателя"[1]). И въ самомъ дѣлѣ, поэтъ съумѣлъ въ своемъ старцѣ олицетворить существенныя черты древнихъ лѣтописцевъ: мы можемъ характеризовать ихъ теперь стихами Пушкина. Въ поговорку вошли слова:

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидѣтель въ жизни будешь:
Войну и миръ, управу государей,
Угодниковъ святыя чудеса,
Пророчества и знаменья небесны...

или:

Все тотъ-же видъ, смиренный, величавый...
Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,
Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ... и т. д.

Народъ взятъ Пушкинымъ не изъ Шекспира, точно такъ-же, какъ и герой драмы. Въ „Ричардѣ III" народъ робко и безмолвно исполняетъ желаніе властолюбца, не проявляя своей мысли и воли. У Пушкина онъ не таковъ: въ сценахъ „Красная площадь" и „Дѣвичье поле" онъ сознательно относится къ дѣлу избранія царя. Народъ изображенъ, впрочемъ, въ „Борисѣ Годуновѣ" не совсѣмъ удачно; но взглядъ поэта на него объективенъ и сочувственъ, и многое въ его жизни подмѣчено вѣрно. Во всѣхъ народныхъ сценахъ трагедіи Пушкинъ рисуетъ разнообразіе душевныхъ движеній въ народной массѣ: среди искренно сокрушающихся о томъ, что правитель не хочетъ взойти на престолъ, и потомъ радующихся, когда онъ соглашается принять вѣнецъ, поэтъ рисуетъ и равнодушныхъ, которымъ ни до чего нѣтъ дѣла. Изъ толпы, стоящей подъ окнами заключенныхъ дѣтей Бориса, слышатся разнообразные толки.

Братъ, да сестра—бѣдныя дѣти, что пташки въ клѣткѣ!

говоритъ одинъ.

Есть о комъ жалѣть? Проклятое племя!

возражаетъ другой. Поэтъ указываетъ и на проявленіе звѣрскихъ инстинктовъ въ массѣ: въ сценѣ „Лобное мѣсто" вслѣдъ за рѣчью боярина, присланнаго отъ самозванца, на амвонъ вбѣгаетъ мужикъ и кричитъ:

Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты!
Ступай вязать Борисова щенка!

---

[1]) Тамъ-же, стр. 136.

и народъ несется толпою, съ крикомъ:

Вязать! топить! да здравствуетъ Димитрій!

Но этотъ-же самый народъ отвѣчаетъ знаменательнымъ высоко-нравственнымъ безмолвіемъ, когда клевреты самозванца, убивъ Ѳеодора и мать его, предлагаютъ привѣтствовать новаго царя, такимъ кровавымъ путемъ всходящаго на престолъ. — Судя по тому, что трагедія заканчивается именно этимъ народнымъ безмолвіемъ, народнымъ отвращеніемъ отъ кроваваго дѣла, можно думать, что поэтъ признавалъ преобладаніе въ народѣ добрыхъ началъ надъ злыми;—но вообще народъ изображенъ въ трагедіи не на-столько ярко и художественно, чтобы сдѣлать рѣшительное заключеніе о взглядѣ на него поэта. Но зато несомнѣнно, что народнымъ религіознымъ вѣрованіямъ Пушкинъ вполнѣ сочувствовалъ: удивительной поэтической красотою и неподдѣльной теплотой чувства проникнутъ разсказъ патріарха о чудѣ на гробѣ царевича Димитрія. То-же слѣдуетъ сказать и о рѣчахъ лѣтописца Пимена про суету грѣшнаго міра, про то, какъ часто самимъ царямъ тяжелъ становился ихъ вѣнецъ, и они мѣняли его на монашескій клобукъ.

Длинный рядъ лицъ нарисовалъ намъ Пушкинъ въ своей трагедіи; передъ нами русскіе и поляки, и съ удивительною художественною силой оттѣнилъ поэтъ національныя особенности тѣхъ и другихъ. Съ одной стороны добродушные и простые, подчасъ наивные, чаще обладающіе здравымъ смысломъ — русскіе люди. Съ другой — эффектные, тщеславные и хвастливые поляки. Интересно сопоставить образы двухъ дѣвушекъ: царевны К с е н і и, простодушно, горько и искренно оплакивающей своего жениха, которому и мертвому хочетъ она остаться вѣрной, и будущей царицы М а р и н ы, гордой красавицы, страстной и властолюбивой, но умѣющей сдерживать себя, проницательной, руководящейся въ жизни однимъ тщеславіемъ. Образъ царевны, впрочемъ, не смотря на то, что онъ очерченъ всего двумя-тремя штрихами, какъ-то ярче художественнѣе, чѣмъ образъ Марины: поэтъ, кажется, увлекся и нѣсколько идеализировалъ умъ гордой полячки, и только заключительныя слова сцены у фонтана, слова самозванца:

И путаетъ, и вьется, и ползетъ.
Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ.
Змѣя! змѣя!..

только эти слова реализируютъ очеркъ характера Марины, очеркъ прекрасный, но нѣсколько отвлеченный и потому холодный.

Если гдѣ Пушкинъ сошелся съ Карамзинымъ въ обрисовкѣ характера, то это въ личности Самозванца. Историкъ назвалъ Лжедимитрія—„мужественнымъ витяземъ“ [1]): поэтъ изобразилъ его тоже—истиннымъ витяземъ. Въ этомъ сказалось, по всей вѣроятности, еще не окончательно исчезнувшее изъ души Пушкина пристрастіе къ блестящимъ, страстнымъ западно-европейскимъ типамъ. — Самозванецъ Пушкина—человѣкъ русскій по происхожденію, но онъ подвергся вліянію польскаго рыцарства; онъ—личность энергическая, живая, впечатлительная, съ большими задатками добра. Въ его уста вложилъ поэтъ приговоръ Провидѣнія и исторіи надъ Годуновымъ:

Борисъ, Борисъ! все предъ тобой трепещетъ,
Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить
О жребіи несчастнаго младенца;
А между тѣмъ отшельникъ въ темной кельѣ
Здѣсь на тебя доносъ ужасный пишетъ:
И не уйдешь ты отъ суда мірскаго,
Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Любовь Самозванца къ Маринѣ—истинно поэтическое чувство; и благородствомъ, энергіей, сознаніемъ своего достоинства дышатъ слова его Маринѣ, вздумавшей-было гордо отвергнуть не-княжескую любовь:

Тѣнь Грознаго меня усыновила—
Димитріемъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила,
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.
Царевичь я. Довольно. Стыдно мнѣ
Предъ гордою полячкой унижаться.

Въ Самозванцѣ видимъ мы и доброту, и безпечную удаль, и любовь къ родной землѣ. Одержавъ побѣду подъ Новгородомъ-Сѣверскимъ, онъ тотчасъ-же распоряжается:

Мы побѣдили. Довольно! щадите русскую кровь! Отбой!

Онъ не лицемѣритъ здѣсь, какъ не лицемѣритъ и тогда, когда, подъѣзжая къ русской границѣ, сумрачный и печальный, завидуетъ веселью молодого Курбскаго:

---

[1]) Ист. Госуд. Росс., Спб., 1831 т., XI, стр. 353.

Какъ счастливъ онъ! какъ чистая душа
Въ немъ радостью и славой разыгралась!

Все это показываетъ намъ, что Самозванецъ идеализированъ въ драмѣ. Но есть, однако, въ его образѣ одна черта, которая сближаетъ его съ реальной дѣйствительностью, это—легкомысліе. Оно сказалось — и въ принятіи имъ на себя имени царевича, и въ проливаніи той самой крови, о которой онъ со скорбью говоритъ:

Кровь русская, о Курбскій, потечетъ!

и въ обѣщаніи польскому патеру обратить русскій народъ въ католичество, и въ допущеніи почти на глазахъ народа убить вдову и сына Годунова. Въ послѣднемъ случаѣ легкомысліе соединилось съ какою-то холодной и безразсудной жестокостью.—Должно сказать, впрочемъ, что характеръ Самозванца нарисованъ далеко не такъ художественно, какъ характеръ Бориса.

Съ внѣшней стороны драма безукоризненно прекрасна. Въ ней нѣтъ быстраго и страстнаго развитія дѣйствія; но спокойный, медленный, эпическій ходъ ея событій совершенно соотвѣтствуетъ духу изображаемой ею древней русской жизни. Соотвѣтствуетъ этому духу и превосходный языкъ ея, простой, безукоризненный и изящный, на которомъ такъ видно вліяніе лѣтописей и граммата. (Только, можетъ быть, на одномъ стихѣ отразился картинный и гиперболическій языкъ Шекспира:

поздно спорить
И раздувать холодный пепелъ брани).

Любя свое созданіе и понимая его значеніе, Пушкинъ долго не рѣшался печатать „Бориса Годунова": драма вышла въ свѣтъ лишь въ 1830 году, черезъ 5 лѣтъ послѣ написанія. И Пушкинъ былъ правъ въ своихъ опасеніяхъ: она встрѣтила холодный пріемъ, сравнительно съ первыми большими произведеніями поэта; нѣкоторые цѣнители увидѣли въ ней даже признаки начинающагося паденія таланта автора „Кавказскаго плѣнника"; одинъ стихотворецъ сложилъ вирши:

И Пушкинъ намъ наскучилъ,
И Пушкинъ надоѣлъ,—
И стихъ его не звученъ,
И геній охладѣлъ.

Поэтъ началъ переростать свое поколѣніе и писать для будущихъ временъ.

Въ томъ-же 1825 году, въ которомъ сочинена трагедія, написалъ Пушкинъ и небольшую повѣсть въ стихахъ „Графъ Нулинъ".

О происхожденіи этой повѣсти вотъ что говоритъ онъ самъ, на сохранившемся клочкѣ бумаги:

„Въ концѣ 1825 года находился я въ деревнѣ и, перечитывая Лукрецію, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что если-бъ Лукреціи пришла въ голову мысль дать пощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило-бы его предпріимчивость, и онъ со стыдомъ принужденъ былъ отступить. Лукреція-бы не зарѣзалась, Публикола не взбѣсился-бы,—и міръ и исторія міра были-бы не тѣ. Мысль пародировать исторію и Шекспира мнѣ представилась; я не могъ воспротивиться двойному искушенію и въ два утра написалъ эту повѣсть" [1]).

Повѣсть интересна въ двухъ отношеніяхъ: прежде всего—какъ первая попытка Пушкина просто изобразить простую, обыденную русскую дѣйствительность; затѣмъ—какъ сатира на нашу французоманію.—Поэтъ рисуетъ помѣщика, его деревенскую жизнь, поѣздки его осенью на охоту, между тѣмъ какъ жена сидитъ одна дома, скучаетъ и хозяйничаетъ. Иронически, подсмѣиваясь, но съ затаеннымъ сочувствіемъ изображаетъ Пушкинъ прозаическую обстановку помѣщичьяго двора: барыня сидѣла у окна съ романомъ, сначала внимательно читала его,

Но скоро какъ-то развлеклась
Передъ окномъ возникшей дракой
Козла съ дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругомъ мальчишки хохотали;
Межь тѣмъ печально подъ окномъ
Индѣйки съ крикомъ выступали
Во-слѣдъ за мокрымъ пѣтухомъ;
Три утки полоскались въ лужѣ;
Шла баба черезъ грязный дворъ
Бѣлье повѣсить на заборъ;
Погода становилась хуже:
Казалось, снѣгъ идти хотѣлъ...

---

[1]) *Матеріалы* г. Анненкова, стр. 153.

Героиня повѣсти—Наталья Павловна—походитъ своимъ легкомысліемъ и пустотой на Лауру Байрона, въ повѣсти „Беппо“.

Наталья Павловна совсѣмъ
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затѣмъ,
Что не въ отеческомъ законѣ
Она воспитана была,
А въ благородномъ пансіонѣ
У эмигрантки Фальбала.

Она предпочитаетъ хозяйству чтеніе сантиментальныхъ романовъ. Кокетка, скучающая въ деревенскомъ уединеніи, она радехонька случайному пріѣзду щеголя графа; кокетничая съ нимъ, она играетъ глазами, жметъ ему руку... и легкомысленный селадонъ рѣшается, вслѣдствіе этого, явиться къ ней ночью. Но за предпріимчивость, или вѣрнѣе— за неосторожность предпріимчивости получаетъ пощечину:

Гнѣва гордаго полна
(А впрочемъ, можетъ быть, и страха),
Она Тарквинію съ размаха
Даетъ пощечину...

Этой неудачѣ графа смѣялся потомъ вмѣстѣ съ Натальей Павловной (но не съ мужемъ ея, который, напротивъ, очень сердился),

Лидинъ, ихъ сосѣдъ,
Помѣщикъ двадцати трехъ лѣтъ.

Въ повѣсти очень комичными чертами обрисованъ офранцузившійся Нулинъ, который промоталъ въ вихрѣ моды

Свои грядущіе доходы,

и теперь ѣдетъ

Себя казать, какъ чудный звѣрь,

въ „Петрополь“,

Съ запасомъ фраковъ и жилетовъ,
Шляпъ, вѣеровъ, плащей, корсетовъ,
Булавокъ, запонокъ, лорнетовъ,
Цвѣтныхъ платковъ, чулковъ à jour... и т. д.

Къ тому-же 1825 году относится „Сцена изъ Фауста“, одно изъ интереснѣйшихъ въ психологическомъ отношеніи сочиненій Пушкина. Ученикъ Шекспира, помѣрившій въ

„Борисѣ Годуновѣ“ свои силы съ великимъ учителемъ, поэтъ вздумалъ повѣрить ихъ и еще съ однимъ великимъ геніемъ, съ Гете.—Г. Анненковъ разсказываетъ въ своихъ „Матеріалахъ“, что Гете зналъ о „Сценѣ изъ Фауста“. Онъ послалъ Пушкину поклонъ черезъ одного русскаго путешественника и препроводилъ съ нимъ, въ подарокъ, собственное свое перо; которое многіе видѣли потомъ въ кабинетѣ Пушкина въ богатомъ футлярѣ, имѣвшемъ надпись: „подарокъ Гете“ [1]). Но германскому поэту не приходило, конечно, въ голову, что сцена Пушкина—не только не подражаніе ему, а даже не творчество въ его духѣ, что она—поправка (съ русской точки зрѣнія) его великаго созданія.—Въ высшей степени интересно сравнить отношенія къ Фаусту творца его и нашего Пушкина.

У Гете Фаустъ — личность съ высокими стремленіями, мыслитель, добивавшійся всю жизнь истины. Наука его не удовлетворила—и онъ сталъ искать счастья въ реальной дѣйствительности: въ земныхъ наслажденіяхъ, въ любви, въ сближеніи съ народомъ. Гете весьма художественно изображаетъ Фауста и Маргариту; но должно сказать, что онъ не оцѣниваетъ по достоинству дѣйствій своего героя относительно наивной и чистой дѣвушки. Въ чувствѣ Фауста есть двойственность: Гретхенъ для него предметъ благоговѣнія и романтической любви и вмѣстѣ съ тѣмъ предметъ чувственныхъ стремленій. Послѣднія одерживаютъ верхъ надъ романтизмомъ. Фаустъ губитъ Гретхенъ, повергаетъ ее въ бездну сомнѣнія, несчастія, нищеты, доводитъ ее до отчаянія и преступленія, до тюрьмы и сумасшествія. Онъ не хотѣлъ, впрочемъ, этого сдѣлать: все это произошло нечаянно. Гретхенъ не удовлетворяла его возвышеннымъ стремленіямъ, она была слишкомъ для него ничтожна. Какъ въ началѣ знакомства онъ свысока относился къ ея наивной вѣрѣ, такъ потомъ онъ забылъ ее въ своихъ новыхъ поискахъ за счастьемъ. Онъ винитъ себя, конечно, когда, вспомнивъ о ней, посѣщаетъ ее въ темницѣ; но ему и въ голову не приходитъ, что слово „палачъ“, съ которымъ случайно обращается къ нему его сумасшедшая жертва, къ нему какъ нельзя болѣе подходитъ. Онъ больше жалѣетъ Гретхенъ,

---

[1]) Матер. г. Анненкова, стр. 177.

чѣмъ считаетъ себя виноватымъ передъ нею: онъ слишкомъ высоко ставитъ свое умственное развитіе надъ ея наивной непосредственностью.—И должно замѣтить, что самъ Гете вполнѣ сочувствуетъ Фаусту: нигдѣ не замѣтно, чтобы онъ судилъ своего героя за его возмутительно-безнравственный поступокъ съ Гретхенъ.

Пушкинъ посмотрѣлъ на Фауста въ своей „Сценѣ" иначе: онъ произноситъ строгій приговоръ надъ ученымъ докторомъ, надъ его отношеніями къ Маргаритѣ.—Фаустъ у нашего поэта говоритъ Мефистофелю, что есть одно прямое благо: „сочетанье двухъ душъ", и съ одушевленіемъ вспоминаетъ о счастьѣ съ Гретхенъ. Но Мефистофель его охлаждаетъ:

Ты бредишь, Фаустъ, на-яву!
Услужливымъ воспоминаньемъ
Себя обманываешь ты...

и онъ начинаетъ ядовито анализировать, что думалъ Фаустъ на свиданіяхъ съ Маргаритой:

Ты думалъ: агнецъ мой послушный!
Какъ жадно я тебя желалъ!
Какъ хитро въ дѣвѣ простодушной
Я грезы сердца возмущалъ!
Любви невольной, безкорыстной
Невинно предалась она...
Что-жь грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьемъ,
Съ неодолимымъ отвращеньемъ.
. . . .
Потомъ изъ этого всего
Одно ты вывелъ заключенье...

—

Сокройся, адское творенье,
Бѣги отъ взора моего!

въ ужасѣ прерываетъ Мефистофеля Фаустъ, въ ужасѣ, потому что тотъ обнажилъ язвы его совѣсти: Гретхенъ—„жертва прихоти" Фауста; любовь ученаго мыслителя къ ней—„тщетное злое дѣло"... Гете такъ не думалъ; а между тѣмъ это правда, и правду эту понялъ нашъ поэтъ. Взглядъ Пушкина на жизнь оказался нравственно выше міросозерцанія Гете; умственный кругозоръ его оказался шире.

Пушкинъ перерось и германскаго гиганта поэзіи, какъ перерось Байрона. Огромную роль въ этомъ процессѣ могучаго развитія его духа играла русская деревня.

3.

Но не одними впечатлѣніями деревни и старины жилъ Пушкинъ въ Михайловскомъ. Народные нравы и бытъ, преимущественно владѣя его душою, не исключали изъ нея и другаго рода стремленій. Между этими послѣдними очень важны тѣ проявленія его духовнаго быта, которыя мы видимъ въ его отношеніяхъ къ Аннѣ Петровнѣ Кернъ. Поэтъ любилъ ее; только эта любовь, безпечная и легкая, хотя полная въ то-же время живой и неподдѣльной поэзіи, сыграла печальную роль въ его жизни.—Кернъ (урожденная Полторацкая) была племянница Праск. Александр. Осиповой; почти ребенкомъ ее выдали замужъ за старика-генерала. Она была чрезвычайно хороша собой, и ея красота (какъ мы знаемъ) поразила Пушкина еще въ Петербургѣ, до высылки его на югъ. Кернъ оставила записки о знакомствѣ своемъ съ поэтомъ [1]). Она разсказываетъ въ нихъ, что послѣ первой встрѣчи съ Пушкинымъ шесть лѣтъ не видала его; но сильно желала видѣть, восхищаясь его поэмами — „Кавказскимъ плѣнникомъ“, „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“, „Братьями-разбойниками“ и первой главой „Онѣгина“. Заочно, впрочемъ, она была знакома съ нимъ, бесѣдуя съ его другомъ Аркадіемъ Гавриловичемъ Родзянкой и переписываясь о немъ, изъ полтавскаго имѣнія своихъ родныхъ, съ Анной Николаевной Вульфъ. Въ одномъ письмѣ Анны Николаевны къ Кернъ Пушкинъ приписалъ сбоку, изъ Байрона, по-французски: „видѣніе пронеслось мимо насъ, мы видѣли его и никогда опять не увидимъ“ [2]).—Въ іюнѣ 1825 года Кернъ пріѣхала въ Тригорское, и они съ поэтомъ свидѣлись. Пушкинъ почему-то былъ смущенъ при встрѣчѣ. „Онъ очень низко поклонился (разсказываетъ Кернъ), но не сказалъ ни слова: робость была видна въ его движеніяхъ“. Черезъ нѣ-

---

[1]) „Рус. Стар.“ 1870 г., изд. 3-ье, т. I.—Кернъ по второму мужу—Маркова-Виноградская.

[2]) „Рус. Стар.“ 1879 г., окт., стр. 318.

сколько времени, онъ однажды явился въ Тригорское съ большою черною книгою, „и сказалъ (пишетъ Кернъ), что принесъ ее для меня. Вскорѣ мы усѣлись вокругъ него, и онъ прочиталъ намъ своихъ „Цыганъ". Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватилъ мою душу!.. Я была въ упоеніи". —Черезъ нѣсколько дней обитательницы Тригорскаго поѣхали съ поэтомъ въ лунную ночь въ его Михайловское. „Ни прежде, ни послѣ (говоритъ Кернъ) я не видала его такъ добродушнымъ и любезнымъ. Онъ шутилъ безъ остротъ и сарказмовъ; хвалилъ луну, не называлъ ее „глупою", а говорилъ: j'aime la lune quand elle éclaire un beau visage" [1]). Въ саду Михайловскаго Пушкинъ „вспоминалъ нашу первую встрѣчу у Олениныхъ, выражался о ней увлекательно-восторженно и въ концѣ разговора сказалъ: vous aviez un air si virginal; n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?" [2]).—На другой день Анна Петровна должна была уѣхать въ Ригу; Пушкинъ пришелъ къ ней рано утромъ и на прощанье принесъ экземпляръ 2-й главы „Онѣгина" въ неразрѣзанныхъ листахъ; между ними она нашла вчетверо сложенный почтовый листъ бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье...

Это было признаніе поэта въ любви. „Онъ долго смотрѣлъ на меня (разсказываетъ Кернъ), потомъ судорожно выхватилъ стихи и не хотѣлъ возвращать; насилу выпросила я ихъ опять; что у него промелькнуло тогда въ головѣ, не знаю" [3]). Стихотвореніе оканчивается, какъ извѣстно, словами:

сердце бьется въ упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

„Воскресли вновь", говоритъ Пушкинъ, а между тѣмъ мы знаемъ, что онъ пріѣхалъ въ Михайловское съ сердцемъ

---

[1]) Люблю луну, когда она освѣщаетъ прелестное лицо.

[2]) У васъ былъ такой дѣвственный видъ; неправда-ли, на васъ было надѣто что-то въ-родѣ крестика?

[3]) „Рус. Стар." 1879 г., окт., стр. 319, 320, 321.

растерзаннымъ разлукой съ тою, кого онъ любилъ горячо и свято. Ужели годъ разлуки охладилъ его чувство? или въ новомъ увлеченіи его сказалось то, что называютъ безнравственностью художественной натуры — такая отзывчивость души на впечатлѣнія, которая исключаетъ всякую возможность прочнаго чувства?—Нѣкоторый свѣтъ на эту психологическую загадку проливаютъ написанныя въ Михайловскомъ стихотворенія, посвященныя чистой любви поэта.— „Сожженное письмо“, „Желаніе славы“, „Все кончено“ (1825 г.).—„Всѣ радости“ поэта заключались въ „письмѣ любви“; но оно сожжено, потому что такъ „она велѣла“, и хотя, „отрада бѣдная“ въ унылой судьбѣ, милый пепелъ останется вѣкъ на „горестной груди“, но уничтоженіе письма повліяло на самое чувство, на его силу. Яснѣе это-же сказывается въ стихотвореніи „Желаніе славы“, въ которомъ звучитъ какая-то досада, что презрѣны любимымъ существомъ.

послѣднія моленья
Въ саду, во тьмѣ ночной, въ минуту разлученья.

Поэтъ болѣзненно жаждетъ славы, чтобы укорить ею, чтобы отомстить за отверженіе. Пушкинъ терялъ въ Михайловскомъ вѣру въ отзывное чувство на его любовь. Съ горечью въ сердцѣ написалъ онъ стихи:

„Все кончено, межь нами связи нѣтъ“.
Въ послѣдній разъ обнявъ твои колѣни,
Произносилъ я горестныя пѣни;
„Все кончено“—я слышу твой отвѣтъ.

И по-временамъ ему стало казаться, что и съ его стороны все кончено, онъ начиналъ терять вѣру и въ свое чувство. Въ одинъ изъ такихъ, должно быть, моментовъ, онъ встрѣтился съ поразившей его прежде красавицей—и, художественная натура, онъ увлекся красотою до самозабвенія, пожертвовавъ для нея на-минуту всѣмъ, что было въ душѣ. Въ порывѣ вспыхнувшей страсти онъ какъ будто забылъ даже, чѣмъ жила его душа на югѣ, и написалъ слова:

Въ глуши, во мракѣ заточенья
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви.
Душѣ настало пробужденье—

И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

Воскресшее въ памяти чистое впечатлѣніе ранней юности взволновало, обмануло Пушкина, и пробудило въ его душѣ романтическія увлеченія былой жизни.—Но тотчасъ-же по отъѣздѣ Кернъ онъ пришелъ въ себя. Въ дружескомъ письмѣ къ Аннѣ Николаевнѣ Вульфъ въ Ригу (отъ 21 іюля 1825 г.) онъ говоритъ:

„Я каждую ночь гуляю по саду и говорю: она была здѣсь; камень, о который она споткнулась, лежитъ у меня на столѣ подлѣ вѣтки поблекшаго геліотропа. Пишу много стиховъ— все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вамъ, что ничего этого нѣтъ."

Далѣе онъ пишетъ: меня мучитъ мысль,

„что воспоминаніе обо мнѣ ни на минуту не сдѣлаетъ ее разсѣяннѣе среди ея торжествъ, ни мрачнѣе въ дни грусти; что ея прелестные глаза остановятся на какомъ-нибудь рижскомъ вертопрахѣ съ тѣмъ-же проницающимъ сердце и сладостнымъ выраженіемъ — нѣтъ, эта мысль мнѣ несносна..."[1]).

Здѣсь, можетъ быть, слышится ревность; но выражается также, несомнѣнно, и недовѣріе поэта къ своей красавицѣ,— онъ считаетъ ее легкомысленной и вѣтренной. То-же высказываетъ онъ, но уже опредѣленнѣе, въ характеристикѣ ея, которую дѣлаетъ въ письмѣ къ Пр. А. Осиповой:

„У нея гибкій умъ, она понимаетъ все; легко огорчается и утѣшается точно также; застѣнчива въ пріемахъ, смѣла въ поступкахъ; но чудо какъ привлекательна" [2]).

Подобный взглядъ на Кернъ совершенно расходится съ чувствомъ, выраженнымъ въ чудныхъ стихахъ признанія: тамъ мы видимъ любовь, или надежду на возникновеніе любви; здѣсь замѣтно, что поэтъ опьянѣлъ отъ очарованія красоты, но душа его слышитъ неправду зародившагося увлеченія. Съ стихами признанія расходятся и письма поэта къ самой Кернъ.—Въ первомъ-же изъ нихъ (отъ 25 іюля) онъ

---

[1]) „Рус. Стар.", 1879 г. окт., 328.

[2]) Тамъ-же, 326.

говоритъ ей объ ея вѣтрености, о любви пишетъ въ шутливомъ тонѣ и высказываетъ недовѣріе къ ея чувству:

„Если выраженія ваши будутъ столь-же нѣжны, какъ взгядъ вашъ, увы! постараюсь имъ повѣрить, или обмануть себя, это все равно“ [1]).

Слѣдующее письмо (отъ 14-го августа) поэтъ начинаетъ такими удивительными и характерными словами:

„Перечитываю ваше письмо вдоль и поперекъ и говорю: милая! прелесть! божественная! а потомъ: ахъ, мерзкая! Простите, прелестная, кроткая моя; но это такъ! Несомнѣнно, что вы божественны; но иногда въ васъ не случается здраваго смысла; еще разъ, простите и утѣшьтесь, ибо отъ этого вы еще прелестнѣе“.

Далѣе, на замѣчаніе Кернъ, что ему неизвѣстенъ ея характеръ, онъ отвѣчаетъ:

„А какое мнѣ до него дѣло? очень я о немъ думаю—и развѣ у хорошенькихъ женщинъ долженъ быть характеръ? Самое главное глаза, зубы, ручки и ножки (прибавилъ-бы— и сердце, но ваша кузина уже слишкомъ опошлила это слово). Вы говорите, что васъ легко узнать; вы хотѣли сказать: любить? Съ этимъ весьма согласенъ и самъ служу тому доказательствомъ—я держалъ себя съ вами какъ 14-тилѣтній ребенокъ—это не годится; но съ тѣхъ поръ, какъ болѣе не вижу васъ, понемногу беру обратно свое утраченное надъ вами превосходство и пользуюсь имъ, чтобы бранить васъ“.

Все это чрезвычайно странныя рѣчи, которыя могутъ повести къ страннымъ заключеніямъ о Пушкинѣ, если не принять въ разсчетъ характеръ лица, къ которому онѣ писаны. Но при этомъ послѣднемъ условіи—совсѣмъ другое дѣло: онѣ, очевидно, свидѣтельствуютъ, что любовь поэта утратила серьезный характеръ глубокаго чувства.—Поэтъ въ этомъ-же письмѣ шутливо ревнуетъ свою красавицу къ ея мужу:

„Достойнѣйшій человѣкъ этотъ г. Кернъ, степенный, благоразумный и проч. Одинъ въ немъ порокъ—зачѣмъ онъ вашъ мужъ. Какъ можно быть вашимъ мужемъ? объ этомъ не могу составить себѣ понятія, такъ-же какъ о раѣ“.

---

[1]) Тамъ-же, ноябрь, стр. 506.

Въ письмѣ отъ 28 августа Пушкинъ шутливо предлагаетъ Кернъ бросить супруга, если онъ ей слишкомъ надоѣдаетъ, и пріѣхать—въ Михайловское:

„Вотъ прекрасный проэктъ, который уже съ четверть часа какъ мучитъ мое воображеніе. Но понимаете-ли, какое-бы это было для меня счастіе? Вы скажете: „а огласка? а скандалъ?“ Кой чортъ! разставаясь съ мужемъ, дѣлаютъ полнѣйшій скандалъ и все прочее—ничто, или очень мало. Но сознайтесь, что проэктъ мой—романическій? сходство характеровъ, ненависть къ преградамъ, органъ зла сильно развитый, и проч., и проч. Вообразите себѣ удивленіе вашей тетушки! Слѣдствіемъ этого будетъ разрывъ. Вы будете видѣться съ вашею кузиною тайкомъ, при этомъ дружба становится слаще...“

Весь этотъ въ четверть часа составленный проэктъ Пушкина—очевидно—болѣе шутка, чѣмъ серьезное предложеніе (хотя нельзя отрицать, что слышится въ немъ и какое-то, легкомысленное, конечно, отуманившее голову увлеченіе). Письмо и оканчивается шуткой:

„Если вы пріѣдете, я обѣщаю вамъ быть любезнымъ до чрезвычайности—я буду веселъ въ понедѣльникъ, восторженъ во вторникъ, нѣженъ въ среду, ловокъ и прытокъ въ четвергъ, въ пятницу, въ субботу и въ воскресенье буду чѣмъ вамъ угодно и всю недѣлю у ногъ вашихъ. Прощайте“.

Отъ 22 сентября поэтъ писалъ Аннѣ Петровнѣ о своей ревности, и опять въ шутливомъ тонѣ:

„Вы мнѣ клянетесь всѣми богами, что ни съ кѣмъ не кокетничаете, а между тѣмъ вы „на ты“ съ вашимъ кузеномъ, вы говорите ему: я презираю твою мать; это ужасно! слѣдовало сказать: вашу мать...“

Далѣе Пушкинъ такъ выражается о себѣ:

„Я не вѣрю въ счастье, и это весьма извинительно. Ужели, ангелъ любви, вы захотите разубѣдить душу недовѣрчивую и увядшую“.

Кернъ, кажется, приняла серьезно проэктъ о пріѣздѣ въ Михайловское,—недаромъ поэтъ сказалъ про нее, что она „смѣла въ поступкахъ“. По-крайней-мѣрѣ онъ, въ письмѣ послѣ 22-го сентября, видимо испугался чего-то подобнаго:

„Ради всего на свѣтѣ (писалъ онъ) не прибѣгайте къ насильственнымъ мѣрамъ. Послушайте, право, я говорю вамъ

отъ всего сердца. За 400 верстъ вы ухитрились возбуждать во мнѣ ревность, что-же должно быть въ 4 шагахъ?

Далѣе онъ зоветъ ее пріѣхать въ Тригорское (вмѣсто Михайловскаго) или въ Псковъ:

„Пріѣдете? Не правда-ли? До тѣхъ поръ не рѣшайте ничего относительно вашего мужа. Вы молоды, цѣлая будущность передъ вами—онъ же... Наконецъ, будьте увѣрены, что я не изъ тѣхъ, которые неспособны когда-либо совѣтовать рѣзкія мѣры—иногда это неизбѣжно, но всего прежде слѣдуетъ разсуждать, не дѣлая безполезнаго взрыва“.

Вотъ отношенія поэта къ Кернъ, такъ безсознательно художественно, и—надо сказать правду—съ такою обаятельною силой отразившіяся въ его письмахъ.—Винить-ли Пушкина за эти отношенія? Вопросъ этотъ собственно заключаетъ въ себѣ два вопроса: правъ-ли поэтъ передъ очаровавшей его красавицей Кернъ? и—правъ-ли онъ передъ таившимся въ глубинѣ души его чистымъ чувствомъ другой любви, вдохновлявшей его на творчество, т. е. правъ-ли онъ передъ самимъ собою, передъ долгомъ своего призванія, своего поэтическаго дара?

Что касается Кернъ, то трудно обвинить Пушкина за его отношенія къ ней: онъ не обманывалъ ее ни на минуту. Ему, пораженному красотою, показалось, что онъ полюбилъ глубоко (другое дѣло—имѣлъ-ли онъ право такъ поддаться обаянію красоты!); потомъ онъ увидѣлъ, что ошибся, и тотчасъ-же искренно высказалъ это (какъ мы видѣли) въ письмахъ. Между прочимъ въ одномъ изъ нихъ онъ пишетъ:

„Простите, божественная, если я откровенно высказываю вамъ мой образъ мыслей; это доказательство истиннаго моего къ вамъ участія; я люблю васъ гораздо болѣе; *нежели вы думаете*“.

Послѣднія слова намекаютъ на то, что и сама Кернъ отчасти понимала характеръ чувства Пушкина къ ней. Онъ любилъ ее искренно, но не какъ равную себѣ, а какъ существо привлекательное, милое, но нѣсколько пустое и легкое.

Что-же касается вопроса—правъ-ли Пушкинъ въ этомъ увлеченіи передъ самимъ собою, то слѣдуетъ сказать, что онъ любилъ Кернъ не такою любовью, которая была-бы достойна великихъ силъ его души; въ его чувствѣ, кромѣ романтизма, было еще холодное увлеченіе внѣшней красо-

тою, было даже и нѣчто мутное, нечистое, была доля чувственности.

„Прощайте (читаемъ мы, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ),—мнѣ кажется, что я у ногъ вашихъ, жму ихъ, чувствую ваши колѣни—всю кровь мою отдалъ-бы я за минуту дѣйствительности. Прощайте и вѣрьте бреду моему; онъ смѣшонъ, но искрененъ“.

Сказавшаяся въ этихъ словахъ любовь вовсе не похожа на возвышенное, идеально-чистое чувство лучшихъ элегій Пушкина.

Характеру этой любви должно быть совершенно соотвѣтствовалъ нравственный образъ самой Криъ. Любя ее, Пушкинъ, однако, считалъ ее неспособной на серьезное и глубокое чувство, по-крайней-мѣрѣ на это намекаютъ нѣкоторыя произведенія его данной эпохи. Въ четвертой главѣ „Онѣгина“, написанной въ 1825 году мы встрѣчаемъ такіе стихи:

Дознался я, что дамы сами,
Душевной тайнѣ измѣня,
Не могутъ надивиться нами,
Себя по совѣсти цѣня.
Восторги наши своенравны
Имъ очень кажутся забавны;
И право, съ нашей стороны
Мы непростительно смѣшны.
Закабалясь неосторожно,
Мы ихъ любви въ награду ждемъ,
Любовь въ безуміи зовемъ
Какъ будто требовать возможно
Отъ мотыльковъ иль отъ лилей
И чувствъ глубокихъ и страстей (IV).

Въ концѣ главы высказывается подобная-же мысль:

Случалось-ли поэтамъ слезнымъ
Читать въ глаза своимъ любезнымъ
Свои творенья? Говорятъ,
Что въ мірѣ выше нѣтъ наградъ.
И впрямь, блаженъ любовникъ скромной,
Читающій мечты свои
Предмету пѣсенъ и любви,
Красавицѣ пріятно-томной!
Блаженъ... хоть, можетъ быть, она
Совсѣмъ инымъ развлечена (XXXIV).

Должно быть, эти стихи были поэтическою местью Пушкина плѣнившей его красавицѣ за обманъ его первоначальныхъ ожиданій... Ту-же идею о какомъ-то женскомъ легкомысліи находимъ мы и въ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ“ (стихотвореніе это написано въ 1824 г., т. е. ранѣе встрѣчи въ Михайловскомъ съ Кернъ; но въ печати появилось оно лишь въ 1825 г., при I главѣ „Онѣгина“). Здѣсь есть такіе стихи:

Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви;
Уста волшебныя шептали
Мнѣ звуки сладкіе мои;
Но полно, въ жертву имъ свободы
Мечтатель ужь не принесетъ...
. . . .
Стонъ лиры вѣрной не коснется
Ихъ легкой, вѣтряной души;
Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И, признакъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.
Когда на память мнѣ невольно
Прійдетъ внушенный ими стихъ,
Я содрагаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился!

Очень можетъ быть, что стихи эти заключаютъ въ себѣ воспоминанія о кишиневскихъ увлеченіяхъ поэта. Тѣми же воспоминаніями, вѣроятно, вызвана неудачная попытка въ „Цыганахъ“ объяснить измѣну Земфиры легкомысліемъ женской души:

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.

Слова эти не согласны съ общимъ очеркомъ характеромъ Земфиры.

Думать, что во всѣхъ подобныхъ выходкахъ выразился общій взглядъ Пушкина на женщину, никакъ нельзя: этому противорѣчитъ рядъ созданныхъ имъ женскихъ образовъ, *которымъ онъ* несомнѣнно симпатизируетъ, которые онъ

уважаетъ; да и въ то время, когда писались приведенные стихи, уже окончательно обозначался въ его творческой фантазіи свѣтлый ликъ Татьяны. — Можно, конечно, тутъ подозрѣвать вліяніе Байрона, скептически относившагося иной разъ къ женщинѣ, къ ея слезамъ; такъ, въ „Корсарѣ" англійскій поэтъ говоритъ:

Какъ много между насъ живетъ и будетъ жить
Такихъ, что небеса теряютъ равнодушно,
Какъ землю потерялъ Антоній малодушно.
Какъ много есть людей, что душу отдаютъ
Лукавому во власть, и въ горѣ вѣкъ живутъ,
Чтобъ осушить слезу кокетки безсердечной [1]).

Но вѣрнѣе, кажется, будетъ признать, что въ выходкахъ Пушкина противъ женскаго легкомыслія заключаются просто намеки на его личныя отношенія, сначала къ кишиневскимъ вѣтреннымъ красавицамъ, а потомъ и къ Аннѣ Петровнѣ Кернъ, которая ему напоминала ихъ, которую онъ называлъ „божественной" и въ которой подозрѣвалъ недостатокъ здраваго смысла.

Но карая насмѣшливыми и негодующими стихами предметы своихъ ошибочныхъ увлеченій, Пушкинъ, не сознавая того, въ-сущности каралъ себя, свое забулжденіе. И эта кара была заслуженная.

Странно, но несомнѣнно, что заблужденіе, сказавшееся въ увлеченіи Пушкина любовью къ Кернъ, стоитъ въ тѣсной связи съ самымъ характернымъ признакомъ его поэзіи.—Способность Пушкина беззавѣтно увлечься красотою указываетъ намъ, что въ его поэтической природѣ художественность была отличительной и преобладающей чертою. Эта художественность, въ которой онъ не зналъ себѣ равныхъ, не зналъ соперниковъ, давала ему силу и возможность переноситься въ чужую жизнь, въ чужой вѣкъ и изображать ихъ съ такимъ-же совершенствомъ, какъ и родную дѣйствительность. Но въ этой-же художественности, т. е. въ ея односторонности, лежала и опасность для его великаго генія: чудныя формы несказанной красоты, въ которыя облекались его творческіе замыслы, обходились порою безъ огня, безъ отрадной теплоты чувства, и холодомъ вѣяло отъ дивныхъ картинъ, отъ безсмертныхъ

[1]) Соч. Байрона, т. III, стр. 39.

скульптурныхъ образовъ иныхъ его созданій. Впервые съ опредѣленною ясностью обнаружилось это въ нѣкоторыхъ вещахъ, написанныхъ имъ въ Михайловскомъ. — Прежде всего въ ряду подобныхъ сочиненій слѣдуетъ назвать неоконченную поэму „Египетскія ночи". Въ ней, по вѣрному выраженію Бѣлинскаго, Пушкинъ переносится въ самое сердце издыхающаго древняго міра. Передъ нами древняя красавица-царица, ея роскошные пиры и чертоги, власть ея роковой красоты надъ толпою. Въ чудныхъ стихахъ поэмы все облечено въ образы дивной прелести, все, даже и мрачное сладострастіе, и звѣрство древняго язычества. Красотою и вмѣстѣ чѣмъ-то ужаснымъ и безотраднымъ вѣетъ отъ этого изумительнаго въ художественномъ смыслѣ созданія. Впослѣдствіи Пушкинъ думалъ обратить „Египетскія ночи" въ начало поэмы съ возвышенной христіанской идеей. Но была-ли это идея у него во время написанія „Египетскихъ ночей", хоть въ видѣ безсознательнаго предчувствія? слышится-ли она въ изображеніи юнаго поклонника царицы? Богъ вѣсть; нельзя утверждать этого даже про единственные отзывающіеся нѣкоторой теплотою стихи:

Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый,
Послѣдній имени вѣкамъ
Не передалъ. Его ланиты
Пухъ первый оттѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила
Кипѣла въ сердце молодомъ...
И съ умиленіемъ на немъ
Царица взоръ остановила.

Всепобѣдною властью красоты поэма торжествуетъ надъ животнымъ чувствомъ, и стихи ея не могутъ возбудить нечистаго помысла. Но съ другой стороны это еще большой вопросъ — могла-ли она служить возвышенной христіанской идеѣ, быть началомъ вполнѣ чистаго созданія искусства? Въ ней торжествуетъ надъ душой человѣческой облеченное въ красоту кровожадное звѣрство, смѣшавшееся съ сладострастіемъ.

Убѣжденный въ своей силѣ, помѣрившійся ею съ великими поэтами Запада, Пушкинъ пробовалъ въ Михайловскомъ всевозможные тоны поэзіи—и все ему удавалось; не

было сферы жизни, цвѣта которой не могла-бы принять его муза. Онъ перевелъ нѣсколько строфъ изъ „Orlando Furioso“ Аріоста; перевелъ съ португальскаго „Gonzago“, романсъ трубадура; переложилъ нѣсколько стиховъ изъ „Пѣсни пѣсней“ царя Соломона; написалъ „Подражанія Корану“; перевелъ изъ Шенье стихотвореніе „Покровъ, упитанный язвительною кровью“ и сочинилъ пьесу „Андрей Шенье“ въ духѣ и тонѣ этого писателя; — и если-бы не объединяла всѣ эти произведенія строгая и нѣжная красота пушкинскаго стиха, ихъ нельзя было-бы признать созданіями одного поэта, до такой степени отзываются они духомъ разныхъ временъ, разныхъ мѣстностей и народовъ. Они удивительны по своей красотѣ. Но должно признать, что и въ нихъ сказалась, какъ въ „Египетскихъ ночахъ“, только въ меньшей степени, роковая черта отвлеченной художественности: до холода доходящая, безучастная къ жизни объективность творчества. Въ нихъ нѣтъ того захватывающаго интереса, той теплоты жизни, которою проникнуты другаго рода сочиненія Пушкина. (Отчасти, впрочемъ, исключеніе составляютъ „Подражанія Корану“: ихъ согрѣваетъ религіозная мысль).

Кстати будетъ сказать объ Андреѣ Шеньѣ: не предразсудокъ-ли утвердившееся въ нашей литературѣ мнѣніе, будто Пушкинъ находился одно время подъ сильнымъ вліяніемъ этого писателя? гдѣ, въ чемъ, въ какихъ сочиненіяхъ нашего поэта слѣды этого вліянія?

Осенью 1825 года, Пушкинъ былъ повидимому счастливъ взаимной любовью: на его чувство красавица Кернъ отвѣчала искренно, съ доступною ей силой увлеченія... А между тѣмъ, въ это самое время поэтъ серьезно подумывалъ о бѣгствѣ изъ Россіи. — 25-го августа онъ писалъ Кернъ:

„Мысль, что я васъ не увижу опять, приводитъ меня въ трепетъ. Вы скажите: утѣшьтесь! Очень хорошо, но чѣмъ и какъ? Влюбиться?—невозможно. Прежде всего надо позабыть ваши прелести. Бѣжать въ чужіе края? удавиться? жениться? Все это сопряжено съ большими затрудненіями и все это мнѣ отвратительно“.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что предполо-

женіе поэта о трехъ средствахъ утѣшенія—шутка. На-дѣлѣ это не такъ. Пушкинъ хлопоталъ въ это самое время о заграничномъ отпускѣ, поручивъ ходатайствовать за себя матери и Жуковскому. Жуковскому переслалъ онъ и прошеніе на Высочайшее имя, въ которомъ ссылался на свой аневризмъ. Онъ писалъ поэту между прочимъ:

„Мой аневризмъ носилъ я 10 лѣтъ, и съ Божіею помощью могу проносить еще года три. Слѣдственно, дѣло не къ спѣху, но Михайловское душно для меня. Если-бы Царь меня до излѣченія отпустилъ заграницу, то это было-бы благодѣяніемъ, за которое я-бы вѣчно былъ ему и друзьямъ моимъ благодаренъ“ [1]).

Вѣрилъ-ли Пушкинъ въ свой аневризмъ — Богъ знаетъ; но въ томъ, что его отпустятъ заграницу, онъ сильно сомнѣвался. По-крайней-мѣрѣ, прося объ отпускѣ, онъ въ тоже время сговаривался съ А. Н. Вульфомъ—убѣдить дерптскаго профессора хирургіи Мойера, чтобы тотъ взялъ на себя ходатайствовать передъ правительствомъ о присылкѣ ему опальнаго поэта въ Дерптъ, какъ интереснаго и опаснаго больнаго. Изъ Дерпта Пушкинъ думалъ бѣжать. Родные и Жуковскій, не подозрѣвая его замысла, выхлопотали ему разрѣшеніе жить и лѣчиться въ Псковѣ. Жуковскій, будучи родственникомъ Мойера, просилъ профессора пріѣхать въ Псковъ, а родители Пушкина послали даже за нимъ въ Дерптъ коляску... Поэтъ былъ въ отчаяніи отъ этихъ заботъ о немъ и просилъ Вульфа какъ-нибудь разстроить дѣло. У него явился тогда новый планъ: бѣжать заграницу съ своимъ дерптскимъ другомъ подъ видомъ его слуги.

Любовь къ Кернъ не въ-силахъ была удежать Пушкина отъ подобныхъ замысловъ. А между тѣмъ, годъ тому назадъ, другая любовь остановила его отъ бѣгства изъ Россіи по волнамъ ждавшаго и манившаго его южнаго моря.

Могучей страстью очарованъ,
У береговъ остался я,

сказалъ поэтъ. Та страсть была сильнѣе, глубже, истиннѣе... то чувство захватывало всю душу... Въ Михайлов-

---

[1]) *„Рус. Стар.“* 1879 г., окт., 323.

скомъ поэту казалось, что оно прошло, онъ написалъ даже стихъ—

Все кончено: межь нами связи нѣтъ!

Но на самомъ дѣлѣ искра горячей и великой любви таилась въ душѣ, таилась и возможность для нея разгорѣться въ могучее пламя. Можетъ быть, это скрытое пламя сказалось и въ безотрадныхъ мечтахъ о бѣгствѣ, о насильственной смерти, о женитьбѣ; можетъ быть, не одна жажда свободы, а и тоска разлуки дѣлала Михайловское душнымъ для Пушкина. Мысль о минувшемъ счастьѣ, о дорогомъ образѣ любимаго существа съ безсознательной, но могучею силой жила въ душѣ поэта втеченіе всего времени пребыванія его въ Михайловскомъ. Она вызвала однажды изъ творческой фантазіи его невольное признаніе въ безпредѣльной любви; это—стихотвореніе 1825 г. „Буря":

Ты видѣлъ дѣву на скалѣ
Въ одеждѣ бѣлой надъ волнами,
Когда, бушуя въ бурной мглѣ,
Играло море съ берегами,
Когда лучъ молній озарялъ
Ее всечасно блескомъ алымъ
И вѣтеръ бился и леталъ
Съ ея летучимъ покрываломъ?
Прекрасно море въ бурной мглѣ,
И небо въ блескахъ, безъ лазури;
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури.

Однако, увлеченный впечатлѣніями окружавшей жизни, Пушкинъ не сознавалъ ясно, что̀ скрывалось въ тайной глубинѣ его души, и жертвовалъ своимъ великимъ и чистымъ чувствомъ чувству другому, искреннему и, пожалуй, поэтическому, но легкому и внѣшнему. Онъ даже признаніе свое Кернъ легкомысленно передалъ въ листахъ второй главы „Онѣгина", главы, въ который уже нарисованъ чистый образъ Татьяны, создавшійся подъ вліяніемъ прежняго, свѣтлаго и могучаго чувства. И не этотъ образъ идеальной дѣвушки, который сталъ потомъ любимымъ образомъ Пушкина, занималъ въ это время первое мѣсто въ его творчествѣ: фантазія его останавливалась преимущественно на картинахъ непосредственной народной жизни—съ одной стороны, на отвлеченно-художественныхъ и холодныхъ

очеркахъ чужихъ жизней—съ другой. Подъ могучими впечатлѣніями окружавшей русской дѣйствительности и изученія созданій чужеземныхъ геніевъ (впечатлѣніями, конечно, необходимыми и нужными) въ Пушкинѣ формировался народный поэтъ и великій художникъ... Но идеальные замыслы, которые онъ пытался съ огнемъ юношеской вѣры воплотить нѣсколько времени тому назадъ въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ", отодвинулись на задній планъ, ушли изъ кругозора яснаго сознанія.

А между тѣмъ въ это время подготовлялся поэту роковой ударъ: подъ „вѣчно голубымъ" небомъ юга умирала его чистая любовь. Этотъ ударъ отрезвилъ его и вернулъ къ прежнимъ идеаламъ, пробудилъ въ душѣ былыя стремленія и чувства. Сначала они проснулись безсознательно: поэтъ не вѣрилъ самъ ихъ возрожденію и даже сожалѣлъ, что ихъ нѣтъ въ его душѣ. Съ чудною поэтическою силой передалъ Пушкинъ въ вдохновенной элегіи впечатлѣніе страшной вѣсти о смерти.

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконецъ, и вѣрно надо мной
Младая тѣнь уже летала;
Но недоступная черта межъ нами есть,—
Напрасно чувство возбуждалъ я:
Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть,
И равнодушно ей внималъ я.
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы, въ душѣ моей
Для бѣдной легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Поэтъ винитъ себя, что обманулъ ожиданія „бѣдной, легковерной тѣни"; ему кажется, что онъ „равнодушно" принялъ вѣсть о смерти дорогаго существа; онъ винитъ себя за это равнодушіе... Но ему и въ голову не приходитъ, что оно напускное и внѣшнее, кажущееся: стихотвореніе несомнѣнно проникнуто неподдѣльно-искреннимъ—хотя без*сознательнымъ*—чувствомъ скорби безконечной. Такъ, смер-

тельно раненнымъ кажется, что раны ихъ — легкія раны. Трогательной грустью дышатъ слова элегіи:

Напрасно чувство возбуждалъ я.

Поэтъ не понимаетъ еще, что не-для-чего было возбуждать и безъ того живое чувство; онъ принялъ за холодность и равнодушіе то, что въ душѣ его, увлеченной и очарованной разнообразными впечатлѣніями, не сразу съ сознательную силой проявилась тоска любви... Но этой тоскѣ суждено было быстро рости.—О силѣ чувства въ элегіи „Подъ небомъ голубымъ“ свидѣтельствуетъ и соединившаяся съ нимъ живая вѣра поэта, что надъ его душою летаетъ „младая тѣнь“ любимаго и любящаго существа.

Вскорѣ и сознаніе Пушкина прояснилось,—тогда чистое чувство вполнѣ овладѣло душою; о его всеподобной власти говорятъ строки недоконченнаго глубокаго стихотворенія:

Все въ жертву памяти твоей:
И голосъ лиры вдохновенной,
И слезы дѣвы воспаленной,
И трепетъ ревности моей.

Для усопшей поэтъ вырываетъ изъ души своей и ревнивое чувство любви къ красавицѣ-Кернъ, и быть можетъ зарождавшіяся въ душѣ мечты о тихомъ счастьѣ съ преданною ему другою женщиной. Душа его рвется опять извлечь изъ „вдохновенной лиры“ тѣ звуки, на которые нѣкогда вызывала его отошедшая теперь отъ міра. Успокоившаяся было на народной поэзіи и на отвлеченно-художественныхъ картинахъ, душа поэта стремится опять къ высшему творчеству, къ безусловно-чистымъ идеаламъ. Выраженіемъ этого является одно изъ высочайшихъ созданій Пушкина—стихотвореніе „Пророкъ“.

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынѣ мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафимъ
На перепутьи мнѣ явился;
Перстами легкими, какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,—

И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній Ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынѣ я лежалъ
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
„Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!“

Въ этихъ стихахъ сказалось религіозное одушевленіе, овладѣвшее душой поэта подъ дѣйствіемъ чтенія Священнаго Писанія. Пушкинъ развилъ въ образахъ своего произведенія высокія слова 6-й главы Пророка Исаіи: И҆ посла́нъ бы́сть ко мнѣ̀ є҆ди́нъ ѿ Серафі́мѡвъ, и въ рѹцѣ̀ свое́й и҆мѧ́ше ѹ҆́гль горѧ́щъ.... и҆ пи̑коснѹ́сѧ ѹ҆стна́мъ мои́мъ, и҆ рече́: се́ прикоснѹ́сѧ сі́е ѹ҆стна́мъ твои́мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и грѣхи̑ твоѧ̑ ѡ҆чи́ститъ. И҆ слы́шахъ гла́съ Гд҇а глаго́люща:.... и҆ди́, и҆ рцы̀ лю́демъ си̑мъ: слѹ́хомъ ѹ҆слы́шите, и҆ не ѹ҆разѹмѣ́ете: и҆ ви́дѧще ѹ҆зри́те, и҆ не ѹ҆ви́дите....“ (ѕ҃—д҃).

Въ чудныхъ стихахъ своего „Пророка“ Пушкинъ понялъ величайшее назначеніе поэзіи, понялъ, что она должна быть глаголомъ Бога, проповѣдью вѣчной истины и безконечной любви, что поэтъ долженъ быть не отвлеченнымъ художникомъ и спокойнымъ созерцателемъ и изобразителемъ жизни, а пророкомъ, который жжетъ сердца людей своей вдохновенною рѣчью. Онъ прозрѣвалъ это и ранѣе, когда писалъ „Бахчисарайскій фонтанъ“; но никогда еще эта идея не представлялась ему такъ ясно, какъ теперь. Стихотвореніе „Пророкъ“ есть исторія чистой любви Пушкина, его

отношенiй къ усопшей. Благородная душа поэта всегда, и въ пору грубыхъ его увлеченiй чувственной жизнью, стремилась къ высшему, къ идеалу, томилась „духовною жаждой“. Но онъ не могъ самъ, одинъ освободиться отъ своихъ мрачныхъ увлеченiй; тогда встрѣтившiйся ему на пути жизни чистый „серафимъ“ внесъ свѣтъ въ его душу: далъ прозрѣнье его духовнымъ очамъ, пламень вдохновенiя его сердцу, чистоту его помысламъ. Но (скорбная и роковая черта характера и жизни Пушкина!) эти духовные дары показались ему тяжелыми, непосильными: „какъ трупъ въ пустынѣ“ онъ „лежалъ“. Тогда отлетѣлъ отъ него „серафимъ“ обратно къ Пославшему его, и ударъ разлуки былъ для поэта громовымъ голосомъ Бога, поднявшимъ его на великое дѣло жизни, дѣло души.

Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей!
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей?

Михайловское имѣло для Пушкина великое значенiе: оно успокоило взволнованныя силы его духа, сблизило его съ народомъ, сдѣлало его народнымъ поэтомъ. Въ деревнѣ окрѣпъ его генiй, довершилось его умственное и нравственное развитiе. Здѣсь прошелъ онъ послѣднюю свою школу— школу Шекспира и памятниковъ русской исторiи, и вышелъ изъ нея на просторъ вполнѣ самостоятельной дѣятельности.— Но въ Михайловскомъ онъ былъ близокъ и къ тому, чтобы съузить свой кругозоръ, остановиться на исключительно-народномъ творчествѣ и на отвлеченной художественности. Такая односторонность повела-бы къ пониженiю нравственнаго уровня его души. Онъ и шелъ уже, безсознательно, къ этому: онъ написалъ въ деревнѣ сказку „Царь Никита“ — произведенiе соотвѣтствующее сладострастнымъ поэмамъ перваго перiода его дѣятельности.

Великiй и страшный ударъ образумилъ и отрезвилъ поэта. Этотъ ударъ совпалъ, по удивительному ходу историческихъ событiй, съ окончанiемъ формированiя его характера и его творчества. Онъ пришелся какъ разъ на рубежѣ между юностью и зрѣлымъ возрастомъ мужества. Онъ поднялъ духъ Пушкина на новую высоту: настала для него пора

гармоническаго слiянiя вполнѣ развившихся въ душѣ народныхъ началъ съ тревожными и страстными западно-европейскими началами, развивавшимися въ ней въ прежнiя эпохи жизни.

Юность кончилась, и поэтъ дружески и сознательно-спокойно простился съ нею въ концѣ 6-й главы „Онѣгина“, той главы, гдѣ умеръ юноша Ленскiй.

Такъ, полдень мой насталъ, и нужно
Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я.
Но, такъ и быть, простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За всѣ, за всѣ твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревогъ и въ тишинѣ,
Я насладился..... и вполнѣ.
Довольно! съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Какъ всегда бывало съ Пушкинымъ, начало новой жизни совпало для него съ перемѣною мѣста. Со вступленiемъ на престолъ Николая Павловича поэтъ сталъ хлопотать черезъ друзей объ освобожденiи. Дѣло замедлилось до окончанiя суда надъ декабристами. Въ iюлѣ 1826 г. Пушкинъ подалъ прошенiе на Высочайшее имя съ приложенiемъ обязательства не принадлежать ни къ какимъ тайнымъ обществамъ и медицинскаго свидѣтельства о болѣзни; а въ августѣ командированъ былъ въ Михайловское фельдъегерь съ повелѣнiемъ немедленно привезти поэта въ Москву, для представленiя новому императору. Фельдъегерь напугалъ своимъ появленiемъ старушку-няню и безъ проволочекъ и замедленiй увезъ Пушкина въ первопрестольную столицу, на новую жизнь.

UNIV. OF MICHIGAN,

JAN 11 1912

